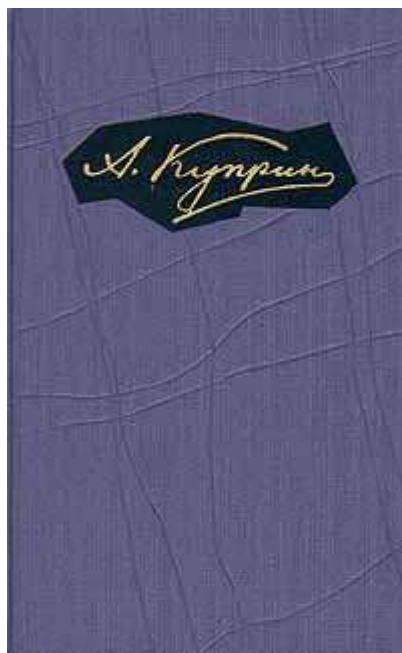


**Александр Иванович Куприн**  
**Том 1. Произведения 1889-1896**

*Серия: Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 1*



*«Собрание сочинений в девяти томах»:  
Правда; Москва; 1964;*

## Аннотация

*В первый том вошли произведения 1889–1896 гг.:*

- *Последний дебют*
- *Впотьмах*
- *Лунной ночью*
- *Дознание*
- *Славянская душа*
- *Аль-Исса*
- *Куст сирени*
- *Негласная ревизия*
- *К славе*
- *Воробей*
- *В зверинце*
- *Игрушка*
- *Столетник*
- *Просительница*
- *Картина*
- *Страшная минута*
- *Мясо*
- *Без заглавия*
- *Ночлег*
- *Миллионер*
- *Лолли*
- *Пиратка*
- *Святая любовь*
- *Жизнь*
- *Локон*
- *Странный случай*
- *Бонза*
- *Ужас*
- *Полубог*
- *Наталья Давыдовна*
- *Собачье счастье*
- *На реке*
- *Блаженный*
- *Сказка*
- *Кляча*
- *Чужой хлеб*
- *Друзья*
- *Марианна*

## Корней Чуковский. Куприн

### I

Старичок долго отказывался, наконец махнул крохотной ручкой:

– Ладно, согласен... попробуем!

– Да что тут пробовать! – возразил Александр Иванович Куприн. – Дело верное. На себе испытал.

Александр Иванович поставил на стол небольшую жестянку и вскрыл ее перочинным ножом. В жестянке оказалась пахучая жирная зеленая краска.

Старичок был пьян, но не очень. Было в нем что-то противное: мешки под глазами, тараканьи усы.

– Ну, господи благослови! – сказал Куприн и, сунув в жестянку малярную кисть, мазнул ею по седой голове старичка.

Старичок ужаснулся:

– Зеленая!

– Ничего! Через час почернеет!

Капли краски так и застучали дождем по газетным листам, которыми старичок был прикрыт как салфетками, чтобы не испачкался его новый костюм.

Вскоре его седая щетина стала зеленой, как весенний салат.

Он выпил еще одну рюмку, хихикнул и блаженно уснул.

Спал он долго – часа два или три. К ночи он проснулся с мучительным воплем. Краска стала сохнуть. Кожа на его крохотном темени стягивалась все сильнее.

Старичок заметался по комнате.

Потом он подбежал к зеркалу и горько захныкал: голова осталась такой же зеленой.

– Ничего, ничего, потерпите! Еще десять-пятнадцать минут...

Я сбежал вниз к парикмахеру Ионе Адольфовичу (парикмахерская была тут же, при гостинице) и упросил его отправиться со мною в 121-й номер, чтобы спасти старичка. Но волосы несчастного склеились от масляной краски и стали жесткими, как железная проволока.

Иона взглянул на них и свистнул:

– Какая мне радость ломать себе бритву!

Он несколько не удивился, что волосы старичка изумрудные. Он работал при этой гостинице несколько лет и хорошо знал привычки ее обитателей: гостиница была писательским подворьем.

Лишь после того как краска с головы была смыта при помощи керосина и ваты, можно было, и то с величайшим трудом, избавить старичка от зеленых волос.

– Эх, поторопились! – с упреком сказал Александр Иванович. – Потерпели бы десять минут, и были бы жгучий брюнет. Ведь эта краска специальная: голландская!

Старичок ничего не ответил. С ним случилась новая беда. Когда его голова стала голой, оказалось, что вся она в пятнах. Сколько ни терли ее керосином, пятна не хотели смываться.

– Ну что ж! – сказал Куприн. – Поздравляю! Настоящий глобус. Австралия! Новая Гвинея! Италия!

Старичок буркнул ему что-то сердитое, нахлобучил шляпчонку и убежал как ошпаренный.

– Сволочь! – выразительно сказал о нем Александр Иванович. – Полицейская гнида! И какого черта вы пожалели его! Он у меня так и остался бы навеки зелененький!

По словам Куприна, этот худосочный субъект, с виду такой безобидный и жалкий, был смотрителем одесской тюрьмы, ярый черносотенец, погромщик. Куприну показали его где-то в Крыму, и вдруг нежданно-негаданно писатель увидел его здесь, в Петербурге, в кабачке «Капернаум» на Владимирской.

Сейчас я не помню подробностей: дело было давно, в декабре 1905 года. Помню только, что Куприн, обладавший необыкновенным умением сблизиться ради своих писательских надобностей с людьми всевозможных профессий: с шахтерами, банщиками, мастерами, шу-

лерами, карманниками, фальшивомонетчиками, взломщиками несгораемых касс, укротителями тигров и львов, – стал подолгу просиживать в своем кабачке с этим плюгавым тюремщиком, внимательно вслушиваясь в его пьяные речи, и выведал его великий секрет: оказалось, что тот приехал в столицу жениться, но смущается своей сединой. Тут-то Куприн и предложил ему чудотворное «голландское» средство для окраски волос, повел его в «Пале-Рояль» (что на Пушкинской) в чей-то номер (не то Владимира Тихонова, не то Бориса Лазаревского) и по-своему расправился с ним.

Между тем я пришел к Куприну по важному и спешному делу: в качестве редактора журнала «Сигнал» я хотел упросить его, чтобы он написал для журнала рассказ. Но поговорить об этом в тот вечер уже не пришлось: в номер нагрянули какие-то незнакомые люди и увлекли Александра Ивановича к новым приключениям и подвигам.

На следующий день я пришел к нему спозаранку. В прихожей меня встретил его верный оруженосец Маныч, рослый, молчаливый, насупленный и важный мужчина, который весь год неотступно сопровождал Куприна по всем его путям и перепутьям. Об этом человеке Куприн сочинил забавную басню, из которой я помню лишь последние строки:

Когда увидишь Маныча,  
Дай стрекача!

И началось особенное – купринское – кружение по городу. Неутомимый пешеход, Александр Иванович вечно рыскал из улицы в улицу в азартной погоне за новыми впечатлениями. В тот день ему нужно было побывать и на митинге работников прилавка, и на съезде каких-то сектантов, – кажется, скопцов или баптистов, – и в психиатрической лечебнице доктора Прусика, чтобы потолковать с глазу на глаз с каким-то необыкновенно интересным лунатиком.

Когда я спрашивал: «А как же рассказ?» – он только улыбался в ответ, и мне пришлось безропотно шагать вслед за ним с тремя или четырьмя его спутниками, число которых неуклонно росло, так как Куприн был человек компанейский и всегда на ходу привлекал к себе все новых и новых людей. На Васильевском к нам присоединился художник Петя Троянский, добрый малый, пьянчуга, усердно сотрудничавший в редактируемом мною журнале «Сигнал».

Вскоре мы очутились за столиком «Золотого якоря» – знаменитого кабачка петербургских художников. Здесь Куприн наконец подтвердил данное мне обещание написать для нашего журнала рассказ:

– Название рассказа – «Гост».

## II

Я обрадовался и встал, чтобы сейчас же уйти, но Куприн уговорил меня отправиться вместе с ним к какой-то сумасбродной англичанке, которая только что приехала в нашу страну и не знает ни слова по-русски. Чтобы их беседа могла состояться, им обоим нужен переводчик, – так вот, не согласен ли я взять на себя эту роль?

Мы пошли через мост на Большую Морскую, а Маныч помчался вперед на извозчике – предупредить иностранную даму о нашем приходе.

Англичанка оказалась румяная, дородная, пышная, сдобная, отнюдь не похожая на иностранную даму. Вначале я отнесся к ней с самой простодушной доверчивостью и тщательно переводил Куприну ее в высшей степени сумбурные речи. Но не прошло и пяти минут, как она хихикнула, приснула и убежала из комнаты.

Я понял, что сделался жертвою «розыгрыша».

Дама была русская, вдова одного моряка, с детства знавшая английский язык, о чем и сообщил мне Александр Иванович, когда увидел, что мистификация раскрылась.

По молодости лет я обиделся и перестал посещать Куприна.

Но дней через пять или шесть он прислал мне такое письмо, которое сохраняется у меня до сих пор:

«Милый Чуковский!

Это уж свинство. Из-за того только, что я «передержал» шутку – в чем и изви-

няюсь, – Вы к нам не заходите. И Мария Карловна и я по Вас соскучились. Если нет времени зайти, то хоть напишите, что не сердитесь.

Ваш душою

ауктор «Поединка» А. Куприн»<sup>1</sup>

Не сомневаюсь, что извиниться передо мною побудила его молодая жена Мария Карловна, выросшая в высококультурной петербургской семье и пытавшаяся (по крайней мере на первых порах) привить ему учтивые манеры.

Нежно влюбленный в жену, Александр Иванович был рад (опять-таки на первых порах) добросовестно выполнять ее требования.

Но никогда не покидала его в те времена мальчишеская озорная любовь к проделкам и дурачествам всякого рода.

Помню, он объявил себя гипнотизером и медиумом и устроил на квартире у писателя Алексея Ивановича Свирского «астрально-спиритический сеанс». Оказалось, что ему ничего не стоит вызвать по желанию публики душу любого покойника: Наполеона, Екатерины Второй, Тургенева, Скобелева, Марии Стюарт, вплоть до министра Плеве, недавно убитого эсеровской бомбой. Душам покойников задавались вопросы. Большинство ответов усердно отстукивалось ножками большого стола, но иные из обитателей загробного мира предпочитали отвечать во весь голос.

На сеансе присутствовал критик Аким Волынский. Он пожелал побеседовать с духом немецкого философа Лессинга. Его желание было исполнено, но Лессинг, кроме одного-единственного слова «унзер», не мог произнести по-немецки ни звука. Зато поэт Надсон, вызванный по требованию его верной подруги, известной переводчицы Марии Валентиновны Ватсон, оказался так словоохотлив, что в конце концов даже охрип. То есть охрип, собственно, не он, а Маныч, который был тайным соучастником Александра Ивановича и произносил в темноте то дискантом, то густым баритоном все речи именитых мертвецов. Сеанс был оборудован так ловко, что присутствовавшая на нем поэтесса Изабелла Гриневская громко оповестила всех нас, что с этого времени она твердо уверовала в бессмертие человеческих душ.

Подобным забавам Куприн предавался тогда с большим аппетитом.

Пришел к нему в Одессе один репортер:

– Где и когда я мог бы проинтервьюировать вас? Куприн посмотрел на него и ответил:

– Приходите сегодня же в Центральные бани... не позже половины седьмого.

И в тот же вечер, сидя нагишом перед голым газетным сотрудником, Куприн изложил ему свои литературные взгляды, после чего они оба, и репортер и Куприн, лихо отхлестали друг друга намыленным венником.

– И как тебе пришла в голову такая дикая мысль? – спросил у Куприна один из его одесских приятелей, Антон Богомолец.

– Почему же дикая? – засмеялся Куприн. – Ведь у репортера были такие грязные волосы, ногти и уши, что нужно было воспользоваться редкой возможностью снять с него копоть и пыль.

Иногда эти эксцентрические, озорные проделки имели более рискованный характер.

Рассказывают, что, приехав, например, в Балаклаву, Куприн послал «верноподданническую» телеграмму царю Николаю Второму, тоже проводившему лето в Крыму, и в этой телеграмме ходатайствовал, чтобы царь предоставил рыбацкому поселку Балаклаве права и привилегии вольного города<sup>2</sup>.

Думаю, что это легенда. Такого случая быть не могло. Но все же чрезвычайно характерно, что о Куприне сочинялись именно такие легенды.

В то время, Александр Иванович производил впечатление человека даже чрезмерно здорового: шея у него была бычья, грудь и спина – как у грузчика; коренастый, широкоплечий, он легко поднимал за переднюю ножку очень тяжелое старинное кресло. Ни галстук, ни интеллигентский пиджак не шли к его мускулистой фигуре: в пиджаке он был похож на кузнеца, выря-

<sup>1</sup> Ауктор — по-латыни «автор».

<sup>2</sup> Ник. Вержбицкий. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1961 с. 68.

дившегося по случаю праздника. Лицо у него было широкое, нос как будто чуть-чуть перебитый, глаза узкие, спокойные, вечно прищуренные – неустойчивые и хваткие глаза, впитывавшие в себя всякую мелочь окружающей жизни.

Таким он запомнился мне в первые годы знакомства, когда я особенно часто бывал у него. В его маленькую рабочую комнату я всегда входил робко, трепеща от волнения, так как считал его (и считаю сейчас) одним из самых замечательных русских писателей, поднявшимся в своем бессмертном «Поединке» и в нескольких других произведениях до тех высот мастерства, изобразительной мощи и светлого гуманного пафоса, какие доступны лишь великим талантам.

Но вся моя робость исчезала мгновенно, едва только я входил к нему в комнату. Ему до такой степени была ненавистна всякая мысль о литературной иерархии, у него было столько живых интересов, не связанных с писательским цехом, что при каждом свидании с ним мне странным образом начинало казаться, будто мой любимый писатель Куприн, только что завоевавший себе всероссийскую славу, не имеет ничего общего с тем Александром Ивановичем, который вот сидит у себя в комнатенке без пояса, в линялой рубахе, надетой прямо на голое тело, мурлычет какую-то солдатскую песню и возится со своим затейливым «деревянным альбомом», стараясь во что бы то ни стало стереть с него огромную чернильную кляксу. Этот Александр Иванович стоит как-то в стороне от своей славы, от всех своих книг, и я, маленький, начинающий автор, чувствую себя с ним очень легко.

После первых же приветствий он требует:

– Ну-ка, возьмите перо... и пишите, что вздумается, хотя бы свою пародию на Бальмонта.

И придвигает ко мне «деревянный альбом».

Этим альбомом у него называется простой березовый некрашенный стол, на доске которого многие литераторы, большие и малые, оставили по нескольку строк: экспромты, остроты, афоризмы, стихи.

Кто из нас ни приходил к Куприну, каждого он просил написать на столе «что вздумается», а когда весь стол был заполнен автографами, он как-то вечером взвалил его на свою крепкую спину и пронес через весь Петербург к дому, где жил один удивительный немец, справлявший в тот вечер свои именины.

Взойдя по лестнице со столом на спине, Куприн остановился на одной из площадок и позвонил у дверей. Когда ему открыли, он молча поставил в прихожей свой «деревянный альбом», чем несказанно обрадовал немца, который высоко ценил именно такие сюрпризы.

Этот немец, Федор Федорович Фидлер (или ФФФ, а порою ФЗ, как подписывался он под шутливыми письмами), был страстным почитателем русской словесности и создал богатый домашний музей, где были собраны редкие рукописи современных и старинных писателей и всякие другие раритеты – вплоть до исторической палки, которой один разъяренный старик прочил газетного пасквилянта Буренина, того Буренина, о котором Минаев в свое время писал:

По Невскому бежит собака,  
За ней Буренин, тих и мил...  
Городовой, смотри, однако,  
Чтоб он ее не укусил!

Именины Фидлера были писательским праздником: в тот день в его тесной квартире собралось человек тридцать поэтов, беллетристов и критиков. Приходили и мы, молодые, к которым Фидлер относился с большой теплотой.

«Деревянный альбом» Куприна, испещренный автографами всевозможных писателей, чрезвычайно обрадовал Фидлера. Шутка ли: здесь были автографы Федора Батюшкова, Андрея Белого, Ивана Бунина, Скитальца, Ивана Рукавишникова, Вас. Немировича-Данченко, Семена Юшкевича, Алексея Свирского, Ходотова, Тана-Богораза, Анатолия Каменского, Кармена-отца, Косоротова, Рославлева и самого Куприна<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Доска от этого стола сохранилась. Сейчас она в Пушкинском доме. Федор Федорович Фидлер известен своими переводами на немецкий язык стихотворений Кольцова и Некрасова. По этим переводам, напечатанным в популярном лейпцигском издательстве «Реклам», германские читатели узнали обоих поэтов. По профессии Фидлер был педагогом: преподавал в гимназиях немецкий язык. Не знаю, сохранились ли дневники, которые он вел непрерывно в течение многих лет (на немецком языке). Он читал мне оттуда отрывки, представляющие немалый интерес.

Мария Карловна и Александр Иванович жили тогда на Разъезжей, недалеко от Пяти углов. Черноглазая, жизнерадостная, остроумная женщина, Мария Карловна была необычайно привлекательна, и ее чуть хрипловатый, насмешливый голос звучал задорно и победно. Она крепко верила в дарование мужа и твердой рукой направляла его.

Я познакомился с нею вскоре после того, как они поженились. «Поединок» еще не был доведен до конца. Существовали только начальные главы. Работу над окончанием повести Куприн откладывал с недели на неделю. И вот, чтобы побудить Александра Ивановича возможно скорее выполнить эту работу, Мария Карловна сказала ему, что они должны непременно разъехаться, куда он не закончит своего «Поединка»:

– А до той поры я тебе не жена!

Эти слова подействовали на него чудотворно. Он снял себе комнатку где-то на Казанской улице, возле собора, и стал писать роман с удесятеренной энергией.

Закончив главу, он тотчас же спешил на Разъезжую и что есть силы дергал за ручку звонка. Мария Карловна открывала дверь, но не совсем, а чуть-чуть, на цепочку, он просовывал ей новую главу, а сам оставался на лестнице. Проходило полчаса или больше, Мария Карловна внимательно прочитывала рукопись до самой последней строки и лишь тогда распахивала дверь.

– С влюбленными мужьями иначе нельзя, – говорил Александр Иванович. – Однажды мне до того не терпелось повидаться с женой, что я схитрил и подsunул ей старый отрывок, который она уже читала неделю назад. Она впопыхах не заметила, впустила меня, но с той поры стала так осмотрительна, что продерживала меня на лестнице целую вечность, потому что вчитывалась в каждое слово, чтоб опять не попасть впросак.

Вся эта история не была супружеской тайной. Вскоре после того, как «Поединок» появился в печати (и имел такой грандиозный успех), Куприн стал очень картинно, со множеством забавных подробностей рассказывать друзьям и знакомым, как он дописывал последние главы повести и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней, за обедом, или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковым выражением лиц и смеялись одинаковым смехом.

### III

Куприн исполнил свое обещание. Вскоре, к моей неопишуемой радости, я получил его «Тост», фантастическую новеллу о том, что будет через тысячу лет, когда человечество после кровавых революций и войн наконец-то станет единой семьей и дострадается до вековечного счастья.

Конечно, представление Куприна о техническом прогрессе, к которому придет человечество через тысячу лет, кажется теперь очень наивным. Самое большее, чего, по его догадке, достигнут мудрецы инженеры в 2906 году, – это превращение земного шара в гигантскую электромагнитную катушку и создание двух аппаратов, чрезвычайно похожих на телевизор и радио. За каких-нибудь полвека с тех пор, как Куприну пришла в голову эта фантазия, техника шагнула вперед едва ли не дальше чем за тысячу лет, которую он отвел ей в рассказе.

Впрочем, не развитие техники занимало писателя. Главная тема рассказа: прославление революционных героев, гибнущих в неравной борьбе ради счастья своих далеких потомков. Эти далекие потомки, утверждает Куприн, с благодарностью вспомнят революционных бойцов, которые для них, для потомков, завоевали счастливую жизнь. «Вечная память, – скажут они, – вечная память вам, безмолвные страдальцы. Когда вы умирали, то в прозорливых глазах ваших, устремленных в даль веков, светилась улыбка. Вы провидели нас, освобожденных, сильных, торжествующих, и в великий миг смерти посылали нам свое благословение!»

А иные из этих счастливых потомков вспомнят революционных героев не только с благодарностью, но и с мучительной завистью – с завистью к их трагической участи:

– А все-таки... все-таки... – восклицает в рассказе женщина ХХХ века, – как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

Революция в ту пору сильно увлекала Александра Ивановича. Недаром его «Поединок»

прозвучал для читательских масс как набатный призыв к восстанию, – столько было в нем ненависти к бесчеловечному строю.

В своем позднейшем рассказе «Гамбринус» он такими красками изображает 1905 год:

«Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу... Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...»

Тогда же, в 1905 году, ненависть к старому строю выразилась сильнее всего в его гневной статье «События в Севастополе» – о преступлении адмирала Чухнина, который в 1905 году разбомбил в Севастопольской бухте крейсер «Очаков» и с идиотской жестокостью сжег живьем на глазах у всего города несколько сот матросов, поднявших на крейсере восстание. Куприн, видевший этот страшный костер, тотчас же описал его в газетной статье, после чего был изгнан властями из Крыма и привлечен к уголовной ответственности. Но прежде чем уехать в Петербург, он успел спрятать от царской полиции десятерых очаковских матросов, которые чудом спаслись с подожженного крейсера<sup>4</sup>.

«Гост» Куприна появился во втором выпуске нашего журнала 18 января 1906 года.

Конечно, знаменитый писатель мог поместить свой рассказ в каком-нибудь более солидном издании. Предоставив его нашему журналу, он оказал мне большую поддержку, о которой я и теперь, через шестьдесят лет, не могу не вспомнить с живейшей признательностью.

К тому времени издание «Сигнала» было уже прекращена полицейскою властью, и мы стали выпускать его под новым названием «Сигналы», пригласив подставного редактора – журналиста Владимира Турока.

А я, как редактор «Сигнала», был привлечен к суду «за оскорбление величества», «за подрыwanie основ государства» и другие столь же тяжкие грехи (по 103, 106, 128 и 129-й статьям уголовного уложения).

Меня арестовали, посадили в тюрьму («Предварилку»), и, если я провел в заточении всего только десять дней, это произошло оттого, что Мария Карловна по инициативе Александра Ивановича явилась, к моему следователю Цезарю Ивановичу Обух-Воцатынскому и внесла за меня колоссальный залог – десять тысяч рублей из средств издаваемого ею журнала. Когда я пришел на Разъезжую, чтобы поблагодарить Куприных, они, не желая выслушивать изъявления моей пылкой признательности, принялись уверять – в своем обычном насмешливом стиле, – что очень боятся, как бы я не сбежал от суда за границу:

– Тогда пропадут наши денежки! А чтобы мы были спокойны и знали, что вы не в Берлине, извольте приходите к нам почаще обедать!<sup>5</sup>

#### IV

Сам Александр Иванович приходил к обеду далеко не всегда. Вдруг ему почудится, что он недостаточно знает какие-нибудь важные подробности из жизни петербургских цыган, и он на целые сутки застрянет в их таборе, то вдруг заподозрит, что тот осанистый тамбовский помещик, с которым он на днях познакомился у стойки в ресторане Доминика, есть на самом деле прославленный шулер, и он решит проверить свой домысел и просидит, не сходя со стула, в прокуренном притоне картежников семь или восемь часов, следя за каждым движением заподозренного им игрока.

<sup>4</sup> А. И. Куприн. Собр. соч. в шести томах, т. 5. М., 1958, с. 774–775; т. 6, с. 575–579.

<sup>5</sup> Около этого времени привлеченный к суду поэт Н. М. Минский, за которого артистка Л. Б. Яворская (она же княгиня Барятинская) внесла несколько тысяч рублей залогом, тайно уехал в Берлин, и залог Яворской пропал.



«Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживал его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика, – читаем в одном из купринских рассказов о некоем петербургском писателе, в образе которого он вывел себя. – Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды», –...известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман, ужас всех редакций, – зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть... жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки...»<sup>6</sup>

Рассказ, из которого я беру эти строки, называется «Штабс-капитан Рыбников». Там выведен японский шпион, искусно играющий роль русского штабс-капитана.

На самом деле шпионом он не был. Я хорошо его помню: встречался с ним и в ресторане «Давыдки», и в квартире Куприных на Разъезжей, и во Владимирском соборе, куда Александр Иванович водил его, желая проверить, умеет ли он креститься по-русски. Его так и звали: Рыбников. Лицо у него было желтое, глаза раскосые, монгольского типа. Куприн из озорства стал уверять, будто Рыбников японский самурай, напяливший на себя русский мундир. А потом и сам поверил в свое измышление и целый месяц не отставал от злополучного штабс-капитана, уговаривая и прямо-таки умоляя его, чтобы тот признал себя переодетым японцем. Но Рыбников только посмеивался в свои редкие черные «японские» усики, охотно позволяя Александру Ивановичу платить за него по ресторанным счетам. Был он щуплый, суетливый, весь издерганный, с какой-то кривою ухмылкой.

Помню жадные, молодые глаза Александра Ивановича, которыми он за трактирным столом зорко вглядывался в своего собеседника: то в этого Рыбникова, то в огненно-рыжего летчика Уточкина, то в грузного, мрачного, как бы удрученного своей сверхъестественной силой атлета Ивана Поддубного, то в попа-расстригу Леонида Корецкого.

Особенно запомнились мне его своеобразные отношения с Уточкиным. Приезжая в Питер, знаменитый спортсмен всегда останавливался в гостинице «Франция», недалеко от арки Генерального штаба, и тотчас по приезде торопился встретиться с Александром Ивановичем, причем меня всегда удивляло, что Уточкин, сидя с Куприным за каким-нибудь трактирным столом, говорил не столько о спорте, сколько о литературе, о Горьком, о Джеке Лондоне, о своем любимом Кнуде Гамсуне, многие страницы которого он знал наизусть, и, несмотря на страшное свое заикание, декламировал с большим энтузиазмом, а Куприн отмахивался от этих литературных сюжетов и переводил разговор на велосипедные гонки, на цирковую борьбу, на самолеты и моторные яхты. Если послушать со стороны, можно было подумать, что Куприн – профессиональный спортсмен, а Уточкин – профессиональный писатель.

Такой жгучий интерес испытывал Александр Иванович не только к работе спортсмена, но буквально ко всякой работе.

Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий – инженеры, фабричные, шарманщики, циркачи, конокрады, монахи, банкиры, шпики, – он жаждал узнать о них всю подноготную, ибо в изучении русского быта не терпел никакого полужайства, никакой дилетанщины и почувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы вдруг обнаружилось, что ему неизвестна какая-нибудь бытовая деталь из жизни, скажем, водолазов или донских казаков. Не было такой жертвы, которой бы он не принес, чтобы изучить доскональное всю, как теперь говорится, специфику той или другой человеческой деятельности.

В 1902 году в Одессе газетный репортер Леон Трецек познакомил его с начальником одной из пожарных команд. Куприн воспользовался этим знакомством, и, когда в центре города на Екатерининской улице загорелся среди ночи набитый жильцами дом, Куприн в медной каске помчался туда вместе с отрядом пожарников и работал в пламени и в дыму до утра.

Бывший типографский рабочий, ныне пенсионер, И. М. Горшков прислал мне из украинского города Ивано-Франковска живо написанные воспоминания об А. И. Куприне, с которым

<sup>6</sup> А.И. Куприн. Собр. соч. Т.4, М., 1958, с.18.

он мальчиком встречался в Одессе. В этих воспоминаниях наиболее интересен рассказ о том, как Александр Иванович пришел в типографию местной газеты для изучения техники типографского искусства.

«Однажды во время обеденного перерыва смотрю – у кассы рядом с дядей Васей стоит Александр Иванович и обучается наборному делу.

– Вот здесь, – говорит дядя Вася, указывая на шрифт-кассу, – имеется сто десять гнезд, в которых размещаются шрифты. Куприн не записывает, а запоминает расположение шрифта.

– А это, – продолжает дядя Вася, – антиква, особый вид типографского шрифта. А это – бабашка, крупный пробельный материал. Запишите...

– Не надо, – отвечает Куприн. – Я так запомню. Давайте дальше.

– А вот это боргес – шрифт размером в девять пунктов. И т. д.

Так в течение двух обеденных перерывов Александр Иванович постиг специальность наборщика. Смотрим однажды, у кассы-реал стоит грузный наборщик и набирает статью. Подходим ближе, всматриваемся – старый знакомый, Куприн.

– Не бойтесь, – говорит он. – Штрейкбрехером никогда не был и не буду. В жизни все надо уметь. Писать лучше будешь, если будешь знать тяжелый труд наборщика».

«Мне довелось видеть Александра Ивановича рыбаком, пожарным и грузчиком», – заканчивает свои воспоминания И. М. Горшков.

Говорят, что однажды Куприн захотел испытать, как чувствует себя профессиональный грабитель, забравшийся ночью в чужую квартиру. «Выбрал место и время, отобрал вещи, уложил их в чемодан, но вынести их не хватало решимости». Не сомневаюсь, что и это – легенда, но опять-таки очень характерная.

Чтобы изучить досконально промысел рыбаков-«лестригонов», он целыми сутками «пропадал» вместе с ними на утлых баркасах среди бурного моря, ежечасно грозящего гибелью.

Его требования к себе, как писателю-реалисту, изобразителю нравов, буквально не имели границ. Оттого-то и произошло, что с жокеем он умел вести разговор, как жокей, с поваром – как повар, с матросом – как старый матрос. Он по-мальчишески щеголял этой своей многоопытностью, кичился ею перед другими писателями (перед Вересаевым, Леонидом Андреевым), ибо в том и заключалось его честолюбие: знать доподлинно, не из книг, не по слухам, те вещи и факты, о которых он говорит в своих книгах.

Про чахлого и глуховатого М. П. Арцыбашева, прославлявшего в своих произведениях радости здорового и могучего тела, Куприн говорил убежденно:

– Не может быть хорошим беллетристом близорукий и глухой человек, страдающий к тому же хроническим насморком.

У него у самого было обоняние звериное, и в своих рассказах он никогда не забывал отмечать, что, например, лавки торгового ряда пахнут кумачом, керосином и крысами;

а комнаты старого клуба – кислым тестом, карболкой и сыростью;

а морская вода во время прибоя – резедой;

а свежие девушки – арбузом и парным молоком;

а белая акация – конфетами;

а прихожая перед балом в офицерском собрании, когда в нее съезжаются нарядные женщины, – морозом, духами, пудрой и лайковыми перчатками.

И вот запах другой прихожей: «Пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах».

По части запахов у Куприна был единственный соперник – Иван Алексеевич Бунин, и, когда они сходились вдвоем, между ними начиналось состязание – азартная веселая игра: кто определит более точно, чем пахнет католический костел во время пасхальной заутрени, чем пахнет цирковая арена, и т. д. и т. д. и т. д.

Помню, в Одессе на приморской даче писателя Александра Митрофановича Федорова Куприну устроили своеобразный экзамен. Подали несколько маленьких дынь и предложили

распознать по их вкусу и запаху, не глядя на их кожуру, к какому сорту принадлежит каждая дыня.

Он нюхал и пробовал каждую с видом ученого дегустатора и отвечал безошибочно:

– Это Виктория, а это Бельгард, – и так дальше, чем вызвал восхищение присутствующих, среди которых были такие ценители, как художник Костанди, артист Закушняк и старый передвижник, друг Репина, Николай Дмитриевич Кузнецов<sup>7</sup>.

И зоркость была у него замечательная. Об одной красавице он пишет, что ее черные ресницы бросали *синие* тени на *янтарные* щеки.

И вот каким образом, по его наблюдению, чаще всего распределяются краски теплого южного моря: сначала «грязная лента светло-каштанового цвета», дальше – «жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборозженная гребнями волн, и, наконец, – могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то *густо-фиолетовыми*, то *нежно-малахитовыми*, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом».

Его неутомимое, жадное зрение доставляло ему праздничную радость: «Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно, прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве».

Он накоплял такие наблюдения как некие великие ценности и щеголял ими в своих разговорах, особенно с молодыми писателями.

Помню его постоянные схватки с задорным и самонадеянным Сергеевым-Ценским по поводу изменчивого цвета теней на снегу – ночью под луной и днем под солнцем. При всякой встрече они спорили об этом, и мне всегда казалось, что победитель в этом состязании Куприн, хотя Ценский – такой уж у него был счастливый характер! – никогда не признавал себя побежденным ни в чем.

Вообще Куприн был чудесно вооружен всевозможными практическими знаниями: знал толк в лошадях и собаках, мог часами говорить о своих наблюдениях над рыбами, деревьями, птицами, пчелами, отлично разбирался в самоцветах и драгоценных камнях.

У меня до сих пор сохраняется подписанный Александром Ивановичем документ об одном самоцвете, принадлежавшем артистке М. С. Марадудиной. Артистка уверяла, что камень – сапфир, Куприн утверждал, что она ошибается. По этому случаю он продиктовал мне такую бумагу:

«Пари между А. И. Куприным и М. С. Марадудиной.

Он, Куприн, утверждает, что камень, который она, М. С. Марадудина, носит на пальце, – желтый топаз. Она же в дерзостном и яростном ослеплении утверждает, что камень этот – желтый сапфир.

Выигравший требует с проигравшей стороны все, что хочет».

Ниже – рукой Куприна:

«Сие моей подписью удостоверяю.

А. Куприн».

Нужно ли говорить, что пари было выиграно им: экспертиза установила, что камень Марадудиной не сапфир, а топаз. Пари состоялось в одном из модных игорных домов, где Куприн пропадал целыми сутками.

Одно время он очень любил «пропадать» в разных отечественных и заезжих зверинцах, подолгу простаивая перед клетками тигров, павианов и львов, изучая их повадки и нравы. Недаром Анатолий Дуров, знаменитый укротитель зверей, основатель династии нынешних Дуровых, печатал в своих афишках, посвященных зверям:

Сам Куприн-писатель

С ними был приятель.

<sup>7</sup> См. рассказ Куприна «Канталупы». Собр. соч., т. 5, с. 528–538.

Помню, как впоследствии Куприн изучал обитательниц «Ямы» в Кузнечном переулке, недалеко от того дома, где жил Достоевский, с таким азартом, с таким любопытством, словно он первооткрыватель какой-то неизвестной страны, словно никто никогда не видал этих ям, словно на свете и не существует ничего интереснее, чем быт всевозможных Александрин и Тамар. Таким образом, к нему вполне применимы те самые слова, какие сказал он о Кипплинге:

«Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профессий и ремесел; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Кипплинг ловил треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке... и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы»<sup>8</sup>.

## V

А. Куприн! будь дружен с лирой  
И к тому – не «циркулируй»!

### Скиталец

Вполне естественно, что человек с такими вкусами, интересами, склонностями не мог вести размеренную семейную жизнь: аккуратно являться к столу и каждый вечер возвращаться в определенное время домой.

«Чем больше я узнавал его, – вспоминает Бунин, – тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало, с бесшабашностью человека, которому все трын-трава...»<sup>9</sup>.

Мария Карловна не угнетала его слишком жесткими требованиями, но в конце концов стало очевидным для всех, что Александр Иванович не может, да и не желает стеснять себя узкими рамками «приличного общества».

Так приманчива была для него скитальческая, свободная от всякого регламента жизнь, что, если бы даже он не был писателем, он все равно «циркулировал» бы от балаклавских «лестригонов» к киево-печерским монахам, из сумасшедшего дома в игорный притон. И все равно не мог бы обойтись без «Золотого якоря», «Капернаума» (он же «Давыдка») и «Вены», где его все тесней окружала всякая трактирная «шпана».

Мария Карловна в своих воспоминаниях пишет, что в конце концов его «адъютантами» стали сотрудники мелких бульварных газет и хулиганского «Синего журнала»<sup>10</sup>. Все больше он сходилась с такими людьми, как критик Петр Пильский, поэт Александр Рославлев, газетный фельетонист Федор Трозинер, эти загубленные водкой писатели. Пильский был темпераментный и бойкий писатель, отлично владевший пером, но бретер, самохвал, забияка, кабацкий драчун. Трозинер в свое время тоже блистал дарованиями, но в те годы, когда я познакомился с ним, был безнадежно больной алкоголик, давно уже махнувший рукой и на себя и на свое литературное

<sup>8</sup> А. И. Куприн. Собр. соч., т. 6, с. 612.

<sup>9</sup> И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 1961, с. 593.

<sup>10</sup> М. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М., 1966, с. 153.

поприще. Даже псевдоним у него был спиртуозный: Сэр Пич Брэнди (брэнди – по-английски коньяк). Рославлев, третьестепенный эпигон символистов, не бывал трезвым уже несколько лет. Больно было видеть среди этих людей Куприна, отяжелевшего, с остекленелым лицом. Он грузно и мешковато сидел у стола, уставленного пустыми бутылками, и разбухшая, багровая шея мало-помалу становилась у него неподвижной. Он уже не поворачивал ее ни вправо, ни влево, весь какой-то оцепенелый и скованный. Только его необыкновенно живые глаза ни за что не хотели потухнуть, но потом тускнели и они, голова опускалась на стол, и он погружался на долгое время в мутную, свинцовую полудремоту. Для меня всегда оставалось загадкой, почему человек, безбоязненно входивший в клетку к тиграм, не может вырваться из пьяной, забубённой среды и преодолеть ее жестокое влияние.

Обыватели злорадно глумились над этой слабостью большого писателя. По городу в то время ходили стишки:

## 1

Если истина в вине,  
Сколько истин в Куприне!

## 2

Водочка откупорена  
Плещется в графине.  
Не позвать ли Куприна  
По этой причине?

Карикатурист Ре-Ми на знаменитой сатириконской картине «Салон ее светлости русской литературы» изобразил Александра Ивановича бражником, которому в пьяном бреду примерещился чертик (в облике писателя Алексея Ремизова).

Зато каким становился он просветленным и бодрым, когда ему хотя бы на несколько дней удавалось стряхнуть с себя весь этот трактирный угар и любовно приобщиться к природе!

Раза три я встречал его в «Пенатах» у Репина, перед которым он благоговел с малых лет. Всласть наговорившись с художником, он долго бродил по его цветущему саду и, как выздоравливающий, радовался каждой травинке.

Как-то в летнее время, обедая у Репина в саду, один из гостей нечаянно опрокинул бокал с лимонадом. Лимонад разлился по клеенке, покрывавшей обеденный стол. (Жена Репина, Наталья Борисовна Нордман, считала скатерти излишнею роскошью.) Не успели гости отойти от стола, как с дерева прыгнула белка и стала вылизывать пролитый лимонад. Это лакомство ей очень понравилось. С тех пор Илья Ефимович, покончив со своей скромной едой, никогда не забывал выплескивать на стол немного лимонада – для белки.

Узнав об этом, Александр Иванович встрепенулся, оживился, обрадовался, словно ему рассказали о каком-то фантастическом чуде, и поспешил по-мальчишески притаиться в кустах, чтобы увидеть своими глазами зверька, совершающего набег на репинский стол. (Впоследствии в одном из своих писем ко мне он вспомнил о репинской белке и даже обещал написать о ней рассказ для детей.)

– До чего бы я хотел побывать этой белкой и сигать вот этак по макушкам деревьев! – сказал он с печальным вздохом, следя за молниеносными полетами белки в листве.

Я вспомнил это восклицание Александра Ивановича, прочтя у него в повести через несколько лет:

«Я хотел бы на несколько дней сделаться лошадкой, растением или рыбою или побыть женщиной и испытать роды».

А зимою в той же Финляндии в морозный и солнечный день Александр Иванович отпра-

вился вместе со мною по гладкому, ослепительно сверкавшему насту залива на лыжах под парусом, и, хотя до той поры ему никогда не случалось пользоваться парусом для лыжного спорта, он сразу же, как истый спортсмен, усвоил всю технику этого дела и молодецки понесся вперед по направлению к Кронштадту<sup>11</sup>.

Здесь, на природе, вдали от городских искушений, он воскресал и светлел, и я видел в нем бывшего Куприна, художника, упоенного жизнью, сжигаемого любопытством ко всему, что творится вокруг.

В то время меня увлекала мечта о создании подлинной, художественно ценной литературы для маленьких. Лет за пять до того я упросил Алексея Толстого, Сергеева-Ценского, Сашу Черного и других «молодых» участвовать в редактируемом мной альманахе «Жар-птица», выходящем в издательстве «Шиповник». О том же я просил и Куприна, но тогда он был поглощен своей «Ямой» и не написал ничего.

Теперь я возобновил мою просьбу, и он очень скоро откликнулся: прислал для детского журнальца, который выходил тогда при «Ниве», рассказ «Козлиная жизнь». Рассказ очень понравился мне, о чем я и написал Куприну. В ответ он прислал мне такую открытку:

«Sir!

Письмо Ваше о «Козле» меня тронуло. Но до сих пор козлиных следов не вижу. А то бы давно уже прислал еще что-нибудь. Да что Вам в самом деле не проехать в Гатчино? Поглядите моих зверей, погуляем по парку. Может быть, мою лодку к тому времени подчинят. А я приеду за то к Вам и вместе пойдем приветствовать Старика в одну из сред.

Ваш А. Куприн.

1917.2.V. Гатчино».

Письмо не требует больших комментариев. «Сэр» Куприн называл меня потому, что незадолго до этого я совершил путешествие в Англию. Рассказ «Козлиная жизнь» был напечатан не сразу, этим и объясняются слова Куприна: «козлиных следов не вижу». Стариком (с большой буквы) он всегда именовал И. Е. Репина.

Вскоре после того как я напечатал «Козлиную жизнь», Куприн прислал мне такое письмо (к сожалению, без даты):

«Дорогой Корней Иванович.

Будьте благодетелем: вышлите мне номера два журнала с «Козлиною жизнью». Тот экземпляр, что Вы мне прислали на редакцию, у меня кто-то ужулил, а «Нивы» я так и не получил.

Передайте мой глубокий поклон Старика, – Ваши слова об его отношении ко мне меня тепло растрогали. А я не из чувствительных.

Ваш сердечно А. Куприн.

Сколько у меня сире-е-е-ни!!!»

## VI

Так и запомнились мне два Куприна: один – отравленный вином, опустившийся, другой – бодрый, неутомимый, талантливый, молодо шагающий по своему гатчинскому весеннему саду, среди великолепных кустов буйно цветущей сирени. И с ним два сенбернара огромного роста, которых в своей записке ко мне он любовно называет «зверьями». (Зверь в его устах – похвала.) Однажды сюда, в его гатчинский сад, въехал уральский казак на своем норовистом коне.

<sup>11</sup> Жаль, что в настоящее время этот спорт у нас не в чести. Лыжи для него нужны особенные — на узеньких железных полозьях, чтобы они не расплзались на льду. Парус натягивается на длинные бамбуковые палки, связанные бечевкой крест-накрест, между ними перекладина, за которую вы и хватаетесь, приладив парус у себя за спиной.

Сухой и горбоносый,  
Хорош казачий конь!  
Зрачки чуть-чуть раскосы.  
Не подходи, не тронь!

Все глядели на казачьего коня издалека, с опаской. Но Куприн подошел к нему спокойный, уверенный.

...Погладил темя,  
Пощекотал чело  
И вдруг привстал на стремя,  
Упруго влип в седло...  
Всем телом навалился,  
Поводья в горсть собрал, –  
Конь буйным чертом взвился,  
Да, видно, опоздал!  
Не рысь, а сарабанда.  
А гости из окна  
Хвалили дружной бандой  
Посадку Куприна...

Эти стихи написал Саша Черный, старый друг и почитатель Александра Ивановича. История с казачьим конем произошла у него на глазах. В том же стихотворении поэт называет Куприна могучим «приземистым» дубом, так как многим в ту пору казалось, что душевные и физические силы писателя все еще не изменили ему.

Куприн с величайшей симпатией относился к Саше Черному и к его стихам. Часто декламировал вслух:

Губернатор едет к тете.  
Нежны кремовые брюки.  
Пристяжная на отлете  
Вытанцовывает штуки.

И те стихи, которые так любил Маяковский:

Склонив хребет, галантный дирижер  
Талантливо гребет обеими руками...

Позже, уже в эмиграции, он написал о Саше Черном – тотчас же после смерти поэта – горячую и нежную статью<sup>12</sup>. Мало кому известно, что Куприн и сам был очень неплохим стихотворцем. Стихи сочинял он на все случаи жизни, главным образом шуточные экспромты: басни, эпиграммы, всевозможные «юморески», пародии. Лирика плохо удавалась ему; всем другим жанрам он предпочитал сатиру. Думаю, что, если бы собрать все стихи, написанные Куприным с юных лет, получилась бы книга изрядных размеров.

В 1914 году в первые же недели войны он перевел язвительное стихотворение Гейне о предках кайзера Вильгельма Второго, войска которого только что вторглись в Россию. Этот перевод он тогда же собственноручно вписал в мой альманах «Чукоккала».

### Дворцовая легенда

<sup>12</sup> Статья напечатана в газете «Возрождение», 1933, № 2625. Озаглавлена «Саша Черный». Подпись: А. Куприн. Саша Черный еще в 1910 году посвятил Куприну стихотворение «Первая любовь».

## Гейне

Есть в Берлине в замке старом  
Группа в мраморе одна:  
С жеребцом, пылая жаром,  
Пала некая жена.

Говорят, что эта дама  
Забрюхатела, и вот  
Возвеличился из срама  
Королевский прусский род.

Чистокровный прародитель  
Оказался молодцом, –  
Каждый прусский повелитель  
Так и смотрит жеребцом.

Речи их текут из стойла,  
Смех их – ржанье, мыслей – нет,  
Вся их жизнь – жранье и пойло,  
Человека – вымер след.

*Перевел А. Куприн  
1 сентября 1914<sup>13</sup>*

Перевод сделан сразу, в один присест. Вообще Куприн писал и стихи, и статьи, и рассказы очень быстро, без всякой натуги – тонким, легким, стремительным почерком. Писать он мог при всяких условиях, в любой обстановке, примостившись к окну вагона или к уголку трактирного стола. И часто бывало, что те страницы, которые написаны им впопыхах, оказывались у него наиболее насыщены свежими, полновесными, четкими образами. Эта завидная легкость работы досталась ему нелегко: не забудем, что, перед тем как добиться ее, он прошел многотрудную школу газетной поденщины.

## VII

Все же такая торопливость работы не могла не повредить ее качеству. Нередко бывало, что в самую гущу глубоко продуманных и тщательно взвешенных образов вдруг прорвется нежданно-негаданно какой-нибудь дикий ляпсус, который меньше всего ожидаешь от писателя, вооруженного такими точными знаниями.

Один из подобных ляпсусов встретился мне в «Поединке». Мария Карловна вспоминает об этом случае в своих мемуарах. Она рассказывает, что зимой 1906 года, уже после того, как «Поединок» вышел третьим или четвертым изданием, я спросил у Александра Ивановича:

- С каких же это пор голуби стали зубастыми?
- Не понимаю, – недоуменно пожал плечами Куприн.
- Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в зубах.
- Не может быть, – рассмеялся Александр Иванович. Взяли книгу, проверили, оказалось, что в знаменитой повести голубь и вправду зубастый.

<sup>13</sup> Чтобы прусская цензура пропустила этот памфлет на Гогенцоллернов в печать, Гейне озаглавил его «Романская сага»; место действия перенес из Берлина в Турин и прусских королей назвал сардинскими. Существует несколько русских переводов памфлета: перевод О. И. Морозова (озаглавлен «Легенда замка»); перевод О. Румера — «Романская сага» (см. Генрих Гейне. Избранные произведения в двух томах. Под редакцией и с комментариями Ал. Дейча, т. 1. М. 1956, с. 271–272). Перевод А. И. Куприна довольно близок к подлиннику.



– Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь! – смеялся Александр Иванович<sup>14</sup>.

И это не единственный случай. В одном его рассказе, напечатанном в «Петербургской газете», меня поразила такая строка:

«Вся сосна (или ель) затрепетала листочками...»

Трудно было понять, как это могло произойти, что проникновенный изобразитель Полесья, автор таких повествований о лесе, как «Болото», «На глухарей», «Лесная глушь», человек, который до тонкости знал биографию каждого дерева, пня и куста, оказался так невзыскателен к своему дарованию, что присвоил хвойному дереву листья!

Я написал о купринских «еловых листочках» в укоризненной газетной статейке. Куприн не обиделся и в свое оправдание сказал благодушно, что для «Петербургской газеты» вряд ли стоило особенно стараться: это ведь не «Русское богатство». Здесь печальная особенность его литературной работы. Первокласный художник, лучшие произведения которого были встречены горячими хвалами Льва Толстого и Чехова, он в то же время считал себя вправе сочинять десятки легковесных вещей, впадающих в банальную риторику, в дешевый шаблон.

В эпоху реакции 1907–1913 годов в Петербурге разрослась чертополохом крикливая и беспринципная желтая пресса, начисто порвавшая с героическими традициями недавнего прошлого: «Аргус», «Журнал журналов», «Синий журнал», «Весна» и многие другие. Мамин-Сибиряк, Короленко и Горький отнеслись к этой прессе враждебно. Куприн же, вышедший из низов бесшабашной газетной богемы, почувствовал здесь родную стихию и стал охотно поставлять низкопробным бульварным изданиям развлекательное, пустозвонное чтение, словно он не автор «Поединка», «Реки жизни», «Изумруда», замечательной «Свадьбы»<sup>15</sup>, «Гамбринуса», а какой-нибудь микроскопический Брешко-Брешковский или Анатолий Каменский.

Среди них он был словно кит среди мелкой рыбешки, но рыбешка слишком тесно окружила – и в конце концов поработила – его. Он стал рьяным участником всех ее литературных затей, рассчитанных на громкую сенсацию, и, когда она вздумала создать коллективный уголовный роман «Три буквы», без дальних раздумий вступил в эту пеструю артель.

Биограф писателя сообщает, что именно в этот период Куприным написаны такие мелко-травчатые, построенные на анекдотах рассказы, как «Неизъяснимое», «Люция», «Сила слова», «Заклятье», «Удав»<sup>16</sup>. В этих рассказах писатель дал полную волю всегдашнему своему тяготению к эксцентрическим, пряным, курьезным, внешне эффектным (хотя бы и неправдоподобным) сюжетам.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы только в тогдашних рассказах он изменял своему дарованию: ведь и раньше и после, даже в наиболее серьезных вещах, написанных в строго классической, толстовско-чеховской манере, он порою поддавался соблазну соскользнуть в безвкусную мелодраму, в банальщину. (Самый наглядный пример – роман «Яма», где чрезвычайно рельефно представлены и взлеты и падения его мастерства.)

Не забудем, что даже в этот период он сохранил непримиримую ненависть к «свинцовым мерзостям» российской действительности и продолжал обличать их со свойственным ему сосредоточенным и сокрушительным гневом (в рассказах «Анафема», «Черная молния» и др.).

А если вспомнить при этом, что рассказ «Анафема», клеймивший лицемерных церковников, был напечатан в развлекательном издании «Аргус», станет ясно, что ни о каком нравственном падении Куприна не могло быть и речи (как толковали о том во многих литературных кругах). Политический индифферентизм той растленной среды, с которой он связал свое имя, в очень малой степени отразился на нем.

Осенью 1911 года я посетил его в Гатчине. Никогда я раньше не видел его таким обескураженным и грустным: незадолго до этого один литературный наездник, Фома Райлян, принадлежавший к той самой компании, с которой Куприн так охотно якшался, напечатал о нем такой

<sup>14</sup> М. Куприна-Иорданская. Годы молодости, с. 153.

<sup>15</sup> «Свадьба» — лучший рассказ Куприна, почему-то остается до сих пор незамеченным.

<sup>16</sup> В. Афанасьев, А. И. Куприн. Критико-биографический очерк. М., 1960, с. 124.

оскорбительный пасквиль, что в припадке негодования писатель вызвал клеветника на дуэль. Райлян отказался драться, и это вызвало новый скандал. Враги заговорили об «офицерских замашках» Александра Ивановича (автор «Поединка» – дуэлянт!!!).

Я застал у него художника Щербова, знаменитого карикатуриста, который среди разговора извлек из кармана широких штанов бутылку английской горькой. Этикетку для этой бутылки, разноцветную, очень затейливую, изготовил, как потом оказалось, сам Щербов, и на ней замысловатую вязью, среди всяких прихотливых орнаментов было выведено слово «Купринская».

Щербов (бородатый чудак, смесь художника, дикаря и ребенка) с величайшей нежностью, которая была для меня неожиданной, утешал приунывшего друга, стараясь отогнать от него печальные думы.

– Обгазуются! – говорил он, картавя, и снова доставал свою бутылку.

Не помню, в этот ли раз или позже, я застал в Гатчине у Александра Ивановича его лучшего и вернейшего друга, профессора Федора Батюшкова, чрезвычайно удрученного всей этой дуэльной историей. Батюшков, рыцарски преданный Куприну еще с давних времен, был его опекуном, его заступником, ангелом-хранителем, нянькой, вызволял его из всяких передрыг. Отличный человек (только чуть-чуть скучноватый), он вообще сыграл благотворную роль в жизни Александра Ивановича. Если память мне не изменяет, он-то и удержал Куприна от опрометчивой расправы со скандалистом Райляном.

Но скандал и без того был велик.

Как мы знаем теперь, скандал этот произвел очень тяжелое впечатление на Горького:

«Измучен историей Куприна – Райляна, – писал Горький из Италии Константину Треневу, – со страхом беру в руки русские газеты, ожидая самых печальных происшествий. До смерти жалко Александра Ивановича и страшно за него»<sup>17</sup>.

Как нарочно, около этого времени компания темных дельцов решила извлечь барыши из пылкой любви Куприна к цирковому спорту: по их настоянию он принял участие в чемпионате французской борьбы и регулярно выступал на арене в качестве члена жюри.

Горькому эти цирковые выступления Александра Ивановича причиняли душевную боль.

«...Куприн, – писал он А. Н. Тихонову (Сереброву), – публичный писатель, которому цирковые зрители орут: «И де (где) Куприн? Подать сюда Куприна!» Тургенева бы или Чехову – крикнули этак?»<sup>18</sup>

## VIII

У Горького и Куприна были отношения сложные. Впервые я увидел их вместе 4 марта 1919 года на заседании Союза деятелей художественного слова. Незадолго до того я расхворался, и поэтому заседание происходило у меня на квартире, – в Петрограде на Кировной.

Первым за полчаса до начала пришел Александр Иванович. По всему его обличью было видно, что угарная полоса его жизни уже миновала. И следа не осталось от того обрюзгшего, мешковатого увальня с распухшим и неподвижным лицом, каким он был еще очень недавно. Не чувствовалось в нем и веселой готовности ко всяким мальчишеским озорствам и проделкам, которая отличала его во времена «Поединка». Он сильно исхудал и притих, словно после тяжелой болезни.

Приветливо поздоровался с моими детьми и, так как они увлекались в то время какой-то настольной игрой (игра называлась «Пять в ряд»), тотчас же начал играть вместе с ними.

Сыграли две партии, вошел Горький, хмурый и очень усталый.

<sup>17</sup> В. Афанасьев. А. И. Куприн. Критико-биографический очерк, с. 128.

<sup>18</sup> Там же, с. 126.

– Я у вас звонок оторвал, а дверь открыта.

Куприн кинулся к нему с самой сердечной улыбкой, но почему-то неуверенно, робко.

– Ну, как здоровье, Алексей Максимович? Все после Москвы поправляетесь?

– Да, если бы не доктор Манухин, давно уже был бы в могиле... – Горький закашлялся. – Надо бы снова к нему, да все времени нет. Я сейчас из Главбума... Потеха... Вот документ... поглядите.

Горький пошел в прихожую и достал из кармана пальто какую-то большую бумагу.

И оба они стали читать документ и возмущаться его крайней нелепостью.

И опять удивила меня какая-то новая интонация в голосе Александра Ивановича, смиренная и как будто чуть-чуть виноватая.

Разговор был самый заурядный, словно встретились случайные знакомые, не обремененные памятью о былых отношениях. – Вы молодцом! – сказал Александр Иванович. – Вот мне – подумайте только! – уже сорок девять!

– А мне пятьдесят! – сказал Горький.

– И смотрите: ни одного седого волоса!

В таком духе шел весь разговор. Слушая его, вряд ли кто мог догадаться, сколько страстного интереса друг к другу, сколько взаимного восхищения, тревог, разочарований, обид пережили в минувшие годы эти два собеседника, обменивающиеся здесь, за столом, незначительными, ни к чему не ведущими фразами.

Трудно даже и представить себе, как много значил в жизни Куприна Горький. Куприн много раз повторял, что никому он не был так обязан, как Горькому.

«Если бы Вы знали, – писал он Алексею Максимовичу в 1905 году, – если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это».

И утверждал, что, если бы не Горький, он так и не закончил бы своего «Поединка». «...Я могу сказать, – писал он Горькому, – что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам»<sup>19</sup>.

«Поединок» при выходе в свет был посвящен Куприным Алексею Максимовичу: «С чувством искренней дружбы и глубокого уважения». В следующих изданиях этого посвящения нет. Потом многое разделило их, они разошлись, и надолго. Теперь это все отодвинулось в прошлое. Теперь, после Октябрьских дней, они, как и в старые годы, снова встретились на общей работе: для горьковской «Всемирной литературы» Куприн по предложению Горького (и, кажется, при содействии Батюшкова) перевел трагедию «Дон-Карлос» и написал небольшую статью о своем любимом Александре Дюма<sup>20</sup>.

То заседание Союза деятелей художественного слова, о котором я сейчас говорю, было многолюдным и долгим.

Присутствовали Александр Блок, Мережковский (враждебные друг другу из-за поэмы «Двенадцать»), Евгений Замятин, Николай Гумилев, Юрий Слезкин, Виктор Муйжель, Эйзен-Железнов и еще двое-трое, имена которых я забыл. Каждому из нас было поручено дать отзыв о намеченных для переиздания книгах. Смущаясь присутствием Горького, я кое-как прочитал свою рецензию о горьковской пьесе «Старик». Унылый Муйжель пробубнил что-то нудное. Потом выступил Александр Иванович и, обращая главным образом к Алексею Максимовичу, сделал (не по бумаге, а устно) очень содержательный и тонкий разбор рассказов Давида Айзмана, которые рекомендовал для издания. Говорил он неторопливо, деловито, умно – точными и вескими словами. Доклад произвел большое впечатление на всех. Даже у Блока потеплели глаза.

После заседания Куприн, с какой-то подчеркнутой вежливостью попрощавшись со всеми (в том числе и с детьми), отвел Алексея Максимовича в сторону и просил похлопотать о какой-то старухе писательнице (чуть ли не о Марии Валентиновне Ватсон). Горький, вечно торопившийся, не имевший ни минуты свободной, все же задержался в прихожей: было видно, что этот Куприн, Куприн, принимающий к сердцу чужую беду, Горькому особенно близок.

Наскоро простившись со всеми, он ушел с Александром Ивановичем, и в окно было видно,

<sup>19</sup> А. И. Куприн. Собр. соч., т. 3. М., 1957, с. 570

<sup>20</sup> Л. Бодрова. История одной рукописи. «Новый мир», 1958, № 3, с. 278–279.

как они оба, оживленно беседуя, идут по Манежному: Горький – большими шагами, а Куприн – семенящими, мелкими.

Вскоре после этого свидания с Горьким Куприн написал мне такое письмо:

«Дорогой Корней Иванович.

Окажите содействие!

Я просил Алексея Максимовича походатайствовать об участии четырех гатчинских реалистов, засаженных на Шпалерную (сопливые контрреволюционеры!). Но Алексей Максимович, уже принимавший раньше под свое крепкое крыло моих подобных клиентов, заболел. Тогда я пристал к А. В. Луначарскому (и тоже в пятый, кажется, раз). Начав с притчи о марк-твендовской собаке и докторе, я указал ему, что ужасные заговорщики были все в возрасте от 14–17 лет. Вся их вина: один (да еще на службе, да еще на казенном ремингтоне) переписывал дурацкую эсеровскую прокламацию, а другие были уверены, что история запишет их имена на скрижали. В сущности, игра в Робинзона, путешествие в Америку, «Хвост Пантеры» и Шерлок Холмс! Не более!

Луначарский мое письмо со своею припиской препроводил Лобову. Трое мальчиков были вскоре освобождены. Но четвертый, Иван Тарасов (Шпалерная, камера № 24, отд. 8), к нашему общему огорчению, перешагнул за семнадцатилетний возраст (ему 17). И вот его отправляют на общественные работы, а у него порок сердца. Мотив – именно великовозрастность. Я уже не говорю о его отце и матери: каждый день я вижу их ужасные, умоляющие, жалкие глаза! Но мне хорошо известно, что из всей крамольной компании Тарасов был наиболее ребенком, наиболее наивным фантазером и в то же время наименее виноватым. Также я знаю (в Гатчине все всё и обо всех знают), что у этих поросят не было старших руководителей. Все их дело – любительская, смешная отсебятина. Господи! Разве вместе твердой, серьезной, огромной власти метать свои громы в полоротых шибздигов?

Если можете, поклянчите у кого-нибудь! Очень тронете преданного Вам А. Куприна».

На полях:

«P. S. Увидите Алексея Максимовича – передайте ему мою благодарность.

А. К.

1919. 27.V».

Алексей Максимович принял в Иване Тарасове большое участие, но оно оказалось ненужным, так как тот был освобожден еще раньше.

С такими письмами, проникнутыми заботой о страждущих, Куприн обращался к Горькому не раз. Хлопоча об одном чахоточном литераторе, он писал в 1905 году:

«Дорогой, добрый Алексей Максимович, устройте его, пожалуйста, в Ялте подешевле. Вам стоит только сказать слово покрепче С. Я. Елпатьевскому. Он Вас, конечно, послушает, а меня, конечно, нет: поэтому я к Вам и обращаюсь, а то бы не решился Вас беспокоить»<sup>21</sup>.

Я привел это купринское письмо, чтобы читателю стала ясна одна немаловажная черта в характере Александра Ивановича: его участливость. Вспомним хотя бы о том щедром залоге, который в 1905 году он разрешил Марии Карловне внести за меня. Когда он узнал, что в цирке Чинизелли во время разрухи (1918–1919) голодают его любимые лошади и другие животные, он (опять-таки с помощью Горького) выхлопотал для них пропитание и тем спас их от верной ги-

<sup>21</sup> Ф. И. Кулешов. Творческий путь А. И. Куприна. Минск, 1963, с. 299.

бели.

Правда, доброта его проявлялась порывами и далеко не всегда. Порою он бывал бешено вспыльчив, порою, как и каждый из нас, несправедлив, недостаточно чуток. Тем заметнее была пробуждавшаяся в нем временами страстная забота о людях, так или иначе обиженных жизнью. Очень верно говорит о нем Бунин: «Наряду с большой гордостью много (было в Куприне. – К. Ч.) неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму»<sup>22</sup>.

Помню, его одесский приятель, Антон Антонович Богомолец, юрист, рассказал ему в 1902 или 1903 году о какой-то старухе, которую беспощадно колотит сын, громадного роста биндюжник. Куприн в тот же день разыскал этого человека в порту и, рискуя быть изувеченным его кулаками, сказал ему такие крутые слова, что тот закаялся измываться над матерью. Я видел эту женщину, когда она пришла к Богомольцу, чтобы поблагодарить Куприна. Куприн принял ее с сыновней почтительностью, и, не желая, чтобы мы восхваляли его благородство, сказал, когда его гостя ушла:

– Хорошо пахнут старухи на юге: горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и – ладаном.

Осенью 1919 года он совершил самую большую ошибку, какую когда-либо совершал за всю жизнь: перешел советскую границу и стал эмигрантом. На восемнадцать лет оторвался от родины и этим страшно обессилил свое дарование. Невозможно без глубокого волнения читать его зарубежные письма к друзьям: в них отражается такая сиротская, безнадежно тоскливая жизнь, всецело погруженная в мелкие заботы о хлебе, какая была бы не под силу и юным талантам, а Куприн на чужбине вскоре постарел и ослаб.

«Я как-то встретил его (в Париже. – К. Ч.) на улице, – вспоминает Бунин, – и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он... плелся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза»<sup>23</sup>.

И горькая, безысходная бедность:

«Сейчас мои дела рогожные, – писал Куприн из Парижа одному педагогу. – Ах, если бы Вы знали, какой это тяжкий труд, какое унижение, какая горечь писать ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос... Правда, иногда ласковый привет читателя умилит, обрадует, поддержит морально, да без него и страшно было бы жить, думая, что, вот, возвел ты многоэтажную постройку, работу всей жизни – а она никому не нужна. И плохой советчик в одинокие минуты бедность». «...Все, все дорожает. Зато писательский труд дешевет не по дням, а по часам. Издатели беспощадно снижают наши гонорары, публика же не покупает книг и совсем перестает читать».

«...И нет дня, чтобы не были с утра до вечера заняты либо хлопотами о *carte d'identite*<sup>24</sup>, либо спешным взносом налогов: налогов прямых, косых, дополнительных, пооконных, по-трубных, посемейных, подоходных, прожиточных, квартирных, беженских, эмигрантских, потом за все четыре румба, за то, что вы брали ванную чаще, чем раз в год, и за количество штанов и подштанников... Руки делаются свин-

<sup>22</sup> И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания, с. 590.

<sup>23</sup> И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания, с. 593.

<sup>24</sup> Удостоверение личности.

цовыми, и перо выпадает из рук...»

«...У нас уже 48-й день стоят холода самые полярные. За то, чтобы поглядеть на каменный уголь, взимают 40 сантимов; подержать в руке – франк, а лизнуть – франк 50 сент[имов]»<sup>25</sup>.

«...Эмигрантская жизнь, – писал он из Парижа сестре, – вконец изжевала меня и приплюснула дух мой к земле. Нет, не жить мне в Европах!..».

«Меня всегда влекли люди, нравы, обычаи, ремесла, песни, словечки. И нигде еще, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по Родине... Если уж говорить о том Париже, который тебе рисуется и представляется, то я его ненавижу».

Илье Ефимовичу Репину он в эти же годы писал:

«Чем дальше я отхожу во времени от Родины, тем болезненнее о ней скучаю и тем глубже люблю... Знаете ли, чего мне не хватает? Это двух-трех минут с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с владимирским плотником, с мещерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка...»

В 1937 году Куприн возвратился на родину такой изможденный и хилый, что его невозможно было узнать, словно его подменили. В этом немощном, подслеповатом человеке с такой тоненькой шеей, с таким растерянным, изжелта-бледным лицом не осталось ни единой черты от того Куприна, какой запечатлен в его книгах. Из них он всегда будет вставать перед нами как здоровый, мускулистый, полнокровный талант, пышущий нутряными, могучими силами.

Замечательный художник, мастер меткого и емкого слова, достойный ученик Льва Толстого и Чехова, автор «Свадьбы», «Поединка», «Лестригонов», «Реки жизни», «Гамбринуса», вскоре после возвращения на родину стал для советских людей одним из любимейших русских писателей.

## Последний дебют

*Посвящ. Н.О. С-ой.*

*Я, раненный насмерть, играл,  
Гладьяторов бой представляя...*

**Гейне**

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Геккендольф только что добрался до самого интересного места, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, – где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и

<sup>25</sup> Письма к И. А. Левинсону. «Литературная газета», 1960, № 147, от 13 декабря.

волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

– Опускайте, опускайте кулисы-то! – кричал он, бегая без сюртука по сцене. – Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

– А Кириллом, – отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

– Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филипыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

– Пушай висит, – отвечал сверху грубый голос, – таперя кулисы мешают, тады легче будет.

– А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые... Последнее слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его обрамленное густою гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

– Обратите, пожалуйста, внимание, – вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. – Андрюшка опять запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

– Потом, потом, – прервал рассеянно Александр Петрович. – Где Гольская?

– Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, – отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

– Кто там? Войдите! – раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица. Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпитаграммой:

Фигура

Без тюрнюра! –

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Гольской позволяли дать ей это название.

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

– Чем обязана чести видеть вас у себя? – спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечи и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

– Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадеж-

ные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса. И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

– Александр Петрович, представьте себе, – заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, – представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, – полюбила в первый раз а жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

– Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепую любовью, вбросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

– Ну вот! Я так и знал, – прервал нетерпеливо антрепренер. – И к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, – я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы – по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и *требовать* любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

– Александр Петрович, – возразила Гольская – вы забываете, кажется, что я женщина, что...

– Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, заслышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителю! Я вам понравился, вы мне понравились, – это, по-вашему, естественно? А разве не естественно и то, что вы мне перестали нравиться?

– Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви! – Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

– Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, – прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, – скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

– Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел закончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задышав от гнева, произнесла почти шепотом:

– Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек; никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понунив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворяющуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, пронеслись и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

– Ваш выход, Лидия Николаевна, – раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемпо-



дистов, – поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

– Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и лежал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

– Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?.. Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, – со страхом думала Лидия Николаевна, – спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась наконец момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все грома небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера:

«Вам, Лидия Николаевна», – дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? – проносилось в уме. – Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, – я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой женщину; холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, – в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной погибшей любви, – роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царилась гробовая тишина, – каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью.

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...»

Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но – мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

– Гольская! Гольская! – раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слы-

шались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

– Гольская! Гольская! браво! – раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

– Господа, Гольской не стало...

<1889>

## Впотьмах

### I

На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая, разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плитняной помост, – все это, вместе с шипением машины, сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету.

У дверей вагона второго класса стояли трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка.

Один из них, полный брюнет с выхоленным барским лицом, пробежал газету, дымя дорогой сигарой; другой – высокий, тонкий и гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, – так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода, вычурности, – держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме, с дорожной сумкой через плечо.

Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями.

Между ними было очень мало общего: случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным.

К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны своею неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены.

Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер – Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым; но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в «Славянском базаре» и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа.

Раздался третий звонок, и у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения.

Суета на платформе заметно усилилась.

– Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста, – заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. – Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри!..

Но ему стало неловко от собственных слов, так как, даже при самом искреннем желании, у него с Алариним не могло найтись никаких общих интересов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксажура, которым были намазаны его усы.

У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием.

Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно

кто-то раза два встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся.

Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой.

«И для чего эта комедия? – думалось ему. – Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?»

Но в силу чего-то бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустил на диван.

Аларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомства в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердце скуки и делается пошло-любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничьего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей.

Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня: последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем не хороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания.

«Анемическая особа», – решил Аларин.

Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее лицо было грустно, и вся тоненькая, хрупкая фигурка жалко-беспомощна.

Рядом с бледной барышней помещался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами навывкат.

Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы-луковицу со множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, уставился с изумленным видом на Аларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту, с головой, болтавшейся во все стороны, и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение.

Аларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи; потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей, наконец, мысли его смешались, и он задремал.

Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили, точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса – молодой мужской и старушечий – наперерыв лепетали, споря и захлебываясь.

Аларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забилась в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масляных глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял.

Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку.

– Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалуста, прошу: нэ пугайся, – услышал Аларин хриплый голос.

– Оставьте меня, ради бога, – произнесла в отчаянии барышня.

Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения.

Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного

человека, но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушевываются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», – решил он.

Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал.

– Ну, ну, нэ горячись. Слушай, цыпка, что я тебе скажу. Сейчас приедем в К., слезай с вагона, поедем ко мне в гостиницу обедать. Ей-богу, поедем, весело будет! А назад поедешь – я тебе билет куплю. Хорошо?

Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит.

– Чего молчишь? Хорошо? А? Ну, скажи, душа, хорошо?

И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено.

– Господи! Да что же это такое! – вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала.

Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели руки и по спине забегали мурашки.

– Слушайте, вы! – обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. – Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!

Из-за спинок диванов стали выглядывать заспанные лица пассажиров, разбуженных восклицанием.

Восточный человек отпустил ногу своей соседки.

– Ва! Ти мнэ началник? – заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком струхнув. – Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!

Публика стала волноваться.

– Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш... В чем дело-то, господин? – слышалось с разных сторон. Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство.

– А-а? Не хочешь? – задыхаясь, воскликнул он. – Не хочешь?.. – И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. – Не хочешь?.. – повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках.

Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его; он выпустил из руки полуоторванный воротник и сказал, тяжело дыша:

– Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было.

Восточный человек сделался кроток, как агнец.

– Чего таскал, – заговорил он укоризненно, – зачем не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!..

Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.

## II

Когда Аларин сел на свое место, пассажиры продолжали волноваться.

– Есть же такие мерзавцы, – негодовал кто-то вроде приказчика, маленький, головастенький человечек, весь обросший черным лесом курчавых волос. – Как же это, помилуйте, вдруг с такими глупостями лезть к одиноко едущей особе! Да им морду следует за это бить, а не то что...

Он обращался как будто к своей собеседнице – старушке, но голову поворачивал по направлению к барышне, с которой произошел этот неприятный эпизод, вероятно ожидая, что она поддержит его негодование.

Однако она была так напугана и возмущена всем происшедшим, что лишь дрожала и молчала.

Аларин почувствовал глубокую жалость к этому незащитному созданию. «В самом деле, – подумал он, – чем может оградить себя от подобной назойливости эта худенькая девушка? У нее, кроме слез, нет никакого оружия, да и те не на всякого действуют».

Однако в то же время, хотя ему и было неловко от обращенных на него со всех сторон глаз, он все-таки в глубине души немножко любовался своей «бешеной вспыльчивостью», с большим удовольствием припоминая ту тишину, которая наступила в вагоне, когда он закричал: «Не хочешь?»

Все это требовало теперь нескольких утешительных, пожалуй, даже великодушных слов, которые должны были окончательно успокоить бедную барышню.

Эти ощущения смешивались весьма странным образом. Аларин, вообще склонный к анализу своих внутренних побуждений, часто замечал в себе подобную двойственность, и если на него находила в это время минута самобичевания, то он называл себя с горечью «раздвоенным человеком».

Когда глазающие из-за диванов головы мало-помалу скрылись, Аларин наклонился к своей соседке.

– Успокойтесь, ради бога, – ласково и тихо сказал он, стараясь заглянуть ей в лицо, – все подобные господа ужасные трусы и негодяи, и из-за них волноваться не стоит. Может быть, я вас тоже напугал?

– Ах, я действительно так перепугалась! – отвечала девушка, улыбаясь сквозь слезы. – У меня сердце до сих пор еще стучит. Вы были так рассержены, что я думала, вы его убьете. Я не знаю, как благодарить вас.

И она быстро протянула Аларину руку и опять застенчиво улыбнулась.

У нее была очаровательная улыбка, обнаруживавшая ровные и блестящие зубы и образовавшая на каждой щеке по две ямочки. Эта улыбка освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо.

– С ним, слава богу, ничего не сделалось, – произнес Аларин, невольно отвечая на ее улыбку, – но это послужит ему на будущее время хорошим уроком. Если такие наглецы, как вот этот, время от времени не получают таких энергичных встрясок, то это обычно располагает их к дальнейшим действиям такого же характера. Интересно, почему он к вам так пристал?

Он сказал это и тотчас же спохватился и сконфузился. Ведь, конечно, эта худенькая девица боялась даже обернуться на своего пылкого соседа и не могла ни одним взглядом дать ему повод к приставаниям. Но она была так далека от понимания всех этих житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности подобного вопроса и горячо ответила:

– Уверю вас, я сразу испугалась его, как только он сел рядом со мною.

– Но хуже всего, – перебил ее Аларин, – что у нас ни одна женщина не может быть гарантирована от подобного рода неприятностей. Ведь здесь проглядывает самое грубое сознание превосходства физической силы, а между тем я знаю многих образованных и даже гуманных людей, которые не стыдятся проделывать почти то же самое.

– Но ведь это ужасно! – возразила барышня. – Как же порядочный человек может позволить себе?..

– В том-то и дело, что здесь полное отсутствие какой бы то ни было порядочности. Конечно, люди, о которых я сейчас сказал, не выражают так грубо, как этот кавказец, своих низменных инстинктов, но все-таки... Я, право, не могу решить, догнали ли мы в этом отношении чересчур быстро Европу или это остатки старинного русского неуважения к женщине!

Александр Егорович в эту минуту совершенно искренно позабыл о кое-каких своих похождениях.

– Но если некоторые сознают это, почему же они не постараются как-нибудь подействовать на других? – спросила девушка. – Ну, писать, что ли, об этом?

– Пишут, – сказал Александр Егорович, – отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее поработителем-мужчиной. Но это, по-моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие возгласы.

Аларин с удовольствием высказывал эти обиходные истины. Он умел и любил говорить только тогда, если вокруг него не было слушателей, которых он инстинктивно считал бы сильнее

себя. Сосредоточенное внимание сидевшей перед ним девушки, представлявшей олицетворенную неопытность и наивность, делало его развязным.

Кроме того, он был не чужд любования собою и своим голосом, свойственного очень молодым, в особенности красивым людям, которые, оставаясь даже совершенно одни, постоянно воображают, что на них кто-то с любопытством смотрит, и ведут себя точно на сцене. Они являются перед собою то разочарованными, пресыщенными циниками, то современными дельцами, с полным отсутствием принципов и с девизом «нажива», то светскими денди, свысока глядящими на род человеческий, но всегда чем-нибудь красивым и выдающимся. Та или другая роль зависит от настроения духа или прочитанной книжки, что, впрочем, не мешает в них вырабатываться собственным оригинальным качествам. Теперь вот, разговаривая со своей соседкой, Аларин чувствовал себя пожилым мужчиной, относящимся с симпатией и жалостью к этому наивному ребенку.

– Да, – продолжал он, увлекаясь собственными словами, – у нас вот и электричество, и гипнотизм, и все кричат, что человечество прогрессирует, а поглядите, в каком положении во всех цивилизованных странах находится женщина.

И он легко и быстро очертил современное положение женщины, черпая мотивы из недавно прочитанной модной повести. Он с эффектной, деланной злобой говорил о том, к чему готовят ее с пеленок, как извращают воображение и приучают к роскоши.

Для его собеседницы все это было совершенной новостью, она ловила каждое слово и притом невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами. Это, после институтских учителей и швейцаров, был первый «настоящий» мужчина, которого она видела. Аларин коснулся тех «жалких обрывков познаний, которые западают в юную женскую головку». Он описывал все это очень удачно в карикатурных гиперболах и вдруг перебил самого себя.

– Извините, – сказал он смущенно, – вы, если я не ошибаюсь, бывшая институтка! Поверьте, что я не хотел сказать ничего обидного...

– Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, – возразила девушка, – вы все это так хорошо знаете. Представьте себе, у нас даже русским языком никто не интересовался.

– А занимались тем, что сшивали тетрадки розовыми ленточками с надписью «Souvenir». Или приклеивали на первой странице целующихся голубков? Да?

– Вы и это даже знаете?

– Знаю. А в библиотеке ничего, кроме произведений madame Жанлис, конечно, не было?

– Ах, эта противная Жанлис. Мы просто ненавидели ее и называли ее именем одну сердитую классную даму. Пушкина нам только в первом классе стали давать и Тургенева кое-что. Правда, прелесть Тургенев?

– Как вам сказать, – не утерпел Аларин, – у него, пожалуй, многое и в архив можно сдать?

– О нет! Не говорите так! – протестовала она. – «Записки охотника» – это... я вам не сумею передать, это – божественно! Я «Накануне» читала летом на загородной даче, целые дни читала. Утром из-под подушки выну и целый день не расстаюсь с ними. Даже за обед ухитрилась принести, конечно, потихоньку, чтобы не заметила madame Швейгер...

Но Аларина мало занимали ее рассказы, потому что он сам говорил не для нее, а для собственного удовольствия.

Его поразил ее свежий, серебристый голос.

– Скажите, пожалуйста, вы не поете? – неожиданно спросил он.

Барышня вспыхнула и, как-то совсем по-институтски, взглянув на него исподлобья, спросила:

– Почему вы это узнали?

– У вас такой чистый и полный голос, и тембр такой богатый. Я только поэтому и предположил. Но вы все-таки поете?

– Да, я немного училась. Monsieur Орлов, наш учитель пения, говорил мне, что если я поработаю над голосом, то могу выступить на сцену. Но я ужасно стыжусь петь. У нас на масленице был концерт, и я пела в мендельсоновском дуэте: «Хотел бы в единое слово излить...» Вы слышали его?

Аларин в музыке ровно ничего не понимал, но ответил, что, к сожалению, этого дуэта не

слышал, хотя обожает Мендельсона.

– Это очень известный романс, – заторопилась барышня. – Вы, верно, слышали...

Хотел бы в единое слово излить  
Я, что на сердце есть! –

пропела она вполголоса первые две строчки и вдруг, спохватившись, покраснела до слез.

Аларина эти десять нежных, дрожащих нот привели в восторг.

– У вас чудный голос, – сказал он совершенно чистосердечно, – на меня пение еще никогда не производило такого впечатления, как эти несколько звуков. Как бы я хотел услышать вас с аккомпанементом!.. Вы, впрочем, извините, я до сих пор не знаю вашего имени!.. – прибавил он полувопросительно.

Они назвали друг другу свои имена и фамилии. Барышню звали Зинаидой Павловной.

– Вы до какой станции едете, Зинаида Павловна? – спросил Аларин.

– Я прямо в Р\*.

– Неужели? Представьте себе, мы едем в один город. Ведь это положительно судьба, что мы с вами попали в один и тот же вагон и так хорошо разговорились. Он, конечно, сказал про судьбу единственно «для красоты слога», но, склонная к мечтательности, Зинаида Павловна серьезно увидела в этих случайностях действие предопределения и внезапно после его слов ощутила какую-то тихую, бессознательную радость. Точно она узнала, что там, в далеком, чужом городе у нее будет близкий человек, который поддержит и защитит в случае надобности.

– И вы, по всей вероятности, едете в Р\* к родным? – продолжал расспрашивать Аларин.

– Нет, – отвечала она и запнулась. – Я еду туда гувернанткой...

И, быстро вскинув на него глаза, точно желая удостовериться, нет ли на его лице улыбки, она продолжала:

– Вы знаете, к нам в институт присылают для пепиньерок предложения, но я от многих больших городов отказалась, потому что думала поступить в консерваторию; только это ужасно дорого, а для стипендии надо иметь большую протекцию. А у меня мама... совсем без средств...

По институтским традициям, Зинаиде Павловне было тяжело признаться в бедности матери, но Александр Егорович производил на нее впечатление такого хорошего, сердечного человека, которому можно было рассказать «все».

– Так вам и улыбнулась консерватория? – спросил Аларин.

– Да, так и улыбнулась. Моя подруга Посникова поступила, ее тоже Зиной зовут... У нее самый простой комнатный голос, но она... хорошенькая... понятно, ей нетрудно...

Последние слова барышни звучали самой неподдельной, наивной грустью.

– Ну вот, и я должна была принять первое попавшееся место, – продолжала она, – хотя даже не знаю условий. Вы, может быть, знакомы с этим господином... фамилия его Кашперов?..

Аларин, живший в Р\* уже два года, не мог не знать Кашперова.

– Скажите, пожалуйста, что это за человек, то есть кто он такой? Чем он занимается? Много у него детей? – засыпала она вопросами Александра Егоровича.

– Да не торопитесь так, я не знаю, на что отвечать. Кашперов, про которого вы спрашиваете, вдовец, у него есть маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое, которое раз укусило меня за палец. Сам Кашперов человек безусловно честный и собою красив, так что за ним до сих пор барыни бегают: представьте себе, седые волосы и черная борода. Какой он образ жизни ведет? Конечно, как подобает вдовцу и богатому человеку; ведь он, между прочим, страшно богат, но денег своих не прячет и делает на них много добра. Вообще он человек не совсем обыкновенного десятка. Впрочем, вы это сами увидите.

– Да, – задумчиво произнесла Зинаида Павловна, – воспитание – очень серьезное дело!

– Ну, что касается воспитания, то я положительно отвергаю его, – сказал Аларин.

– Как отвергаете? У нас сам инспектор читал педагогику и столько говорил об ее великих задачах.

– Поверьте, что он сам в это время над собой смеялся, – шутливо перебил Александр Егорович.

– Какой вы злой!.. Ну, так не будем говорить о воспитании. Вы давно живете в Р\*?

– Нельзя сказать, чтобы особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивел. Притом вы, должно быть, слыхали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и, во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом богоспасаемом граде живешь, как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, что у меня к обеду готовится и о чем я вчера разговаривал по секрету со своим приятелем. Зато уж если наши провинциальные премьерши примутся кому-нибудь перемывать косточки, то делают это с неподражаемым совершенством, тем более что тем для такого занятия бывает много, ибо город изобилует легкими и приятными нравами.

– А вы сами, кажется, служите? Что это у вас за форма? – осведомилась Зинаида Павловна.

– Я больше по инженерной части состою... говорю «больше», так как на пристани, в порту, где, собственно, и есть место моих занятий, я существую только в виде декорации. Но у меня много частных работ; вот Кашперов ко мне тоже часто обращается.

Аларин любил говорить о себе и потому с удовольствием посвятил новую знакомую в подробности своей жизни, но когда он вскользь упомянул о матери и Зинаида Павловна наивно спросила, кто был его «рара», он осекся и кровь бросилась ему в лицо.

Однако вдруг им овладело неудержимое желание сейчас, сию минуту рассказать все до мельчайших подробностей этому чистому существу.

– Знаете ли, – произнес он медленно и значительно, – я этого никому еще не говорил, но вы, я знаю, добрая, вам не будет смешно... Я – незаконнорожденный!

Она сначала не поняла его, но потом ей стало жаль Александра Егоровича той особенной, болезненной жалостью, которую возбуждает калека или тяжелобольной человек. Она поняла, что этого пункта нельзя касаться, и продолжала молчать.

А он, преодолев первую неловкость, рассказал ей подробно всю свою биографию, причем говорил так горячо, искренно и жалея в эту минуту самого себя, что у Зинаиды Павловны сжималось сердце.

– Ну вот, вы теперь все знаете обо мне, – закончил Аларин свой рассказ. – Это я только вам одной говорил, потому что вы не употребите во зло моего доверия... Поглядите, какая чудная ночь! – воскликнул он вдруг, заглянув в окошко.

Они оба прислонились к окну, так что их головы почти касались. А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом темно-синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Лужайки, окруженные кустами и залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами; стройные прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихой ночью. И все это призрачное, обольстительно-прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам.

– Чудная ночь, – почти шепотом повторил Александр Егорович, – не правда ли, в ней есть что-то таинственное?

– Да, таинственное... и грустное, – отвечала Зинаида Павловна, и Аларин услышал в ее голосе дрожь.

– Нет, зачем же грустное, – перебил он, – в такие ночи мною, наоборот, овладевает прилив какой-то неудержимой отваги; теперь бы коня, и – мчаться где-нибудь в степи так, чтоб захватывало дух... Однако скоро будет светать, и вот уже огоньки нашего Р\* виднеются. Собирайтесь, Зинаида Павловна, почти домой приехали.

Поезд подходил к Р\*. На станции, где сходились три ветви железных дорог, была страшная суматоха. Аларин вывел растерянную и озябшую Зинаиду Павловну на крыльцо вокзала.

– Телеграфировали вы Кашперову о приезде? – спросил он, останавливаясь.

– Да.

– В таком случае должен быть экипаж! – И он закричал во все горло: – Лошади Кашперова!

– Здесь! – ответил чей-то голос. К крыльцу подъехала щегольская коляска, запряженная парой серых видных лошадей.

– Барышня приехали? – осведомился кучер, приподнимая шапку.

Зинаида Павловна, пожимаясь от ночного холода, стала прощаться с Алариним. Ей вдруг



стало жалко и этой так быстро промелькнувшей ночи, и этого красивого лица, казавшегося совсем бледным при свете луны.

– Прощайте, Александр Егорович, – грустно сказала она, протягивая ему руку. – Как мне благодарить вас?

– Самой лучшей благодарностью для меня будет, – ответил Аларин, ласково смеясь, – если вы обратитесь ко мне в случае надобности.

– Непременно!

Лошади дружно тронули, и коляска загремела по камням мостовой.

### III

Зинаида Павловна проснулась раньше всех в доме, несмотря на то, что накануне легла очень поздно. Проснувшись, она не могла сразу сообразить, каким образом попала в эту уютную, нарядную, как бонбоньерка, комнату, обитую розовым кретоном. Вчера она так была утомлена дорогой, что едва только коснулась головой подушки, как в ту же минуту заснула крепким сном усталого человека.

Ей не хотелось тотчас же одеваться, потому что ленивая утренняя нега овладела всем ее существом, и в памяти носилось бесформенное воспоминание чего-то светлого и хорошего.

«Что ж такое у меня есть приятного? – старалась припомнить Зинаида Павловна, – может быть, эта комнатка?»

Комната действительно была очень красива, но от изящной отделки веяло чем-то совершенно чуждым; этот кокетливый будуар не выдерживал никакого сравнения с тесной, обитой дешевенькими обоями комнатой Зинаиды Павловны в Москве... Может быть, рояль, который она видела вчера, проходя ряд больших, со вкусом обставленных комнат, произвел на нее такое приятное впечатление? Нет, не рояль, – она тогда же подумала, что будет неловко перед хозяином часто играть на нем... Или те шесть новеньких полуимпериалов – подарок мамы при последнем прощанье, – которые она так часто пересматривала, любуясь их ярким блеском?

И вдруг в воображении девушки мелькнуло бледное от лунного света, прекрасное лицо с черными смеющимися глазами.

«Это – Аларин!» – чуть не вскрикнула, обрадовавшись, Зинаида Павловна, и сама тихо улыбнулась тому, что назвала его по фамилии.

– Милый, хорошенький, красавчик мой! – прошептала она, прижимаясь лицом к подушке с неопределенной улыбкой. – Какой у него голос славный: мягкий такой и задушевный. Любят ли его женщины? Да, конечно, любят! Разве можно его не любить? Когда он говорит или смеется, его глаза так и смотрят в душу, точно ласкают... Он, видно, очень, очень умный; когда он говорит, его можно заслушаться...

Зинаида Павловна была мечтательницей по призванию. Природа снабдила ее такой пылкой и широкой фантазией, перед необузданными размахами которой ступеньвалась самая яркая действительность. Еще будучи в низших классах института, она пристрастилась к чтению. По вечерам, когда классная дама пространно и скучно объясняла ученицам заданный к завтрашнему дню урок математики, Зинаида Павловна тихонько вынимала из стола описание какого-нибудь фантастического путешествия по девственным лесам Америки или пустыням Африки, раскладывала его на коленях и жадно погружалась в чтение, причем этот таинственный, сказочный мир увлекательного рассказа, полный жизни и благоуханий, заставлял ее забывать не только страх остаться на целый месяц без передника за невнимание к научным истинам классной дамы, но и все, что только хоть немного напоминало действительность, переставало существовать для нее в эти блаженные минуты. Стены класса раздвигаются на бесконечное пространство... звезды... громадная кровавая луна показывается из-за горизонта безбрежной пустыни, и везде одна и та же нескончаемая даль, покрытая горячим желтым песком... Луна выплывает в самую середину неба... пустыня кажется окутанной белым туманом... Мертвая тишина не нарушается ни единым звуком... И вдруг рев льва, могучий и величественный, потрясает воздух...

– Колосова, повторите все, что я сейчас объяснила, – раздается в то же время скрипучий голос.

Зина вскакивает, растерянная, ничего не понимающая...

Перед ее глазами опять грязная, измазанная мелом комната, тускло освещенная шестью казенными лампами; несколько десятков утомленных детских лиц с улыбкой глядят на ее замешательство, пред нею зеленая, повязанная косынкой физиономия наставницы.

– Извините, я не поняла... мне было не слышно, – пробует оправдаться Зина.

– А! Вам неуютно слушать мои объяснения, – скрипит классная дама, – покажите мне ту книгу, которая была у вас на коленях!..

С летами грезы Зинаиды Павловны приняли более жгучий характер; особенно сильно повлияли на нее в этом отношении лекции истории, которую увлекательно читал симпатичный, знающий учитель. Зина слушала его со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, а он в минуты своих горячих импровизаций обращался к ней одной. Его объяснения не прошли даром для Зинаиды Павловны. По ночам она до мельчайших подробностей переживала все то, что ей приходилось узнать днем. Описание блеска и роскоши средневековой жизни, победы и завоевания римских цезарей гораздо меньше шевелили ее воображение, чем пассивный героизм мучеников идеи. Она так живо вызвала в своем воображении казнь Иоанна Гуса, что плакала и молилась всю ночь до утра. Она обожала Жанну д'Арк и иногда находила в ее образе и поступках много общего с собой; ей тогда начинало казаться, что и в ее груди таятся и зреют до нужной минуты могущественные силы, назначенные судьбой для каких-то великих целей. Ею овладевала тогда страшная жажда самопожертвования, желание совершить неслыханно-громадный подвиг, радостно отдать свою молодую жизнь во имя чего-то далекого и прекрасного.

Иногда Зинаида Павловна проводила целые ночи, не отрывая взора от какой-нибудь яркой звезды, между тем как в ней самой трепетали такие фантастические мечты, в которых она сама не сумела бы дать себе отчета. Весь день после такой ночи она ходила бледная, точно разбитая, на вопросы подруг говорила, что у нее болит голова, но своих задушевных грез никогда никому не поверяла. Вообще она никогда не была слишком откровенна, но каждый, кто только встречался с ней, невольно чувствовал в ней присутствие ее собственного внутреннего мира, а также то, что она в это святое святых, наверно, никого не пустит.

Зинаида Павловна долго лежала неподвижно, погруженная в свои неясные грезы, и все время задумчивая улыбка не сходила с ее лица. Она думала о том, сколько оскорблений вынес Аларин вследствие каприза своего пресыщенного, развратного отца. Он боится насмешки; да разве можно смеяться над этим? Ведь это все равно что смеяться над человеком с оторванной ногой, над уродом от рождения! У него в речах слышится злобное презрение к людям... Он, верно, не встречал еще ни разу любящей, нежной души, которая сумела бы понять и оценить его и заставить забыть все оскорбления!.. Что, если бы Бог подарил это счастье ей!.. Какими заботами, какой нежной предупредительностью окружила бы она Аларина!..

И ее пылкое воображение в одну минуту нарисовало сцену безмятежного счастья.

Он возвращается со службы веселый и проголодавшийся. Она ждет его, с нетерпением поглядывая на часы; она нарочно заказала к обеду его любимые кушанья. За обедом он рассказывает ей все, что видел днем, пересыпая свой разговор веселыми шутками и красноречивыми взглядами. Она его внимательно слушает, не забывая, однако, о своих хозяйственных обязанностях. Когда они встают из-за стола, уже начинает темнеть. Они привыкли проводить в это время полчаса перед горящим камином... Здесь так тепло, дрова так весело трещат и сыплют тучи искр, так приятно ведутся задушевные беседы!..

Зинаиду Павловну вывел из этого состояния задумчивости легкий стук в дверь, сопровождаемый молодым женским голосом, спрашивавшим, можно ли войти. В комнату влетела хорошенькая, кокетливо одетая горничная и предложила свои услуги. Однако Зинаида Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей помогали одеваться, отказалась от этого.

– Благодарю вас, – сказала она, – если понадобится, я позову.

– А чай прикажете вам в комнату принести, – приставала горничная, – или изволите сойти вниз? Барин и барышня всегда в это время кушают чай в столовой.

Зинаида Павловна предпочла сойти вниз.

«Ну, каково-то будет наше первое знакомство? – думала она не без волнения. – Во всяком случае, надо поставить себя с самого начала так, чтобы он никогда не осмелился глядеть на меня, как на «наемную»!..»

Когда она вошла в просторную, светлую столовую, навстречу ей поднялся и вышел из-за

стола представительный мужчина высокого роста. У него было умное лицо с высоким белым лбом, обрамленным волнами совсем седых волос, с живыми, как у юноши, блестящими глазами и свежим чувственным ртом. В черных же усах и в бороде не виднелось ни одного седого волоса. Кашперов был одет в широкий домашний вестон<sup>26</sup>, сидевший на нем просторно и изящно. Каждое движение этого человека отличалось твердой, самоуверенной грацией, свойственной сильно развитым мышцам. На вид ему было лет сорок пять, но если бы он надел шапку и скрыл этим свою седину, то никто не дал бы ему более тридцати пяти-шести лет. Однако его видная наружность не понравилась Зинаиде Павловне; ее нежному, болезненному вкусу было неприятно в мужчине преобладание грубой силы и здоровья.

«Однако ж ты, бедненькая, не из красавиц, да, кажется, еще и с характерцем», – решил, в свою очередь, после обмена обыкновенных в этих случаях фраз, Кашперов, окидывая девушку с ног до головы зорким взглядом опытного женолюбца.

Он почему-то непременно воображал себе новую гувернантку смазливой брюнеткой с бойкой речью и разбитными манерами, которая при случае с удовольствием выслушает пикантный анекдот, и похочет, и пококотничает. При благоприятных условиях совместная жизнь с такой особой обещала много соблазнительных удовольствий.

Но перед ним стояла бледная девушка с некрасивым лицом и невинными глазами, смотревшими холодно и в то же время вполне независимо...

Пристальный, бесцеремонный взгляд Кашперова подействовал на Зинаиду Павловну самым неблагоприятным образом. Он почему-то внезапно напомнил ей вчерашнего нахала соседа, и это обстоятельство еще более усилило первое неблагоприятное впечатление. Но тем не менее она глаз своих не опустила, хотя и чувствовала себя неловко.

В то время, когда эти мысли и сравнения быстро проносились в головах у обоих, Сергей Григорьевич предупредительно расспрашивал Зинаиду Павловну, благополучно ли она доехала, нашла ли все необходимое у себя в комнате, и предложил ей место за столом.

– Вы, я думаю, не откажетесь иногда похозяйничать за чаем, – произнес он, стараясь казаться любезным, – у меня до сих пор все это делала Лиза, но у нее мало терпения и умелости. Позвольте представить вам вашу будущую ученицу...

Он показал на девочку лет четырнадцати, худую и нескладную, как всегда бывают девочки в этом возрасте; она все время осторожно, одним глазом, выглядывала из-за стоявшего перед ней самовара и при обращенных к ней словах поспешила совсем спрятаться за него.

– Только надо вам сказать, она у меня страшный дичок, – продолжал Кашперов, – и при чужих ее ни за что не вытащишь из какого-нибудь угла... Лиза, подойди к Зинаиде Павловне!.. Нет, ни за что не послушается!..

– Лиза, отчего вы не хотите подойти познакомиться со мною? – спросила Зинаида Павловна, впрочем, невольно обращаясь больше к самовару, чем к спрятавшейся за ним дикарке. – Она у вас, может быть, немного... запугана? – спросила она Кашперова.

Тот вдруг громко расхохотался и сквозь смех едва проговорил:

– Мне смешно, как вы сразу уже начинаете свои педагогические наблюдения и притом таким деловым тоном. Но что касается Лизы, – продолжал он уже серьезно, – то заранее говорю вам, что никакие средства, если она чего не захочет, не помогут. К вам она еще долго будет избегать подходить...

Но в это время девочка, робко выглянув еще раз из-за своего убежища, совершенно неожиданно встала и подошла к Зинаиде Павловне, краснея от замешательства. Она некоторое время постояла в нерешительности и вдруг, вероятно уже окончательно побежденная ласковой улыбкой своей будущей гувернантки, быстро обвила руками ее шею и поцеловала в самые губы.

– Правда, Лиза, мы с вами будем друзьями? – шепнула ей на ухо растроганная этой лаской Зинаида Павловна. – Вы ведь не будете от меня бегать? Да?

– Нет, не буду никогда, – еще тише ответила девочка, глядя в землю, – вы... добрая...

– Bravo, Зинаида Павловна! Однако вы сразу сделали уже громадный успех, завоевав расположение этой капризницы! – воскликнул Кашперов. – Поверите ли, я в первый раз вижу, что-

<sup>26</sup> пиджак (от франц. veston)

бы Лиза сама подошла к кому-нибудь, кроме двух существ в мире: своей старой няньки и собачонки Крошки. У вас, должно быть, необыкновенно добрая душа, – дети на это ведь чуткий народ. Или вы владеете, может быть, каким-нибудь педагогическим секретом? – И он опять расхохотался.

Зинаида Павловна ничего не отвечала. Ее коробили и пристальный взгляд, и громкий, действительно неприятный смех, и насмешливо-снисходительный тон Кашперова. «Почему он говорит со мной как с девочкой? – думала она. – Или он уже глядит на меня, как на свою собственность, как на «что-то» закупленное им, над чем можно беспрепятственно практиковать дешевое остроумие?»

Она, конечно, ошиблась, потому что Кашперов вообще был деликатен с чужим самолюбием, но у него уже давно выработалась манера говорить со всеми женщинами несколько небрежно и самоуверенно, а чуткое ухо Зинаиды Павловны, не изведавшей еще настоящих жизненных передраг, готово было в каждом слове находить намек на обиду.

Кашперов пытался поддержать неклеившийся разговор: он рассказывал о городе, о бирже, о своем заводе и о новой, выписанной из-за границы динамо-электрической машине, расспрашивал о Москве и институтской жизни. Но ему приходилось все время говорить одному. Зинаида Павловна совершенно ушла в себя и на все вопросы отвечала короткими «да» и «нет».

Они в молчании допили свой чай и разошлись, вынеся друг о друге неприятное впечатление.

«Странная девчонка, – думал Кашперов, садясь в пролетку, чтобы ехать на завод, – только что сорвалась со скамейки, нищая, а держит себя совсем недотрогой.

Жалко, однако, будет, если мы с ней поссоримся. Лизку сразу к ней потянуло... может быть, и вправду какой-нибудь прок выйдет. Душонка у ней добренькая, это что говорить... да собой-то она уж очень не того...»

В то же время, хотя Кашперов и не терпел ни в ком подобострастия, но спокойная независимость, которая невольно чувствовалась в этой гувернантке – существе обыкновенно жалком и подвластном, – сильно его удивляла.

Зинаида Павловна, выйдя из-за стола, хотела пойти в свою комнату, чтобы написать письмо. Она уже поднималась по лестнице, как услышала за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидела бегущую к ней Лизу.

– Милая Зинаида Павловна, – сказала девочка, обхватывая ее за талию, – я у вас хочу кое-что спросить, только вы обещайте, что не рассердитесь...

– Ну, хорошо, не рассержусь, – ответила Зинаида Павловна, рассмеявшись. – Что же это за важная вещь? Спрашивайте.

– Скажите мне, пожалуйста: ведь мой папа не понравился вам?

– Нет, Лиза, это вам только показалось, – поспешила разуверить девочку Зинаида Павловна, удивляясь в то же время ее детской прозорливости, – наоборот, ваш папа произвел на меня очень приятное впечатление...

– Ах, зачем же говорить неправду? Я знаю, вам папа показался таким... нет, не злым, а грубым... ну, да я не умею объяснить...

– С чего это вы взяли?

– Нет, я наверно знаю, потому что у вас было такое же лицо, как бывало у мамы, когда папа скажет что-нибудь резкое, а она замолчит и на все его вопросы не отвечает...

– Давно ваша мама умерла?

Девочка задумалась: видно было, что какое-то обстоятельство затрудняет ее в ответе.

– Видите ли, – сказала она вдруг с внезапным порывом откровенности, – я вам расскажу, только никому не говорите, потому что это рассказывать нельзя. Моя мама жива, но она уже давно уехала куда-то, и когда я спрашиваю про нее у папы, то он на меня сердится...

Это открытие поразило Зинаиду Павловну. Для нее, смотревшей на брак как на таинственные, священные узы, муж и жена, живущие врозь, были каким-то чудовищным явлением, и она мысленно поспешила обвинить во всем Кашперова. Конечно, несчастная женщина не могла ужиться с этим неприятным человеком; может быть, она теперь мучится всю жизнь и проклинает ту минуту, когда связала с ним свою судьбу... Разговаривая таким образом, они дошли до дверей комнаты Зинаиды Павловны.

– Можно мне к вам зайти? – спросила Лиза, умильно заглядывая в лицо своей гувернантки.

Конечно, она получила согласие. Тогда она осторожно пересмотрела все вещи Зинаиды Павловны, расспросила, для чего употребляется каждый флакончик, каждый клочок бумажки; затем, все время, пока Зинаида Павловна писала письмо, она сидела, не сводя с нее взора.

– Вы кончили? – спросила она, когда Зинаида Павловна стала заклеивать конверт.

– Кончила, а что?

– Я все время смотрела на вас, и, знаете, вы – ужасно милая! Можно мне поцеловать вас?

#### IV

Однажды Кашперов приехал к обеду в самом сияющем расположении духа: дела на заводе шли прекрасно, погода была ясная и холодная, и, проехавшись с завода верхом, Сергей Григорьевич чувствовал сильный аппетит.

Когда Зинаида Павловна налила ему полную тарелку горячего супа, он совсем развеселился: действительно, эта девушка обладала удивительной способностью придавать всему, за что только она ни бралась, отпечаток той свежести и женской аккуратности, которой было полно все ее существо.

– Знаете ли, великая вещь, если за столом хозяйничает хорошенькая женщина, – сказал Кашперов весело и дружелюбно, – ведь на первый взгляд кажется, что это – предрассудок, а между тем, ей-богу, все приобретает особенно приятный вкус и даже аппетит удесятывается.

Кашперов хотел своим полушутливым, полудружеским обращением хотя немного расположить к живому разговору Зинаиду Павловну, эту «диконькую барышню», которая, как он инстинктивно чувствовал, боялась и избегала его. Сегодня, когда яркие солнечные лучи так весело заливали столовую, когда в душе у Кашперова так сильно сказывалось радостное ощущение жизни, ему неприятно было видеть хмурое лицо гувернантки.

– Да что ж вы молчите, точно в воду опущенная, Зинаида Павловна? – досадливо прибавил он, не дождавшись ответа. – Вы, кажется, с первых шагов уже имеете что-то против меня. Оставьте, голубушка моя; ведь это – институтство!.. Я даже не могу понять: щекотливость ли заставляет вас так относиться ко мне или же вы просто-напросто капризничаете!..

Зинаида Павловна подняла на него с упреком взор своих детских глаз.

– Для чего вы смеетесь надо мной, Сергей Григорьевич? – с упреком произнесла она внезапно дрогнувшим голосом.

– Как смеюсь?! – удивился Кашперов. – Да у меня и мысли такой в голове не было, чтобы смеяться. Когда? В чем вы могли усмотреть насмешку? Я, право, отказываюсь понимать вас.

– Да вот вы сейчас нарочно упомянули про каких-то хорошеньких женщин... Поверьте, я никогда не обольщалась своей наружностью и знаю о том, что некрасива... Но с какой стати вам было напоминать об этом?..

– Позвольте, Зинаида Павловна, успокойтесь, ради бога, – почти в отчаянии сказал Сергей Григорьевич, – ведь это же, наконец, ужасно, что вы обо мне думаете!.. Ну, если хотите, я с вами никогда не буду ни о чем, кроме дела, говорить. Мне страшно неприятно, что вы с первых же дней видите во мне врага. Уверю вас, я вовсе не такое чудовище, каким кажусь.

Зинаида Павловна ничего не ответила, но, как только обед кончился, тотчас же встала, ушла в свою комнату и со слезами бросилась лицом в подушку.

Скоро жизнь в доме Кашперова потекла обычным, размеренным ходом. Он приезжал только на минуточку и при встречах с Зинаидой Павловной был официально вежлив, в остальное же время совершенно позабывал об ее существовании.

Она, в свою очередь, все время посвящала исключительно Лизе. В девочке складывалась богатая натура, стремительная в своих побуждениях и отзывчивая на все хорошее. Зинаида Павловна без всякого труда, исподволь приохотила ее к музыке и рисованию; ученье же шло у них довольно вяло, потому что ни гувернантка, ни воспитанница не имели достаточно выдержки... Но один случай неожиданно возмутил однообразное спокойствие этой жизни и совершенно перевернул вверх дном судьбу всех ее участников.

В начале декабря у Кашперова выдался свободный вечер, который он не знал, куда употребить. Он ходил без цели по комнатам, заложив руки в карманы, и производил в уме какое-то

математическое вычисление для своего завода.

Было то странное время дня, когда потухающий день слабо борется с надвигающею темнотою, придавая всему какое-то грустное освещение, располагающее к тихой мечтательности.

Случайно проходя мимо дверей залы, Кашперов услышал, что кто-то берет на рояле мягкие аккорды, и хотел было войти туда, но в это время до него донесся голос Зинаиды Павловны, разговаривавшей с Лизой. Кашперов остановился за портьерой и стал прислушиваться.

– Ну, что же я вам спою, Лиза? У меня, кажется, больше ничего не осталось, чего бы вы не слышали, – сказала Зинаида Павловна.

– Душечка, ну спойте, что вам первое придет в голову! – горячо упрашивала Лиза.

– Помните, вы пели что-то из «Фауста»? Ну, теперь еще один разик; я уж больше не буду приставать...

– Ну, хорошо, хорошо, не теребите только меня, а то зацелуете до смерти, – ответила Зинаида Павловна, смеясь и отбиваясь от порывистых ласк своей воспитанницы.

– Вам темно, Зинаида Павловна! Может быть, зажечь свечи? – спросила Лиза.

– Не надо, прошу вас, не зажигайте, я буду наизусть играть... Ну, слушайте... И она начала играть второй акт, изредка объясняя содержание музыки.

– Вот это – народный праздник во время ярмарки... Мефистофель приводит туда и Фауста... Слушайте, какой чудный вальс, лучше его нет ни одного вальса в мире... Маргарита проходит с молитвенником... Фауст поражен ее красотой... Он долго смотрит в восхищении издали, а затем подходит к ней...

И она запела на низких нотах своего голоса известные слова: «Позвольте предложить, прелестная, вам руку...»

– Маргарита взглянула на него, потупилась и тихо отвечает: «Ах, не блещу я красотой и потому не стою рыцарской руки...»

Кашперов хорошо знал оперу «Фауст», слышал ее в исполнении европейских знаменитостей и всегда любил ее. Но теперь фраза, так нежно пропетая серебристым голосом Зинаиды Павловны, совершенно потрясла его.

Из таинственной полутьмы, царившей в зале, лились один за другим звуки мелодии, полные наивной грусти, и в уме Кашперова с поразительной ясностью восстал образ Зинаиды Павловны, с ее девственным молодым обликом и спокойными глазами, ясными, как утреннее небо.

«Да, она Маргарита, – невольно пронеслось у него в уме, – только кто же будет ее Фаустом?»

Сергей Григорьевич, часто и близко сталкиваясь с различными женскими характерами, так изучил все перипетии любви, все мельчайшие оттенки в тоне и взгляде, что почти никогда не ошибался в своих заключениях на этот счет, и теперь, когда голос Зинаиды Павловны дрожал, замирая на последней ноте, он сказал себе: «Да, у нее есть Фауст, потому что никакая выучка не может придать музыке такой глубины чувства... Вероятно, кузен... какой-нибудь юнкер или гимназист...»

Зинаида Павловна замолкла. Настала такая тишина, что Кашперову казалось, будто стук его сердца раздается по всему дому.

– Ну, дальше, Зинаида Павловна, – взволнованным шепотом проговорила Лиза, – милая Зиночка, дальше!..

– А дальше то, – тихо отозвалась через некоторое время Зинаида Павловна, – что Фауст скоро позабыл о Маргарите, а она... она никак не может забыть о нем...

«Я не ошибся, – решил Кашперов, услышав, сколько затаенной грусти прозвучало в последних словах, – да притом еще, кажется, ее Фауст не подает никакой надежды на взаимность».

– Ну, слушайте еще, – заговорила опять Зинаида Павловна, – только уж в самый последний раз. Маргарита сидит за прялкой и поет.

И опять, вместе со сказкой о фульском короле, полился этот чистый, хватающий за сердце голос.

«Боже мой, какая прелесть, – думал Кашперов, с жадностью ловя каждую ноту. – Вот оно, истинное наслаждение. Но где же эта бедная девушка могла обрести такие чудные звуки?..»

Он чувствовал, что у него в глазах стоят слезы. В то же время им овладел прилив какой-то

безграничной, смутной злобы... «Уж не ее ли Фауст так огорчает меня?» – насмешливо спросил он себя и не мог ответить на этот вопрос.

– Ну, теперь довольно, – сказала Зинаида Павловна, окончив сказку и громко захлопнув ноты, – нервы расстраивать не годится. Ловите меня, Лиза!

И она побежала, сопровождаемая Лизой, и откуда-то, издали, донесся до слуха Кашперова ее смех, рассыпавшийся в серебристых трелях.

«Однако я размяк порядком», – с озлоблением решил Сергей Григорьевич и тотчас же велел закладывать себе лошадь. Он очень долго остался в этот вечер на заводе, особенно тщательно наблюдал за его ходом, бессознательно стараясь как можно больше утомиться.

Ему удалось привести себя в уравновешенное состояние, но, когда поздно ночью он уже окончательно улегся в постель и потушил свечу, из темноты вдруг нежно и задумчиво прозвучало: «Ах, не блещу я красотой...»

– Тыфу ты, черт побери! – сердито отплюнулся Сергей Григорьевич. – Нужно же было этой итальянщины наслушаться!

Хотя Кашперов и отплевывался так энергично, тем не менее на другой день, едва только начало смеркаться, он уже стоял на том же месте за портьерой... Он прождал около получаса, пока наконец пришла Зинаида Павловна и села за рояль.

На этот раз Лизы с ней не было. Она долго брала рассеянные аккорды, потом заиграла бурную интродукцию шубертовского «ErlkЖnig» [*«Лесного царя» (нем.)*] и запела. Но она не кончила баллады и, оборвав ее на середине, перешла сразу в С-моl'ный вальс Шопена.

Когда она перестала играть и сидела, задумчиво трогая пальцами клавиши, Кашперов нечаянно скрипнул дверью. Звуки прекратились совсем: по-видимому, Зинаида Павловна прислушалась. Оставаться долее за портьерой становилось неудобно, и Сергей Григорьевич предпочел войти в залу.

– Извините, Зинаида Павловна, – мягко сказал он, – я подслушивал вас. Но вы ведь не стали бы при мне играть? А между тем я получил столько наслаждения, стоя вот здесь... за дверью.

Зинаида Павловна, при виде этого человека, с которым она всегда избегала встречаться, быстро встала с своего места.

– Извините, кажется, я своей музыкой помешала вам заниматься? Я постараюсь больше не делать этого!

И она направилась к дверям, стараясь обойти его подальше.

– Да подождите же, ради самого бога, Зинаида Павловна! – почти закричал Кашперов, хватая ее руку. – Неужели вам даже быть со мною в одной комнате гадко? Поймите вы наконец, – умоляю вас, – что между нами лежит какое-то чудовищное недоразумение... Разве я не вижу, что если бы не Лиза, которая к вам привязалась, то вы давно оставили бы мой дом...

– Да, вы не ошибаетесь в этом, – отвечала Зинаида Павловна, не глядя на него и вырывая свою руку из его горячей, сильной руки, – но если вам только хотелось напомнить об этом, то вы могли бы не трудиться начинать издали...

– Ну вот, опять точно так же, как и в первый раз, вы нарочно не хотите понять меня, – досадливо перебил ее Кашперов и быстро заговорил, боясь, что она уйдет, не выслушав его, – вы смотрите на меня с предубеждением, почему-то отказываете мне даже в таком человеческом чувстве, как любовь к музыке... Да где же здесь кроется моя вина? Поверите ли, я – сильный человек, я лошадиные подковы гну, я никогда не знал, что такое нервы, но вчера, стоя за портьерой, чувствовал на своих глазах слезы. И, раз вы обладаете силой действовать так своим искусством, вам грешно было враждебно отнестись к моему восторгу! Вы не имели права отказывать мне в этом наслаждении!.. Наконец, все это – ломание, все это – страшно неестественно!

В его голосе слышалось волнение. Зинаида Павловна внимательно и пытливо взглянула ему в лицо своими невинными глазами.

Нет, он не лгал, потому что его щеки пылали и глаза горели, но ей это горячее увлечение было и чуждо и непонятно.

– Я не понимаю вас, Сергей Григорьевич, – холодно произнесла она и быстро вышла из залы.

Между ними действительно лежало недоразумение.

«Что мне в этой девчонке? – злился через несколько часов Кашперов, ворочаясь на своей

кровати. – Отчего я не могу ни о чем думать, кроме нее? Ведь не мог же я влюбиться? Правда, в ней есть что-то влекущее: эти ясные глаза, эта женственность... Да что же мне-то до нее за дело? «В Фуле жил да был король...» Да, с таким голосом можно совсем перевернуть человека! Откуда у нее эта выразительность? Кто с ней занимался? Или, может быть, она уже любила и мучилась? «И до самой своей смерти он...» Ах, черт побери, да засну ли я наконец в эту проклятую ночь?.. Вот тебе и хваленое равновесие... Недостает еще, чтобы я начал принимать валерьяновые капли!..»

Кашперов влюбился. Он уже давно, лет десять тому назад, оставил всякие любовные глупости, пресытившись женским вниманием, которое ему давалось чересчур легко, и стал исключительно человеком дела. Но в былое время самые опытные в деле ведения интриг, прошедшие сквозь огонь и воду женщины всегда говорили, что в нем есть «что-то магнетическое».

Действительно, он тогда в своих желаниях не признавал препятствий: чем больше их было, тем сильнее разгоралось в нем желание достигнуть заветной цели, и он смело шагал через них, обольщая дерзостью и порабощая слабую волю женщины своей дикой, необузданной волей. Но как только цель бывала достигнута, ему становилось скучно; впереди рисовались другие заманчивые перспективы, иные соблазны. И судьба, как будто умышленно, покровительствовала ему, все предприятия этого человека носили на себе печать необыкновенного успеха. Он играл, рискуя последним, и всегда был баснословно счастлив; ударился в коммерческие предприятия и неожиданно для всех разбогател. В любви, как и во всем остальном, он не знал проигрыша, но шатание по женским сердцам интересовало его только до тех пор, пока он не убедился, что, в сущности, нового ни в одном из них не встретишь.

А теперь перед ним, как живой, стоял нежный образ бледной девушки, с синими прозрачными глазами и пленительным голосом, и он не знал, как к нему приступить, с чего начать.

– Нет, врешь, я тебя пересилю, – озлобленно шептал уже на рассвете Кашперов, весь охваченный взрывом запоздалой любви, – я заставлю тебя! Пусть ты чиста, я в тебе разбуду такие инстинкты, в которых ты сама себя не узнаешь! Он говорил эти слова, полные безумной страсти, и в то же время ни одной секунды не верил себе, а в душе его грустный голос пел: «Ах, не блещу я красотой!»

## V

Почти во всяком городе, среди так называемого «общества», есть личности, которые хотя и пользуются всеми внешними знаками уважения, но существование которых, подверженное разным неожиданным превратностям, не может не быть подозрительным даже для самого близорукого наблюдателя. Конечно, никто даже в мыслях не подумает назвать их «темными личностями», потому что темная личность ходит обыкновенно в отрепьях, одна штанина навывпуск, другая – в сапоге, говорит возвышенным слогом, называя себя благородным офицером, пострадавшим за правду, и не выдерживает более двух секунд внимательно устремленного на нее взгляда. Но зато каждый мирный обыватель, который вчера только видел одного из них в самом бедственном положении, а нынче застаёт его в шикарном ресторане, бросающего без счета совершенно новенькими кредитками, невольно начинает терзаться смутной мыслью: не придется ли ему, ни в чем не повинному обывателю, и даже в самом непродолжительном времени, расплачиваться за этот бесшабашный кутеж?

К числу таких загадочных личностей принадлежал Павел Афанасьевич Круковский, у которого вечером на второй день Нового года собралось все, что было хоть немного похоже на интеллигенцию в городе Р\*. Павел Афанасьевич давал такие вечера раза четыре в год, иногда положительно без всякого повода, и нигде с таким удовольствием не веселилась молодежь, нигде за ужином не лилось столько шампанского и нигде после ужина не велась такая сумасшедшая игра, рассказы о которой долгое время ходили потом по всей губернии, как у него. Между тем никто из посещавших вечера Круковского никогда не мог бы дать себе отчета, на какие средства все это делается. Правда, Круковский уверял, что у него в Пензенской губернии есть огромное имение, куда он на будущий год собирается уехать, потому что «нельзя же полагаться на подлеца управляющего», но это доброе намерение так и оставалось всегда невыполненным. Его изредка видали на бирже, озабоченно шепчущимся с «зайцами», видали за карточным столом, где



он выигрывал и проигрывал совершенно хладнокровно огромные суммы, но каков был специальный род его занятий, оставалось покрыто непроницаемым мраком неизвестности.

На этот раз съезд у Круковского был громадный: трое городских работали в поте лица перед его домом, тщетно стараясь восстановить порядок, беспрестанно нарушаемый подъезжающими каретами, «семейными» санками и такими экипажами, не известными нигде – кроме Р-ской губернии, для которых нет названий ни на каком языке.

Из ярко освещенных окон неслись красивые звуки военной музыки, игравшей веселую польку, в окнах виднелись, привлекая внимание толпы, собравшейся на улице, разряженные фигуры гостей.

К крыльцу подъехали низенькие сани Кашперова. Кучер едва сдерживал великолепного черного рысака, который храпел, косясь испуганным глазом на сияющий подъезд, и в нетерпении бил передними ногами.

Сергей Григорьевич быстро выскочил из саней и помог выбраться сначала Зинаиде Павловне, а потом дочери.

Это был первый бал, на который Зинаида Павловна уговорила поехать свою воспитанницу. Лиза ужасно волновалась. При одеванье, всегда сдержанная с прислугой, она закричала на горничную, неловко затягивавшую шнуровку корсета, а когда Сергей Григорьевич, совсем уже одетый, крикнул через дверь, что пора ехать, ею вдруг овладел такой страх, что она в изнеможении опустилась на стул. Всю дорогу девочка ехала молча, тревожно выглядывая из-под окутывавшего ее большого коврового платка. Теперь же, когда, слегка вздрагивая от волнения и не прошедшего еще ощущения холода, она раздевалась в уборной, страх совершенно неожиданно исчез. Блеск и шум, господствовавшие в уборной, смешанный запах разных духов, красивые туалеты дам, подмигивающий мотив польки, глухо доносившийся сверху, – одним словом, все эта опьяняющая атмосфера первого бала лихорадочно оживила Лизу, и когда она в сопровождении Зинаиды Павловны входила в залу, то какое-то внутреннее ощущение говорило ей, что она чрезвычайно мила в эту минуту. Действительно, ее заметили и в один миг расхватили у нее все танцы... Усталая, задыхающаяся, со сбившимися волосами, она сияла счастливой улыбкой и едва только присаживалась на место, как новый кавалер увлекал ее в круг танцующих.

Зинаида Павловна с удовольствием следила глазами за своей любимицей. Она знала, что ее, одетую чуть ли не в домашнее простенькое платьице, бледную и некрасивую, никто не станет приглашать (она привыкла к этому еще в институте), и потому скромно заняла один из тех дальних уголков залы, которые самой судьбой предназначены для разного рода безличных существ: маменек в невозможных чепцах и озлобленно зевающих наперсниц. Успех Лизы искренне радовал Зинаиду Павловну, но хотя она и была чужда мелочной завистливости кисейных барышень, тем не менее не могла избавиться от грустного сознания, что ей не место среди этого праздника красоты и молодости, счастливых улыбок, нежных фраз, грациозных, согласных движений.

Какой-то пестрый «молодой человек», по всем признакам мелкий канцелярский чиновник с дряблым, испитым лицом, украшенным нафабранными усами и огненным галстуком, потеряв случайно даму на кадриль, разлетелся впопыхах к Зинаиде Павловне и пригласил ее, но, увидев незнакомое лицо, скучное и некрасивое, в смущении заезжил на месте. Это не укрылось от Зинаиды Павловны, и едва только она отказала акцизнику, он радостно вздохнул и побежал дальше той развязной иноходью, которая до сих пор еще употребляется на вечерах провинциальными «львами» как несомненный признак щегольства и хорошего тона.

– Зинаида Павловна! Наконец-то я нашел вас! – раздался над нею приветливый голос.

Она вся радостно вздрогнула и подняла голову: перед ней стоял, дружелюбно улыбаясь и протягивая руку, Аларин. Он был удивительно хорош в эту минуту; безукоризненного покроя фрак ловко обрисовывал его изящную фигуру, черные волосы живописно вились вокруг его красивого открытого лица.

Зинаида Павловна вспыхнула от неожиданного прилива громадного, еще ни разу не изведанного счастья. Этот красавец, постоянный предмет ее ночных девических грез, о мимолетной встрече с которым она вспоминала как о волшебном, прекрасном сне, опять был подле нее, все такой же обаятельный, с тем же чарующим взглядом своих черных глаз.

Она ничего не могла ответить, кроме взволнованного «здравствуйте», хотя на язык ей и

просились горячие, полные восторга слова.

– Я как только увидел Кашперова, – заговорил Аларин, опускаясь рядом с нею на стул, – так сейчас же подумал, что вы здесь, но насилу мог отыскать, так вы далеко запрятались.

– Я не танцую, – ответила Зинаида Павловна, не сводя с него восхищенного взора.

– А наблюдаете только? Действительно, здесь для наблюдения обильная пища. Знаете ли, что меня постоянно смешит на балах? Это – страшная неестественность, которая всеми овладевает. Да и не на балах только, а и на гуляньях, в театрах, в суде, – одним словом, перед лицом публики.

– Отчего же вы думаете, что все чувствуют себя неловко? Посмотрите, вот, например, пара; разве можно предположить, что сегодняшней вечер не самый веселый в их жизни? – И Зинаида Павловна указала глазами на полную даму с лицом пожилой певицы или цыганки из кафешантана, одетую в розовое шелковое платье, вырезанное до последних границ приличия, проходившую под руку с высоким бакенбардистом в очках и заливавшуюся непринужденным хохотом.

– Вот вы и ошиблись, – возразил Аларин, – у этой пары на уме вовсе не смех, а самое пылкое желание вцепиться друг другу в глаза. Дама в розовом платье, видите ли, жена нашего исправника, а ее кавалер – здешний прокурор. А прокурор и исправник поклялись взаимно в такой непримиримой вражде, что если даже опустеет весь мир, то они все-таки не перестанут истреблять друг друга до тех пор, пока от обоих не останутся только кончики хвостов. И выходит, что этот заразительный смех – те же крокодиловы слезы!

– Ну, это, положим, частный случай; но поглядите кругом, разве вы мало видите веселых лиц?

– Уверяю вас, настоящего веселья нет ни капли, все это страшно фальшиво и натянуто. Человек улыбается и заботится о том, чтобы его телячья улыбка произвела впечатление, разговаривает и старается делать грациозные жесты. Посмотрите, вот идут два офицера, – ведь они как будто горячо спорят между собою о чем-то, а, в сущности, оба городят страшный вздор и изо всех сил стараются привлечь на себя общее внимание. Ну разве бывают у людей, собравшихся повеселиться, такие выпяченные груди и такая неправдоподобная походка? Так ведь только ходят короли и военачальники в операх...

Зинаида Павловна поглядела на офицеров и не могла не улыбнуться удачному сравнению Аларина.

– Однако же вы беспощадны, Александр Егорович. Неужели вы надо всеми так зло издеваетесь? – спросила она.

– Надо всеми, потому что это – лучшее средство не быть никогда самому осмеянным.

– Но для чего же вы бываете на балах, если они в вас ничего, кроме насмешки, не возбуждают?

– А вот именно для того, чтобы посмеяться; так или иначе, а это похвальное желание свойственно каждому из нас, грешных. Но, кроме того, меня тянет еще вон та комнатка, в которой можно испытать самые сильные ощущения в мире, – и Аларин показал рукой на растворенные двери кабинета, где среди облаков дыма виднелись солидные фигуры почтенных представителей дворянства, чинно сидящих за зелеными столиками.

– Неужели вы играете в карты? Ведь это, должно быть, ужасно скучно?

– Я играю только в азартные игры.

– Какие это азартные? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.

– Самый простой способ наживы: я беру в руку сторублевую кредитку, подхожу к вам и говорю: «В какой руке?» Вы говорите: «В правой». Угадали – сторублевка ваша, не угадали – позвольте мне столько же. Это, собственно говоря, идея, но, конечно, умные люди додумались до множества вариантов ее и даже до целых теорий о счастье!

Зинаида Павловна широко раскрыла глаза.

– Но ведь это возмутительно, – произнесла она, пораженная его объяснением, – это... извините меня, пожалуйста, но ведь это похоже на грабеж... А если я увлекусь, проиграю больше, чем у меня есть?

Аларин заметил ужас Зинаиды Павловны, и им овладело желание порисоваться.

– Разные бывают способы, – ответил он, щеголяя напускным хладнокровием, – некоторые предпочитают в этих случаях спастись бегством, другие – пускают себе в лоб пулю... Да вооб-

ще сильные ощущения даром не даются, – человек во время игры становится самым опасным из всех диких зверей.

– Господи, неужели и вы?..

– Зинаида Павловна, не судите меня так строго: вам жизнь – новинка, а между тем она так мелка, так ничтожна, так бедна чем-нибудь шевелящим воображение... А в игре – страсть!.. Каждый нерв живет... чувствуешь биение каждой жилы... И вовсе не деньги влекут... а счастье, счастье, одно только милое, нелепое счастье. Ведь я – добрый человек, я готов со всяким нищим поделиться, но вы не поймете, что это за необъяснимое блаженство пустить в один вечер по миру два или три почтенных семейства.

При последних словах Зинаида Павловна побледнела.

– Не говорите так, Александр Егорович, прошу вас, – сказала она с грустным упреком, – вы не можете быть таким... вы клеветеете на себя!..

Аларин поглядел на нее с изумлением: от него не ускользнули ни ее бледность, ни то глубокое чувство, с которым она произнесла эти слова.

– Да вы не подумайте, Зинаида Павловна, – воскликнул он веселым, добродушным голосом, – что я какой-нибудь драматический злодей... я просто, как художник, увлекся картиной, и больше ничего. Пойдемте танцевать вальс!

И он встал, приглашая ее красивым поклоном. Аларин прекрасно вальсировал. Зинаида Павловна совершенно отдалась в его волю, и они быстро закружились под плавные, упоительные звуки. Ей казалось, что горевшие по стенам бра сливаются в один громадный огненный круг... голова кружилась... глаза ничего не различали. Она чувствовала на своих волосах горячее, прерывистое дыхание Аларина, чувствовала его сильную руку, плотно лежащую на ее талии. Какие-то волны блаженства подняли и несли ее все выше и выше... Это было какое-то чудное, сладкое забытие, – состояние, подобного которому она еще никогда не испытывала.

– Мерси! – едва могла, наконец, проговорить Зинаида Павловна, еле дыша от утомления. – Пожалуйста, уведите меня куда-нибудь из залы, здесь ужасно душно.

Они пошли по направлению к дверям, но вдруг Зинаида Павловна, как будто вследствие внезапного толчка, который испытывает человек, если ему упорно глядят в затылок, быстро обернулась назад.

Из глубокой амбразуры окна на нее жадно и пристально смотрели два сверкающих глаза. Девушка вся сжалась от ощущения инстинктивного страха и, прильнув к локтю своего кавалера, торопливо прошептала:

– Ради бога, скорее... скорее...

Они дошли до маленькой, никем не занятой гостиной. В этой комнате, заставленной роскошной мягкой мебелью и залитой розовым полусветом, струившимся из висячего фонарика, было тихо и прохладно.

– Чего вы так испугались, Зинаида Павловна? – спросил Аларин, когда они уселись на диван. – Я начинаю предполагать здесь что-то таинственное. Может быть, вам понадобится, как в старинных сказках, храбрый рыцарь, который избавил бы свою даму от каких-нибудь магических чар?

Он видел замешательство Зинаиды Павловны и хотел разогнать его веселой шуткой.

– Благодарю вас, – ответила она, все еще не оправившись от овладевшего ею волнения, – мне просто стало очень нехорошо, потому что я отвыкла от вальса... – И вдруг у нее совершенно неожиданно сорвалось с языка: – Кроме того... эти ужасные глаза...

«Ага! – подумал Аларин, – стало быть, действительно что-то есть», – и он спросил серьезно и значительно:

– Помните, Зинаида Павловна, наш уговор?

– Какой уговор?

Она отлично знала, что напоминает Аларин, но ей казалось, что если бы она ответила прямо, то ее тон выдал бы то радостное волнение, которое охватило ее при этом вопросе.

– Когда мы прощались после нашей первой встречи, вы обещали обратиться ко мне в затруднительных обстоятельствах. Может быть, это время уже настало?

– Не... не знаю, – тихо ответила она, опустив низко голову.

– Значит, я не ошибся, Зинаида Павловна! Скажите мне правду: ответите ли вы на один

мой вопрос?

Она уже почувствовала, что он понял ее, знала даже, в чем будет заключаться его вопрос.

«Если верно, то «да», – подумала она про себя, не сознавая, впрочем, ясно, в чем будет заключаться это «да».

– Хорошо, я отвечу вам, – сказала она, с замиранием сердца ожидая вопроса. Аларин произнес только одно слово:

– Кашперов?

«Да!» – пронеслось быстрее молнии в голове Зинаиды Павловны, но она не сказала ни одного слова, а только еще ниже опустила свое лицо, загоревшееся ярким румянцем. Ей казалось, что Аларин читает в сокровенных тайниках ее души. Прошло несколько минут в молчании.

– Он преследует вас? – спросил Аларин, стараясь произнести эти слова по возможности мягче и деликатнее. – Давно?

Зинаида Павловна не могла больше сдерживаться и, нервно сжав руки, так что ее тонкие пальцы хрустнули, горячо заговорила:

– Я не знаю, что ему надо от меня! С того несчастного вечера, когда я играла на рояле и пела что-то из «Фауста», он не дает мне покоя. Он ничего не говорит, да и не может сказать, потому что я избегаю его... но он смотрит на меня такими ужасными глазами, что у меня теперь постоянно предчувствие чего-то очень нехорошего... Я боюсь этого человека, – добавила она дрогнувшим голосом.

– Я понимаю вас, – задумчиво сказал Аларин. – Но вы, должно быть, с самой первой встречи отнеслись к нему сухо и враждебно?

– Да.

– Это ничего доброго не обещает. Кашперов один из тех людей, про которых Гейне сказал: «Сударыня, если вы хотите заслужить мою любовь, то должны обращаться со мной, как с канальей!» Их тянет к себе только невозможное, а препятствия еще сильнее раздражают. Мой искренний совет вам: ехать как можно скорее домой. Кашперов – такая сила, с которой считаться вам, слабой и нежной девушке, – трудно. Я знаю, что ни с вашей, ни с его стороны никакие компромиссы немыслимы, а чем может все это кончиться – трудно даже предположить... Уезжайте, ради бога, скорее.

Аларин очень жалел эту девушку, которая с первой же встречи завоевала его симпатию своею беззащитностью.

– Разве я об этом не думала раньше? – возразила Зинаида Павловна, – но мне все как-то жаль было оставить Лизу, – девочка очень полюбила меня. Да и маму надо было бы предупредить, а то она бог знает что подумает...

– Позвольте вам предложить одну услугу, Зинаида Павловна?

– Что такое?

– Если вам будет уж очень тяжело, черкните мне словечка два. Адрес самый простой: пристань, контора правления, такому-то... Хорошо? Я около самой пристани и живу.

Ласковый тон его голоса действовал на Зинаиду Павловну успокоительно; в нем было так много почти родственного участия.

– Нет, в самом деле, я об этом прошу вас серьезно, – настаивал Аларин. – Если нужно будет, я попрошу своих хороших знакомых приютить вас недельки на две... И, боясь, чтобы она не нашла его последние слова обидными, он добавил:

– Они рады будут для меня сделать что-нибудь приятное. Так обещаете?

– Обещаю.

– Ну, вот и отлично, большое вам спасибо за доверие... Дайте мне в залог вашу руку...

– Pardon. Я, кажется, несколько помешал вам? – раздался в дверях насмешливый голос.

Они вздрогнули и, точно пойманные в чем-нибудь дурном, быстро отдернули свои руки: на пороге гостиной, заложив руки в карманы и презрительно щури глаза, стоял Кашперов.

Бывают иногда такие внезапно обостряющиеся положения, когда люди каким-то внутренним чутьем постигают не только слова или выражение лиц друг друга, но и самые темные, сокровенные мысли... Таким образом и у этих трех людей мгновенно выяснились и определились взаимные отношения. Кашперов по устремленным на него взглядам тотчас же догадался, что речь шла о нем. Он даже знал, что именно говорилось: от него не укрылось ни участливое, рас-

троганное лицо Аларина, ни протянутая рука Зинаиды Павловны.

Аларин, возмущенный всем только что слышанным про этого человека, поднялся ему навстречу с вызывающим взглядом, ища и не находя дерзкого ответа на насмешливо-небрежное извинение.

– Я отыскал вас, Зинаида Павловна, – продолжал Кашперов тем же тоном, – чтобы узнать, когда вам будет угодно ехать домой. Я уже отвез Лизу; у нее болела голова.

– Напрасно вы мне не сказали этого раньше, я тоже поехала бы с вами, – сухо ответила Зинаида Павловна, глядя в сторону.

– Извините, пожалуйста, я не хотел мешать вашей увлекательной беседе с господином Аларьевым, – умышленно переврал Кашперов фамилию Александра Егоровича.

Аларин хотел бросить ему гневное замечание, но самоуверенная, спокойно-дерзкая манера Кашперова совершенно парализовала его обычную смелость и находчивость.

– Потрудитесь отвезти меня, – сказала Зинаида Павловна и пошла из гостиной, сопровождаемая Кашперовым, который предварительно отвесил Аларину насмешливый поклон.

Но у дверей она вдруг остановилась, как будто что-то припомнив, и, быстро повернувшись, подошла к Александру Егоровичу.

– Прощайте, – произнесла она быстрым шепотом. – Пожалуйста, исполните мою просьбу, не играйте сегодня. Это для меня очень, очень важно... – И вдруг, взглянув ему прямо в глаза, с порывом внезапной страсти она прибавила: – Ради бога, родной мой, у меня сердце за вас неспокойно...

Аларин был поражен ее словами. «Что с ней сделалось? Неужели это любовь? – подумал он, следя глазами за удаляющейся девушкой. – Вот чего я никак не ожидал!» И, пожав плечами, Александр Егорович медленными шагами направился в карточную комнату.

## VI

Едва только успел Кашперов усесться в сани и застегнуть полость, как застоявшийся и промерзший на холоде рысак, которого уже не в силах был сдерживать бородастый кучер, рванулся вперед всей своей могучей грудью, и целая туча искристой морозной пыли в одно мгновение обдала лицо Зинаиды Павловны.

– Гони! – крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную улицу. Кучер быстро нагнулся вперед, пустил вожжи, гикнул, и рысак понесся, как бешеный, вскидывая широким крупом и покачивая высоко поднятой головой. Это был тот самый знаменитый Барс, который взял два первых приза на московских бегах. Он ни одного движения не тратил даром; со страшной силой выбрасывая вперед сажеными взмахами свои длинные, в белых чулочках, ноги, жеребец точно расстилался по земле и нес, как игрушку, легкие сани. Комья грязного снега далеко летели из-под его копыт, с дробным стуком разбиваясь о передок. Ветер свистал в уши и захватывал дыхание. Пустынные улицы тонули в темноте зимней ночи и казались какими-то совсем незнакомыми, широкими и бесконечными. В этой сумасшедшей езде среди тишины и мрака было что-то и жуткое, и веселое, и таинственное.

– Куда вы везете меня, Сергей Григорьевич?.. Я просила вас отвезти меня домой!

– Теперь это вам уже решительно все равно, – ответил со смехом Кашперов, – мне нужно было украсть у вас несколько минут... Я вас не выпущу.

В тоне его голоса слышалось злое торжество успеха.

– Сергей Григорьевич, – воскликнула Зинаида Павловна, – я, по крайней мере, считала вас до сих пор за честного человека... Если вы что-нибудь позволите себе, я выскочу из саней!

– Нет, не выскочите, – возразил Кашперов и вдруг крепко охватил ее талию. – Не выскочите! Вы – в моей власти! Я давно ждал этой минуты... Я знаю, вы завтра же оставите мой дом, но сегодня вы – моя...

Он говорил неразборчиво, точно пьяный, задыхаясь от страшного волнения.

– Пустите меня, слышите, сейчас же пустите! – крикнула Зинаида Павловна, тщетно стараясь освободиться из железных рук своего спутника. – Это бесчеловечно, пустите меня, говорю вам!.. Я не хочу!..

– Не пу-щу! – резко отчеканил он сквозь стиснутые зубы. – Вы не понимаете, что значит

разбудить такого зверя, которого вы заставили проснуться во мне. Нет? О! Я не похож на того сладкого студентика, с которым вы сейчас так нежно ворковали. Если я поклялся, что вы будете моей, то отдам жизнь, пойду на каторгу, уничтожу всякого, кто станет мне на дороге, а вы все-таки будете моею... Да, моей! Слышите ли: моей любовницей, моей вещью...

И вдруг, сразу переменяя этот страстный тон, он заговорил медленно и тяжело, как человек, истомленный долгим страданием:

– Не верьте, Зинаида Павловна, тому, что я сейчас говорил. Это – страсть... Здесь нет ни одного слова, которое бы принадлежало мне! Пожалейте же меня! Ведь вы – женщина, у вас сердце доброе. Отчего же вы надо мной-то не хотите сжалиться? Если бы вы знали, как я люблю вас! Ах, да где же вам понять это! Это – не любовь даже, это – ад, это – такая дьявольская мука, о которой вы, чистая, невинная, даже представления не можете иметь! Так слушайте, я вам все расскажу... Вы пели тогда... Поймите, этот мотив не оставляет меня... точно кто выжиг его огнем в моей памяти... И ночью, и днем, и за работой мне мерещится ваш голос... Если бы вы не избегали меня, если бы хотя даже просто оставались ко мне совершенно равнодушны, ничего и не случилось бы! Но я увидел одно только отвращение. Да, я был противен вам. И началось... И чем больше вы боитесь меня, чем гаже я для вас становлюсь, тем...

Кашперов, говоря эти странные слова, все ближе и ближе привлекал к себе слабое тело Зинаиды Павловны и вдруг, прикоснувшись пылающими губами к ее холодной щеке, совершенно обезумел. Он свободной левой рукой отогнул назад голову Зинаиды Павловны и впился в ее губы страстным, продолжительным поцелуем. Она пробовала сопротивляться, кричать, но мало-помалу воля этого человека совершенно обессилила ее... Ей стало душно... кровь прилила к внезапно закружившейся голове... Пред глазами со страшной быстротой завертелись громадные огненные круги, и ею овладело какое-то полное фантастических грез забытье, похожее на гипнотическое состояние или на бред морфиниста.

«Что со мной? Где я? – проносились в ее голове обрывки мыслей. – Зачем он держит меня так близко? Ах да! Это – вальс с Алариним. Какие у него чудные глаза... глубокие-глубокие... можно в них глядеть целый день и не добраться до дна... Боже мой... так близко... так жутко... Милый, еще, еще!..»

И она, вздрагивая под жгучими поцелуями Кашперова, покорно опустила ему на грудь свою голову.

– Дорогая моя, деточка милая, – шептал еле слышно Сергей Григорьевич, трясаясь, точно в ознобе, – не отталкивай меня!..

Кашперов взглянул в лицо Зинаиды Павловны; ее глаза были полузакрыты, губы, на которых блуждала томная улыбка, шептали непонятные слова. Одна мысль, точно молния, мелькнула в голове Кашперова.

– Слушайте! – сказал он резким, повелительным тоном, грубо освобождая девушку из своих объятий. – Вы думаете об этом инженере?

Зинаида Павловна мгновенно очнулась и произнесла спокойно и твердо:

– Да, я думала о нем.

– Ступай домой, – крикнул Сергей Григорьевич кучеру, – живо!

Всю дорогу Кашперов и Зинаида Павловна не сказали ни одного слова, и, как только кучер сдержал перед подъездом взмыленного Барса, она поспешно вышла из саней, не воспользовавшись протянутой рукой Сергея Григорьевича. Она быстро бежала по лестнице, торопясь добраться до своей комнаты, но он догнал ее в полутемной гостиной и остановил, крепко схватив за руку. Он был страшен в эту минуту, с глазами, сверкающими бешенством, и с багровыми пятнами на щеках.

– Я вас в последний раз спрашиваю, – проговорил он, с усилием выпуская одно слово за другим, – будете ли вы моей добровольно? Не делайте глупостей... Вы – нищая, вы еще не знаете цены деньгам, я осыплю вас ими... Я вас повезу за границу, и вы со своим голосом приобретете славу!.. Я отдам вам все... все, что у меня есть... Не доводите меня до крайности... В этой комнате вашего крика ни один дьявол не услышит.

– Вы – подлец! – едва могла произнести Зинаида Павловна, чувствуя уже приближение обморока. – Вы... мне... противны!..

– А-а! Противен?

И с диким воплем, ничего уже не видя, не слыша и не сознавая, Кашперов рванулся к ней, обвинил ее своими могучими руками и вдруг остановился точно вкопанный: в дверях, высоко подняв над головой горящую свечу, стояла Лиза, с ужасом глядя на происходящую перед ней картину.

Кашперов скрипнул зубами и выбежал из гостиной.

– Зиночка, что с вами? – вскрикнула Лиза, подбегая к своей гувернантке.

Но Зинаида Павловна уже ничего не слыхала. Все помутилось перед ее глазами, быстро пронеслось в какую-то бездонную пропасть, и она упала, крепко ударившись головой о паркет.

В то самое время, когда происходила эта безобразная сцена, к дому Круковского подъезжал, страшно волнуясь и ежеминутно подгоняя извозчика, Александр Егорович Аларин. Ему все казалось, что лошадь бежит слишком медленно, и он, чтобы обмануть свое нетерпение, изо всех сил старался помогать ей, упираясь руками в облучок. Как только извозчик остановился перед подъездом, Аларин быстро соскочил, сунув ему в руку первую попавшуюся ассигнацию. «Ванька» долго в немом изумлении следил за своим седоком, взбегающим по лестнице, и вдруг, как ошалелый, принялся нахлестывать клячку.

Как только уехала с вечера Зинаида Павловна, Аларин, несмотря на всю свою выдержку, которой он так хвастался, проиграл все наличные деньги. Но ему не хотелось отходить от стола; он верил в повороты счастья и продолжал играть уже на запись до тех пор, пока банкомет не заметил с неудовольствием:

– Пришлите, за вами ровно тысяча!

Александр Егорович, краснея, стал просить подождать полчаса. У него не было больше ни копейки своих денег, и он уже мысленно решил заплатить эту тысячу из тех казенных денег, которые лежали в его шкатулке на квартире.

«Займу завтра у жида, пополню», – думал он, упрасывая банкомета об отсрочке.

Аларин, как сумасшедший, прилетел домой, вынул из-под кровати большую несгораемую шкатулку и стал отпирать ее. Но рука дрожала, и ключик никак не хотел попасть в замочную щелочку. Наконец Аларину удалось сделать это; он ощупью отыскал пачку с казенными деньгами и развернул ее. Надо было зажечь огонь, потому что в комнате со спущенными шторами была непроницаемая темнота, а спички, как нарочно, не находились.

«А, не один ли черт!» – решил, рассердясь, Аларин и, сунув всю толстую пачку в боковой карман сюртука, поспешно отправился в дом Круковского.

Александр Егорович вошел в игральную комнату и со странным чувством окинул ее глазами. Столы, исчерченные мелом, запах табачного дыма – все это неприятно поразило его после того, как он успел подышать свежим воздухом.

Вокруг одного из столов сбились в кучу, следя в жадном молчании за руками банкомета, десять или двенадцать игроков с бледными, измятыми лицами, которые казались совсем мертвыми при слабом утреннем освещении.

Метал сам Круковский, невысокий, худой, но крепкий, как сталь, и жилистый мужчина, совершенно неопределенного возраста. Он был плешив, и все его лицо было изборождено глубокими морщинами, но ясные голубые глаза навывкате глядели смело и твердо. Он мог проводить без сна, в самых страшных попойках и бесчинствах, несколько ночей напролет и ничуть не изменялся в лице: природа отпустила ему громадные силы.

Увидя подошедшего Аларина, Круковский, не прерывая талии, быстро вскинул на него взор и кивнул головой. Он уже по лицу знал, что Александр Егорович привез деньги, и даже больше, – что он будет отыгрываться.

Действительно, Алариным внезапно овладело страстное желание отыграться.

«Не может же быть, чтобы мне теперь не повезло, – соображал он, – счастье идет полосами... Я должен вернуть свое... и баста!»

И ему живо представилось, какое будет счастье, если он избавится от тяжелой необходимости платить казенными деньгами. «Господи, только бы тысячу воротить, больше и играть не буду, – пронеслось в его голове. – Ах, какое было бы наслаждение уехать из этого вертепа и лечь спать со спокойной совестью!»

Аларин долго глядел на игру, бледнея и вздрагивая от волнения: он уже знал, что будет играть, но старался продолжить то жгучее ощущение, которое испытывает страстный игрок,

имеющий возможность поставить крупный куш и медлящий сделать это.

«Начну с тридцати рублей, – думал Александр Егорович, – конечно, возьму, затем угол и десять мазу, а потом мирандолями и мирандолями... две карты маленьких, две больших...»

Круковский стал тасовать карты для новой талии и искоса кинул взгляд на Аларина.

– Сколько в банке? – спросил Александр Егорович таким внезапно охрипшим голосом, что все игроки обернулись к нему.

Круковский пристально посмотрел ему в глаза и, переставая тасовать, сказал:

– Послушайте, Аларин, я не советую вам играть.

– Как не советуете? Что вам до меня за дело? – возразил Александр Егорович резким тоном, но невольно опуская взор.

– А то, что есть известная примета: кто отыгрывается или рискует на казенные, – всегда проигрывает.

Он произнес это внушительно и отчетливо, продолжая так же внимательно глядеть в глаза Аларину. Круковский вовсе не хотел, чтобы Александр Егорович отказался от игры, но ему нужно было, чтобы он публично, при свидетелях, признал принесенные деньги своими.

Расчет был совершенно верен, потому что Аларин густо покраснел и сказал с деланной иронией:

– Я думаю, вы не сомневаетесь, что деньги принадлежат мне?

– Спаси господи! – хладнокровно отпарировал Круковский, уже окончательно убедившись, что Аларин взял казенные деньги. – Я просто вижу, что вы хотите отыграться, ну, и сообщаю вам мудрое житейское правило: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. А впрочем, как угодно-с... В банке около четырех тысяч.

«Красные – сто, черные – двести», – подумал Александр Егорович и снял с колоды несколько карт. Вышла красная...

И вдруг среди мертвой тишины глухо, но явственно раздался его голос: «Ва-банк!» – и он вытащил из колоды карту, стараясь сам не видеть ее.

– Со входящими? – спросил совершенно хладнокровно Круковский.

– Ва-банк! – озлобленно повторил Аларин. Банкомет перевернул колоду; Александр Егорович посмотрел на свою карту: оказалась дама бубен, и в его уме почему-то быстро мелькнул и скрылся образ Зинаиды Павловны.

Круковский отчетливо выкидывал каждую карту, пристукивая по столу костяшкой среднего пальца, и с каждым ударом сердце Аларина крепко и болезненно билось об грудную клетку, а в виски, точно два громадных молота, ударили попеременно: «бита, дана, бита, дана».

– Бита! – шумно вырвалось у всех зрителей.

– А-а! – медленно протянул Аларин, и им сразу овладело безразличное спокойствие...

## VII

Александр Егорович проснулся в два часа дня и долго не мог сообразить: утро теперь или вечер. Он лежал на кровати во всей той одежде, которая была на нем вчера; голова, точно налитая ртутью, страшно болела, глаза, с красными от утомления веками, мигали и слезились от света, во рту ощущался какой-то неприятный вкус... Сердце Аларина тревожно ныло ожиданием большого несчастья, но он никак не мог припомнить, что такое с ним вчера произошло, и усиленно тер переносицу.

Случайно его взгляд упал на шкатулку: она, как была ночью вытащена из-под кровати, так и лежала, раскрытая, на середине комнаты. Возле валялись лист газетной бумаги и конец английского шпагата, которым были обмотаны деньги.

Аларин в один миг, точно кто толкнул его, с поразительной ясностью припомнил до мельчайших подробностей картину своей последней ставки: грязная комната, совершенно залитая ослепительно-яркими лучами холодного зимнего солнца, десяток желтых лиц, нагнувшихся над столом с хищно сверкающими глазами, проклятая пятерка червей с надломленным углом и спокойный, ненавистный голос, медленно произносящий: «Больше не мечу... Не угодно ли, господа, кому-нибудь занять мое место?» Аларин вспомнил еще, как он тотчас же после этого бессмысленно рассмеялся и начал хвастливо уверять, что хотя он и проиграл уже одиннадцать



тысяч, но что ему «наплевать» и что сильные ощущения даром не даются... Но этот деревянный смех и эти нелепые слова принадлежали не ему, не Аларину, а как будто совершенно чужому, незнакомому человеку; настоящий же Аларин слушал с трепетом самого себя, между тем как истерические спазмы душили его горло. Игроки, толпившиеся вокруг стола, глядели на его судорожную развязность, близкую к умопомешательству, с тем холодным и вполне безучастным любопытством, с которым некогда смотрели римские гладиаторы на смерть своих товарищей.

Потом откуда-то появилось шампанское, кого-то поздравляли и кричали «ура». Каждый из присутствующих с жадностью пил, точно желая забыться от долгого созерцания целых ворохов кредиток, переходивших в одно мгновение из рук в руки.

Пил и Аларин... Он теперь, точно сквозь сон, вспоминал, как с пьяными слезами он лез целовать Круковского и божился, больно ударяя себя в грудь кулаком, что проиграл казенные деньги, а Круковский с неожиданно вспыхнувшим взором резко оттолкнул его и сказал: «Ты бы, братец, домой ехал спать, а не болтал пустяков!» Затем все впечатления слились, перед глазами заколыхался какой-то синий туман, и больше он ничего не помнил.

Пока все эти бессвязные сцены проносились перед глазами Аларина, он сидел в оцепенении на своей кровати и, не отрываясь, глядел в угол. Какая-то громадная тяжесть обрушилась на него, завладела всем его существом и сковала ледяным холодом ужаса все его нервы, все умственные способности... Это было состояние, похожее на кошмар, когда человек чувствует, что ему что-то надо сделать, бежать или крикнуть, но язык онемел, ноги не могут шевелиться, а грозящая опасность надвигается все ближе и ближе.

– Что же это такое? – растерянно шептал Аларин, вперя в какую-то далекую точку свой неподвижный, точно стеклянный взгляд. – Неужели все, все пропало? И честь, и молодость, и свобода!.. Неужели мне, Александру Егоровичу Аларину, такому славному и красивому молодому человеку, на которого всегда с удовольствием заглядывались женщины, – неужели мне теперь всякий писарь, всякий уличный бродяга может сказать в глаза: «Ты – вор! Да, ты – вор, потому что украл казенные деньги»? Да нет же, нет! Это – неправда! Я никогда чужой копеечкой не воспользовался; я, когда еще мальчишкой был, куска сахару не брал без спросу... я – не вор! Вор крадет из нужды или из нежелания работать, вор крадет каждый день, и если его выбрасывают из общества, то это так и нужно, потому что иначе никто спокойно не мог бы спать. Разве я похож на вора? На меня только вчера нашло проклятое затмение, но я остался тот же, мне ничто не мешает жить со всеми и приносить свою долю пользы... Не смейте отворачиваться от меня! О господи, помоги же мне, помоги! Устрой так, чтобы все это был сон, ужасный... ужасный сон! Я сейчас проснусь... все окажется по-прежнему... Ну вот, я просыпаюсь...

И, жадно ухватившись за последнюю мысль, он, как безумный, кинулся к шкатулке, вывернул на пол все заключавшиеся в ней бумаги и письма и принялся перерывать их дрожащими руками. Ему на глаза попала прежде всего довольно толстая, перевязанная розовой атласной лентой пачка, заключавшая в себе целую любовную эпопею в письмах, начиная от официально-любезного приглашения к обеду и кончая теми лаконически страстными записками, поспешно набросанными неочиненным карандашом на первом попавшемся лоскутке, содержание которых не решится прочесть вслух самый испорченный человек. Все эти письма со следами слез и чернильных брызгов, пропитанные тонким запахом духов и написанные безобразнейшим почерком, принадлежали перу одной хорошенькой вдовы, очень эксцентричной и непостоянной особы, два года до безумия любившей Александра Егоровича, чтобы потом сменить его на капельмейстера гвардейского полка, которого, в свою очередь, заменил красавец бас из архиерейских певчих. Аларин часто, с тайной и сладкой грустью вспоминая прошедшее, любил перечитывать эти послания, но теперь они вдруг показались ему такими ничтожными до пошлости, что, внезапно обозлившись, он с силой швырнул всю пачку под кровать. Он заглядывал в такие уголки шкатулки, где не только не могли уместиться одиннадцать тысяч рублей, но было трудно спрятать простой почтовый конверт. Холодный пот выступил уже давно на его лбу, ноги затекли и сильно болели, а он все стоял на коленях перед шкатулкой, в десятый раз переворачивая высыпанные вещи. Его действия были похожи на движения утопающего, который судорожно, но тщетно ищет руками какой-нибудь твердой точки.

Дверь тихо скрипнула и отворилась, и из нее показалась голова рассыльного с пристани.

– Чего тебе нужно? – закричал Аларин со злостью в голосе и в ту же минуту покраснел, как

уличенный преступник: ему казалось, что рассыльному уже известно все и он понимает, чем занимался Аларин, стоя посреди комнаты на коленях.

– Письмо вашему благородию, – отвечал рассыльный, подавая Александру Егоровичу большой форменный конверт и в недоумении приготавливаясь на всякий случай к быстрой ретираде, – приказано отдать в собственные руки.

Аларин быстро оборвал края конверта. Он уже чувствовал смутно, что в этом письме кроется последний, самый страшный удар.

«Ревизионная комиссия правления просит вас пожаловать в шесть часов пополудни с имеющимися у вас на руках казенными суммами и шнуровыми книгами для производства гласной поверки».

Аларин читал с трудом, потому что буквы сливались в мутные полосы и строчки прыгали перед его глазами. Он не понял ни одной из этих казенных фраз, не мог даже сообразить, какую связь имеют они с происшествиями вчерашнего дня, но из глубины его души какой-то внутренний голос внятно и уверенно произнес «баста», и письмо вывалилось из рук.

Рассыльный сначала хотел было спросить, можно ли ему идти, но, увидев, что впечатление произведено письмом довольно сильное, счел более благоразумным и уместным удалиться после этого опроса.

Аларин не мог стоять, потому что его ноги дрожали и подгибались; он через силу доплелся до кровати и лег. Он знал, что ему надо немедленно собрать разбегающиеся мысли, уяснить, обдумать свое положение и предпринять что-нибудь. Но рассудок совсем не повиновался; в голове царил невообразимый хаос; все, что думалось, было чрезвычайно незначительно и совершенно не относилось к делу. Аларин лежал, повернувшись лицом к стене, и машинально обводил пальцем узор, нарисованный на обоях, а перед его глазами, как это бывает после долгой игры, одна за другою ярко обрисовывались различные карты: короли грозно хмурили брови, дамы с изумленными лицами протягивали желтые цветки... Аларин даже позабыл о своем тяжелом положении, ему начало казаться, что это безразличное состояние покоя и полудремоты, лишенное всяких мыслей, продолжится навсегда. Но вскоре холод, наполнявший комнату, отрезвил его, и он мало-помалу возвратился к действительности. Мысли опять стали вертеться около необходимости принять какое-нибудь решение.

«Взять взаймы? Да ведь ни один дурак не поверит; ведь это не десять рублей, а одиннадцать тысяч! Всякий в глаза насмеется, да еще за сумасшедшего сочтет. Украсть? Ограбить кого-нибудь? Он, пожалуй, и таким средством не побрезговал бы, но как же это делается?»

Надо идти куда-то, подслушивать, подсматривать, подстергать, но куда же идти?» – Нет, нет, все равно, надо бежать, разыскивать, хотя, может быть, и ничего не выйдет! – воскликнул Аларин, вдруг охватив мысленно всю безвыходность своего положения, и поспешно начал одеваться, не попадая в рукава пальто и страшно злясь на это.

## VIII

Когда Александр Егорович вышел из дома, короткий зимний день уже потухал и на улице кое-где зажигали фонари.

Первая мысль, за которую уцепился Аларин, было пойти к Гойдбергу, известному во всем городе ростовщику, снабжавшему его деньгами в некоторые критические моменты жизни. Хотя Гойдберг и брал невозможные проценты, а Аларин был весьма неаккуратен, но и кредитор и должник никогда не имели основания жаловаться друг на друга: первый во всякое время дня и ночи готов был предложить свои услуги, а второй беспрекословно соглашался на самые трудновыполнимые условия. Александр Егорович напрасно старался отыскать в карманах какой-нибудь завалявшийся двугривенный. Ему пришлось идти пешком на самый конец города, и когда он подходил к невзрачной хатенке, в которой обитал Гойдберг, то насилу держался на ногах от усталости. Прежде чем войти, он заглянул в окно. Самуил Исаакович Гойдберг, красивый, типичный еврей с умными чертами матового лица, сидел, нагнувшись над письменным столом, и внимательно заносил в какую-то очень толстую книгу длинные столбцы цифр.

Аларин на мгновение закрыл глаза, им овладела внезапная слабость духа, сердце перестало биться. Но это продолжалось очень короткое время. «Э! Не все ли равно, – подумал он, с отчая-

нием махнув рукой, – хуже не будет!» – и стукнул два раза в стекло. Гойдберг вздрогнул и устремил беспокойный взгляд по направлению окошка, заслоняясь рукой от света. Он долго смотрел таким образом, стараясь проникнуть в темноту ночи, и только когда Аларин повторил стук, нерешительно поднялся с места и пошел отворять дверь.

Александр Егорович вошел в комнату, стараясь казаться спокойным и самоуверенным, но от опытного взгляда ростовщика не укрылись ни бледность его лица, ни нервное движение нижней челюсти, ни тревожно бегающие по сторонам глаза. Умный еврей тотчас же понял, что этого всегда беззаботного, веселого красавца скрутили самые затруднительные обстоятельства...

Они уселись к столу и несколько минут в молчании не отрывали взоров друг от друга.

Гойдберг в своей специальности был тонким психологом и довел до виртуозности искусство незаметным, но подавляющим образом влиять на нуждающегося человека. Он никогда не начинал первый щекошливого разговора о деньгах, наблюдая лишь, как его клиент мнется, конфузится, еле нанизывает одно на другое слова и междометия и, наконец, радостно соглашается на все предложения, чтобы только покончить с этим тяжелым состоянием неловкости.

– Видите ли, почтеннейший Самуил Исаакович, – робко начал Аларин, не выдержавший пристального взгляда и уже окончательно смущенный этим, – мне нужно... видите ли... не можете ли вы одолжить мне некоторую... небольшую сумму денег?..

Ростовщик уже по одному тону, которым было сказано «небольшую», догадался, что Аларину нужна громадная сумма, но лицо его не выдало этого ни одним мускулом.

– Ну, зачем же не одолжить? – ответил он подобострастно. – Я вам с удовольствием могу дать сколько угодно!.. Вы такой аккуратный и никогда не торгуетесь. Дай бог, чтобы со всеми было так приятно вести дела, как с вами. Сколько же вам надо?

И он, вопросительно глядя на Аларина, уже отпирал письменный стол, как будто готовясь достать вексельную бумагу...

Алариным опять овладел припадок трусости; ему почему-то показалось невозможным назвать целиком такую большую сумму, как одиннадцать тысяч рублей.

– Мне... мне... девять тысяч, – солгал он, потупясь и одновременно с этим поняв, как нелепа была мысль обратиться к Гойдбергу.

– Гм... девять тысяч рублей? – протянул еврей, который сам не ожидал ничего подобного. – Да у меня никогда и денег-то таких в руках не бывало! – прибавил он, быстро захлопывая ящик и запирая его на ключ. – Нет, это невозможно, поищите где-нибудь в другом месте.

После такого категорического отказа Аларину сразу стало легче, и он почувствовал себя развязнее.

– Слушайте, Гойдберг, вы должны дать мне... понимаете – должны. Иначе... черт знает, что будет иначе... Я вам подпишу доверенность на все свое жалованье.

Тонкая усмешка появилась на губах еврея.

– Ну, зачем же вам надо столько тысяч? Аларин растерялся... Он тщетно старался солгать, сочинить какую-нибудь историю; как нарочно, ни одна правдоподобная мысль не лезла в голову.

– Ах, черт побери! – воскликнул он грубо, – да не все ли тебе равно, дьявол! Давай или не давай, это твое дело, а не смей расспрашивать...

– Пхе! Господин инженер думает, верно, что я – совсем дурак! Я вам говорю, поищите в другом месте, где деньги на полу валяются...

Нервы Аларина не выдержали. Кровь со страшной силой прилила к голове.

«А что, если я схвачу его за горло, – быстрее молнии пронеслось в его голове, – ни одна душа не услышит!»

И вдруг, с помутившимися глазами, ничего не чувствуя, кроме ужасного озлобления, он кинулся на Гойдберга и в один миг обвинил своими гибкими пальцами его шею.

– Постойте, постойте, – захрипел побледневший еврей, – отпустите меня, господин инженер! Я вам дам деньги... я сейчас дам!

Аларин отнял руки, с необыкновенной быстротой перейдя от безумного отчаяния к еще более безумной радости.

– Ну, давай, голубчик, давай! Неси скорее... Ах, боже мой!.. Чего же ты меня раньше-то мучил? – бессмысленно твердил он, еле переводя дух.

Гойдберг подошел к двери, ведущей в другую комнату, и спрятался за нее так, что видне-

лась только одна его голова.

– Вы с ума сошли! – закричал он визгливым голосом. – Разве я осел, чтобы бросать деньги? Разве я не знаю, что вы вчера проигрались? А если вы будете орать, как пьяница, я позову полицию. Убирайтесь вон из моего дома!

Аларин вскочил со своего места, но дверь моментально захлопнулась, и когда он схватился за ручку, то услышал, как в замке зазвенел ключ.

## IX

Едва держась на ногах и шатаясь, точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно останавливались, провожая его взорами.

Аларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда, да и зачем? Везде та же холодная, пустая темнота. Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер; нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу.

«Как зябнут ноги!.. И спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел; так бы и остался здесь навсегда... Говорят, приятно замерзнуть!.. Ах, если бы и мне!.. Вот так сидел бы, сидел бы, потом заснул бы и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы... А завтра подойдет ко мне городской; сначала он все только сбоку будет посматривать, а потом тронет за плечо и... отскочит. Интересно, пожалуют ли «они», когда об этом услышат!»

Аларин не сознавал ясно, кто это «они», которые услышат об его смерти, но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно-спокойно... Кругом громадная толпа... У всех на лицах жалость, всякий как будто хочет сказать: «Вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи... а теперь уже поздно... теперь он больше ни в чем не нуждается».

«Нет, зачем же умирать?.. – подумал дальше Аларин. – Лучше достать деньги... это ведь так просто... может быть, я найду на улице; другие находят же!»

Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки... За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления... Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему... все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое, оскорбительное замечание, под общий смех, Аларин не выдерживает больше: крупными шагами подходит он к столу, его глаза сверкают восхитительным бешенством... Недоконченный смех мгновенно стихает, всем становится жутко... неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей... Александр Егорович отвечает на оскорбление громовым словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества... Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе... На глазах у многих видны искренние слезы... но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты.

Погрузившийся в свои грезы Аларин не слышал, что кто-то уже три раза назвал его по имени, и только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность.

Болезненно-приятные картины мгновенно потускнели, и из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина.

– Что вам надо от меня? – слезливо закричал он. – Оставьте меня в покое!

После вчерашней бурной сцены с Кашперовым Зинаида Павловна окончательно решила

ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упросила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо: тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая, что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному окрику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдание в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастье.

– Зачем вы гоните меня? – спросила она с трогательной грустью. – Я знаю, что вам именно теперь нужно участие.

Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее.

– Ах, не надо мне вашего участия, не нуждаюсь я в нем! – почти крикнул он. – Не шубу же мне шить из вашего участия. Оставьте меня!..

– Александр Егорович, что с вами, скажите, ради бога? Ведь не из любопытства же я спрашиваю... Может быть, я в силах...

Он истерически расхохотался.

– Ха-ха-ха! Боже мой, как все это глупо! Ну, чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полицию, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит...

– Александр Егорович!

– О, черт побери! Да наконец это неделикатно. Наблюдаете вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости.

– Александр Егорович, неужели вы... украли?

Зинаида Павловна не обиделась на его брань; ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором.

– Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?! – крикнул Аларин. – Что вам до меня? Ну да, украл... проиграл одиннадцать тысяч рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком разводы разводите, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте!

Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки, в ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо.

– И вы суетесь с помощью! Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и двадцатой части того, что я проиграл в одну ставку... Что? Поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать...

И, неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами.

Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги.

«Куда же он пойдет теперь? – подумала она с ужасом. – Что он станет делать?» И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие пускают себе в лоб пулю».

«Спасаться бегством? – мелькнуло у нее. – Но ведь он не побежит... он такой гордый, самолюбивый... Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного; он не унижится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости... Значит... значит, остается второе!»

И, вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас

же остановилась.

«Зачем? – безнадежно мелькнуло в ее голове. – Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется... Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь тысячу рублей... то ведь это будет каплей в море!.. Господи! Научи меня, просвети мой разум! Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его... «Пулю в лоб...» Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь... О, какой это был ужасный хохот!.. «Если вы даже продадите себя...» Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду отдала бы... А что, если и в самом деле не жизнь... а... Тот ужасный человек вчера... Нет, нет, это мерзко! Этот так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает... Разве можно отдаваться человеку, которого... да, которого ненавидишь? О нет! Это – гадость, об этом даже думать противно!..»

И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения. Но тотчас же в ней снова заработала мысль.

«Ну так что же? Противно, и я уж испугалась... А это – самый верный путь... Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег... Он не задумается; он вчера говорил, что отдаст все, и, конечно, нынче от своих слов не откажется... Значит, можно еще спасти Аларина... Страшно? Но ведь я собиралась даже жизнь отдать? Жизнь отдать так легко, это даже приятно и красиво – умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь... отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, – спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя... Можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет... Значит, и бесчестья нет никакого... И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно... и даже необходимо совершить!..» Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко, точно с ее плеч скатилось громадное, тяжелое бремя, которое долго давило ее и от которого не было возможности избавиться... И, с бесповоротно созревшим решением, она быстро пошла по направлению к дому Кашперова.

## Х

Сергей Григорьевич, точно раненый лев, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, «как мальчишка, как школьник». Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную, кроткую девушку и тотчас затем готов был молиться на ее чистый, светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся пред его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только гадливое чувство к нему.

«Ну чем же можно остановить ее? – думал Кашперов, нервно шагая взад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшие по дороге стулья. – Ведь не могу же я запереть ее? Извиниться? Невозможно! – она меня и слушать не станет; она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сдержусь, я знаю... ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей?..»

Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение.

Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов, недовольно нахмутив брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом: перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна.

Кашперов сразу, инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание.

– Что с вами, Зинаида Павловна? – тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. – Вы чем-то потрясены?

Она хотела, не медля ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука...

«Неужели я сама скажу об «этом»? – в немом страхе думала Зинаида Павловна. – Так прямо, глядя ему в глаза... громко? Как это подействует на него? Что он скажет? А вдруг он расхохочется мне в лицо или, может быть, как и вчера, бросится ко мне, красный, с мутными глазами, с пеной у рта?»

Однако отступать было уже поздно, и хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется.

– Да скажите же, ради бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня! – продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа.

Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустила, почти упала в кресло.

– Вот что, Сергей Григорьевич, – раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос, – вы вчера... предлагали мне одну вещь... Это правда... я не понимала, что значит богатство... а теперь... я согласна... Делайте со мной, что хотите. Только, ради бога, скорей... мне нужны деньги... очень, очень много денег...

Она говорила точно в бреду, все более и более бледнея, и когда кончила, то до крови закусила нижнюю губу и с страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова... Их взоры встретились и, точно повинувшись какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжение нескольких секунд не могли разойтись... Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома... Сидевшая перед ним бледная, как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосыгаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всесильности денег и она, как и все, пресмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора?..

Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все, – все, до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников.

«Сколько в ее лице страдания, – быстро пронеслось в его голове, – верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей... Понятно, ей нелегко; ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь, как с продажной тварью... Хорошо! Но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею... Господи! Да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне... Нет! Это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклание, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и во все не боится... А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и...» И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли выразившееся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки.

– Сколько же вам, собственно нужно?

Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном.

Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ.

– Одиннадцать тысяч? Гм... гм... у вас недурные аппетиты... Интересно, для какой цели они вам понадобились и почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили; надо было взять дороже...

Кашперов с мучительной ясностью сознавал, сколько грошового мещанства, сколько животного сознания своей минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого

тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке; но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками.

Зинаида Павловна продолжала молчать и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу.

– Говорите же, для чего вам нужны деньги? – простонал Кашперов.

– Этого я вам никогда не скажу!

Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя.

Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закружились злобной улыбкой...

– Хорошо, я исполню ваше желание. – Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне.

– Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите...

Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячее прикосновение ее губ. Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича, – он сразу понял и переживал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства и, весь охваченный порывом безграничного раскаяния, повалился на диван лицом, крепко охватив руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало; потом он не в силах был сдерживаться, и Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди.

– Простите... Простите меня... – задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов, – дорогая моя! Я точно палач, точно убийца... Как я мог?.. Вы... святая... святая... Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт. – Я вас обманул! – продолжал сквозь рыдания Кашперов, – обманул так пошло, так бессмысленно... Простите ли вы меня?

Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове... Сергей Григорьевич справился наконец со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость.

Кашперов выдвинул один из ящиков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком.

– Вот, возьмите, здесь ровно одиннадцать тысяч, – сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону, – идите... идите скорее...

У Зинаиды Павловны кружилась голова и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери, но Кашперов остановил ее.

– Послушайте! Я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но, прошу вас, скажите этому человеку: если он не сумеет оценить ваш поступок, значит... Понимаете ли вы, – добавил он с горячим чувством, – это – великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина.

Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в глаза.

## XI

Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась, точно во сне, крепко прижимая к груди пачку с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверно, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик.

– Барышня! Прокатайте на шведочке полтинничек!

Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение; она села в сани и заторопила извозчика:



– На пристань! Только, ради бога, скорее... скорее!.. Вы получите на чай.

«Ванька» принялся усердно нахлестывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной и, точно вихрь, закружились в ее голове.

«Господи! Только бы ей не опоздать! А вдруг... она входит, а на кровати лежит Аларин... скорчившийся, с окровавленным лбом. Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным, несмываемым пятном ляжет ей на душу?.. О нет, нет! Она расскажет ему, как он дорог и близок для нее, она найдет такие слова, против которых нельзя устоять... Имейте веру с горчичное зерно... Господи! Что, если я опоздаю?»

– Да погоняйте же, пожалуйста, – беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с клячонкой надрывался из последних сил, удивляясь нетерпению барышни.

Наконец сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на тротуаре. Она не знала, куда ей идти.

У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решила подойти к нему.

– Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?

Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное.

– Послушайте! Я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?

В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил наконец ее более внимательным взглядом; но, по-видимому, впечатление, произведенное этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом:

– А тебе чего нужно?

Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя.

– Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец... Я вас спрашиваю, и вы должны ответить!

Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать.

– Ишь ты, какая строгая, подумаешь! Как это так не мое дело? Вашего брата много к холостым господам бегаешь, а потом, глядишь, пропадет ложка серебряная или часы, кто отвечает? Небось не ты! Тебя и след давно простыл, а меня по шапке! Не мое дело!.. Нет, брат, шалишь, коли я здесь соблюдать приставлен...

Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты.

– Вот нате вам, возьмите, – сказала она, желая прервать поток его красноречия, – только прошу вас показать квартиру господина Аларина.

– Это другое дело, – произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка. – Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все и в первый проулочек сверните. Отсчитаете по левой руке седьмой домик, там и есть их квартира. Домик эф тот, значит, пароходного машиниста, а они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая с чином и фамилией прибита, увидите сами...

Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать; ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец она достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь... Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать.

Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка и сказала себе: «Значит, здесь!»

Медлить было некогда; Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил:

– Кто там?

– Мне надо немедленно видеть Александра Егоровича Аларина, – нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна, – отворите, я не могу стоять на морозе. Послышались стук и визжание ото-

двигаемого засова, и дверь отворилась... Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина, с горящею свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-серые косички.

– Для чего это вам понадобился в такую пору Александр Егорович? – недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую.

Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну.

– Ах, не все ли вам равно? – крикнула она сердито. – Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы.

Старуха недоверчиво и грустно покачала головой.

– Пожалуйте, – сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь, – идите прямо, они еще не спят в это время...

Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее.

## XII

Аларин, покинув на бульваре оскорбленную им Зинаиду Павловну, шел машинально, без всякой определенной цели, до тех пор, пока не очутился против своей собственной квартиры, и невольно удивился этому. Он ни теперь, ни в более позднее время не мог понять и разобраться в безобразном хаосе мыслей, которые теснились в его голове, когда он шел домой. Растрата казенных денег... суд... арестантский халат... каторга и, наконец, что было ужаснее всего, полнейшая беспомощность.

В глубине души Аларин смутно чувствовал, что какой-то выход есть, что из этого тяжелого положения можно выбраться, но сам боялся отнестись к этому неясному представлению сознательно. Он весь содрогнулся от ужаса, когда наконец понял, в чем заключается выход, как-то сразу обрисовавшийся в его воображении в той странной вещи, которая висела на стенном ковре над его кроватью. Это был револьвер Смита и Вессона, подарок одного гвардейского офицера, хорошего приятеля Александра Егоровича.

Аларин содрогнулся, но тотчас с жадностью уцепился за мысль о самоубийстве.

«Разве это так трудно? – размышлял он, подвигаясь бессознательно вперед, – боль мгновенная, зуб вырвать, пожалуй, больнее, потому что если человек живет, то еще долго чувствует нервное отражение боли. Вот те, которых на войне ранили, говорят, как будто сильный толчок, а потом горячо делается, как если бы облили рану кипятком. Значит, нужно только усилие – надавить на собачку: удар, блеск – и кончено. А потом? Потом ничего, совсем как есть ничего! Ведь приятно после долгой, трудной дороги лечь на кровать и вытянуть ноги... Нет в мире лучшего ощущения! А здесь покой еще глубже, еще блаженнее... Чего же метаться и отчаиваться? Кому меня будет жаль? Без матери, без отца, один... Кому же до меня есть дело? Разве только эта малокровная барышня? Да что она мне? Если бы эта девчонка умерла, я и ухом не повел бы. Мало ли народу каждый день умирает?»

Он вошел в свою комнату, не снимая пальто и фуражки, зажег лампу и тотчас же снял с гвоздя большой, вороненой стали, револьвер. Во всех шести гнездах торчали медные шляпки патронов.

«Писать ли записку? Нужно что-нибудь оригинальное... Ведь завтра все будут читать в газетах... Как это будет неожиданно для всех! Жил между ними человек, ходил, смеялся, разговаривал, принимал участие в их бессмысленном прозябании, – и вдруг стал безмолвной, холодной вещью... А главное, умер, презирая всю эту жестокую, суетную толпу... Что подумает Круковский? Ему, наверно, станет совестно и страшно. Разве и про него упомянуть в записке? Нет, это гадко, это будет ненужной мезью, – пусть он сам считается со своей совестью».

Аларин схватил лист почтовой бумаги и быстро, без помарок, написал предсмертную записку:

«Я, вследствие рокового сцепления обстоятельств, проиграл казенные одиннадцать тысяч рублей. Как это ни покажется странным, но виновным я себя не признаю. Прощаться не с кем и не для чего. Александр Аларин».

Эта записка была его мезью тому обществу, которое он почему-то обвинял в своем несча-

стии. Он перечитал ее два раза и с удовольствием нашел свои слова выразительными по их силе и сжатой краткости.

Неугомонное воображение опять принялось рисовать другие картины. Аларин как будто уже видел то впечатление, которое произведет его самоубийство, видел, как знакомые будут толковать об этом, говоря таинственным шепотом и удивляясь громадной воле Александра Егоровича, а он сам, никем не зримый, присутствует среди них, наслаждаясь их разговорами.

Взводимый курок два раза сухо и коротко щелкнул. Аларин кистью левой руки крепко охватил дуло, чтобы оно не дрожало, положил большой палец правой руки на собачку и прикоснулся холодной сталью к правому виску. Это ощущение холода мгновенно передалось всему телу.

«Неужели всегда будет так же холодно? – весь содрогнувшись, подумал Аларин. – Холодно... темно... словно в закрытом погребе... брр... жутко! Не лучше ли в сердце? Говорят, бывали случаи, что выстрел происходил как раз в то время, когда сердце сжималось. Пуля только на волос пролетит, не тронув... жив останешься... Да, в сердце лучше. Или, может быть, взять немного выше? Не такая верная смерть».

И вдруг, поймав себя на этих гаденьких мыслях, Аларин покраснел и обозлился.

«Эх ты, шарлатан, – обругал он себя, – в эту минуту без хвастовства и ломания не обойдешься! Куда тебе стреляться, трусишка? Да ведь ты согласился бы влачить жизнь цепной собаки, только бы жить... О впечатлении заботишься! Нет, брат, коли хочешь умереть, так всоси в себя мысль о ничтожестве, привыкни к тому, что не только темноты погреба, а ровно ничего не будет, – ничего, ни света, ни темноты, ни времени, ни пустоты даже. Ничего! О, какой ужас!»

Он медленно положил на стол револьвер и, опершись подбородком на ладони, уставился на огонь лампы. Блестящая точка приковала его взгляд. Он не мог отвести от нее неподвижных глаз, между тем как все окружающие предметы темнели, сливались в однообразную серую массу и уходили куда-то далеко.

За стеной послышался пьяный голос машиниста, хозяина домика, в котором квартировал Александр Егорович. Этот честный, но подверженный слабости к обильным возлияниям малый считал своим священным долгом напиваться каждый свободный вечер до состояния полного блаженства и горланить самые чувствительные песни.

Аларин стал прислушиваться.

Ах, распился, разгулялся  
Молодой приказчик;  
Он склонил свою головку  
На хозяйский ящик, –

пел машинист.

Лицо Александра Егоровича искривилось злобой. Он слышал не раз и хорошо знал эту безобразную трактирную песню, в которой описывались приключения молодого приказчика, ограбившего хозяйскую кассу.

Он расчету не сдавал:  
Сколько кому на-адо! –

продолжал гнусавить машинист, с пьяной отчетливостью выделявая каждую ноту.

– О, черт побери! – дико прошептал Аларин, глядя на огонь очарованными, немигающими глазами. – Ведь и я – такой же приказчик. Распился и разгулялся. И мне теперь всякий пьяный машинист плюнет в лицо, а может быть, и песню еще сложит: что вот-де проигрался молодой инженерик... Да разве я теперь инженер? Ведь я – кандидат в арестантские роты. Нет, так нельзя! Неужели у меня не хватит духа? Ведь только одно незначительное усилие, а там уже все равно, что будут петь, что будут говорить... Надо только поймать в себе момент решимости... и баста!

Он опять взял револьвер и приставил его к виску.

– Ну, раз, два...

Он по-прежнему, не отрывая взора от яркой огненной точки, медлил сказать «три», еще сам не знал: действительно ли в нем созрела решимость или он опять только ломал комедию.

В это время сзади его послышался отчаянный, потрясающий крик. Чья-то рука быстрохватила револьвер, тот с грохотом покатился по полу, и Аларин увидел Зинаиду Павловну, почти в обмороке, бессильно опустившуюся на диван. Прошло несколько минут напряженного молчания.

– Чего вы хотите от меня дожидаться? – закричал наконец вне себя Александр Егорович и ударил по столу кулаком с такой силой, что стоявшая на нем лампа закачалась и задребезжала.

Зинаида Павловна молча положила на стол бумажную пачку, которую до тех пор крепко сжимала в руке.

Аларин с недоумением поглядел сначала на пачку, потом на нее, потом снова на пачку; он еще не понимал, в чем дело, но в его душу вдруг хлынула волна безотчетной восторженной радости.

– Что же это такое? – спросил он сдавленным шепотом, дрожащими руками развязывая шнурок.

И вдруг, уже совсем не владея собою, Александр Егорович разразился захлебывающимся, безумно-радостным смехом. Перед его глазами мелькали одна за другой и шелестели в руках пестрые радужные сторублевки, красные и серые процентные бумаги с крупными тысячными надписями, серии... Он несколько раз принимался пересчитывать, сбивался, начинал считать снова и совершенно позабыл о присутствии Зинаиды Павловны. Для него в эти блаженные минуты возвращения от смерти и отчаяния к жизни все в мире, кроме лежавших перед ним денег, потеряло стоимость и значение. Его лицо приняло жадное, почти зверское выражение, глаза сверкали, на лбу выступили крупные капли пота. Зинаида Павловна с пытливым вниманием наблюдала за всеми изменениями физиономии Аларина; она с ужасом чувствовала, что в ней, в самой глубине ее души, зарождается и шевелится какое-то смутное чувство презрения к этому необузданному проявлению инстинкта жизни. Ее щепетильная натура восставала против чего-то животного, низменного, так неожиданно проявившегося в человеке, которого она возвела на самую высокую ступень идеала. Она еще не умела разобраться в своих новых ощущениях, не могла оформить их как следует, но в эти две или три минуты разрушалось и гибло ее увлечение, – увлечение, вызванное скорее рассудком и жалостью, чем силой страсти.

Аларин наконец с трудом пересчитал билеты: их было на сто рублей больше, чем нужно, и только тогда у него мелькнула мысль: «Откуда же они взялись?» Он вспомнил о присутствии Зинаиды Павловны, порывисто подошел к ней, желая высказать свою великую радость, но вспомнил сцену на бульваре и весь побагровел.

– Зинаида Павловна, эти деньги... – Александр Егорович хотел было спросить, кому они предназначаются, но этот вопрос показался ему чересчур грубым. – Откуда вы достали их? – добавил он и, уже произнеся эти слова, сообразил, что сделал еще большую бестактность.

Голова Зинаиды Павловны горела, руки были холодны, как лед. Нервы положительно отказывались слушаться, и ее ответ, против воли, вышел сух, почти презрителен:

– Возьмите их себе. И прошу вас об одном – никогда о них не вспоминайте!

Но Аларин, обыкновенно чуткий ко всякому оттенку в тоне и всегда умевший за словами улавливать истинное настроение человека, на этот раз совершенно утратил и эту способность, и ту границу в изъявлении чувства, которая отделяет истинное увлечение от натянутой фальши.

– Как мне благодарить вас? – заговорил он с неправдоподобным жаром, схватив и крепко сжав обе руки Зинаиды Павловны. – Знаете ли вы, что вы для меня сделали? Вы спасли меня от суда, от вечного позора. Значит, я недаром в вас чувствовал с первого же знакомства что-то родственное. Господи! Вы мне жизнь возвратили, жизнь! Поймите, что я снова стану в глазах общества порядочным человеком, а не вором...

Смутное чувство презрения все более и более нарастало в душе Зинаиды Павловны.

Аларин начинал казаться ей чем-то маленьким, жалким и лживым.

«Для чего же он про родственное участие говорит? Лучше бы вспомнил, как гадко смеялся на бульваре...» – мелькнуло у нее.

Она неожиданно вырвала у него свои руки и поднялась с дивана.

– Я вас просила не говорить об этом больше...

Аларин опять не понял ни ее брезгливого жеста, ни сухого тона.

– Ах, нет, нет! Дорогая моя, вы должны выслушать меня, я не могу не говорить. Мне кажется, я готов кричать на весь мир от радости. Если только найдется хоть что-нибудь, чем бы я мог...

Зинаида Павловна не слушала его, занятая новой мыслью, которая пришла ей в голову.

– Позвольте, я предложу вам один вопрос, – холодно прервала она расходившегося Аларина.

– Говорите, говорите, ради бога!..

Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное, подобострастное внимание, которое показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким.

– Вы, конечно, возвратите эти деньги, – сказала она значительно, – но, я думаю, вы также признаетесь во всем, расскажете о своем проигрыше?

Она ухватилась за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности нового мучительного впечатления, которое производил на нее Аларин. «Может быть, он только в первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством?» – думала она, с нетерпением дожидаясь его ответа. Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьезно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума.

– Зачем? Деньги я, конечно, возвращу, но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казенные деньги. Для чего же мне портить свою репутацию?

– Репутацию? – с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и, окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям.

– Куда вы, Зинаида Павловна? Что с вами? – заторопился изумленный Аларин. – Позвольте, я вам хоть извозчика отыщу!

– Оставьте меня! – резко оборвала Зинаида Павловна. – Вы такой же, как и все... Вы гадки мне... Оставьте меня!

Аларин так и застыл на месте, прислушиваясь к ее частым, неровным шагам, раздававшимся в коридоре.

### ХIII

Ни одного извозчика, ни одного прохожего не попадалось на пустынных улицах. Суровый, пронизывающий до костей ветер с бешеной силой обдавал все лицо Зинаиды Павловны колючими ледяными иглами; давно промокшие калоши и ботинки едва держались на ногах, а она в каком-то забытии шла машинально той же дорогой, по которой приехала на квартиру Аларина. Ее голова сильно болела, кровь напряженно билась в висках, руки и ноги отказывались повиноваться, и мысли путались самым фантастическим образом. Она не помнила, как дошла до дому и как позвонила у подъезда. Навстречу ей выбежал сам Кашперов. Он с самого ухода Зинаиды Павловны ходил не переставая по комнатам в тревожном беспокойстве, которое все усиливалось по мере того, как продолжалось ее отсутствие. По телефону он уже узнал подробно о вчерашнем проигрыше инженера и теперь строил разные предположения, беспокоясь за ее слабость и неопытность, терзался ревностью, воображая себе картину ее свидания с Алариним, и уже собирался идти разыскивать ее, как вдруг в передней послышался слабый звонок. Сергей Григорьевич, не успев даже надеть шляпу, сбежал с лестницы и как раз вовремя выскочил на крыльцо. Едва только он отворил дверь, как Зинаида Павловна, бледная, дрожащая, в горячечном ознобе, со стоном упала ему на грудь. Он, как перышко, поднял ее на руки и один, без помощи сбежавшейся прислуги, понес ее по лестнице. Только в эту ужасную минуту, чувствуя на своей шее прикосновение ее холодной щеки, Кашперов понял, что эта девушка для него дороже собственной жизни, дороже жизни любимой дочери...

Зинаида Павловна лежала в тяжелой неподвижной полудремоте, между тем как ее воображением овладели лихорадочные грезы... Ей все казалось, что где-то далеко-далеко перед ее глазами тянется длинная, ровная проволока, тянется страшно медленно, с каким-то монотонным жужжанием. Вместе с этим жужжанием что-то томительное и тягучее охватывает все ее тело, все мысли, все ощущения. Это состояние тоски и замирания продолжается очень долго, до тех пор,

пока где-то, в том же чудовищном отдалении, не показывается какая-то быстро вертящаяся точка.

Что она представляет собою, Зинаида Павловна не может решить, но ее сердце сжимается зловещим предчувствием. Точка, вертясь все быстрее, приближается и увеличивается. Наконец она превращается в бешеный вихрь, в целый хаотический океан, который вздымается до неба и охватывает целый мир своими грозными валами... Потом наступает одно мгновение жуткого покоя. И вдруг вся эта безыменная громоздящаяся масса обрывается, рушится и с быстротой падающего камня несется на Зинаиду Павловну. Она мечется в предсмертной тоске, обливаясь холодным потом, но внезапно – и это самый страшный момент – вся масса рассеивается и только остается одна тягучая, бесконечная проволока. Эта мучительная фантазия повторялась десятки раз, после чего грезы Зинаиды Павловны принимали более реальный характер. Ей все казалось, что около ее кровати на столике стоит тарелка со свежей замороженной клюквой. Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий жажду вкус...

И ко всем этим грезам примешивалось постоянно одно и то же доброе, удивительно знакомое лицо, с тревожной заботливостью склонявшееся над ее изголовьем. Зинаида Павловна иногда старалась припомнить, кого она видела с таким лицом, и думала до тех пор, пока опять лихорадочные грезы не начинали играть ее воображением.

Заботливое лицо принадлежало Кашперову. Он, как только уложил Зинаиду Павловну при помощи горничной в кровать, так и не отходил ни на минуту, не зная, чем помочь больной девушке.

Часа через два прибыл доктор. Это был коротенький, толстый человечек, с уверенно-приятными округлыми манерами, который одним своим видом мог успокоить больного. Он тщательно осмотрел Зинаиду Павловну и покачал головой. Кашперов отвел его в сторону и произнес каким-то деревянным, беззвучно-спокойным голосом:

– Доктор, скажите, будет она жива?

Доктор пытливо поглядел ему в лицо. Он своим опытным ухом слышал, что этот вопрос – вопрос жизни и смерти для самого Кашперова, и нерешительно молчал.

– Скажите правду, – настаивал Сергей Григорьевич тем же странным голосом, – я должен предупредить вас, что не переживу ее, понимаете?

– Зачем же отчаиваться? – попробовал успокоить его доктор. – Даже и в самом худшем случае не надо терять голову...

– Я вас не об этом спрашиваю! – резко крикнул вдруг Кашперов, сверкнув глазами. – Будет ли она жива, черт побери?

Доктор и обиделся этим криком, и немного испугался.

– Я могу определить болезнь, могу принять кое-какие меры, – ответил он недружелюбно и сухо, – но предсказать не берусь... особенно в такой болезни, как нервная горячка. Имею честь кланяться.

#### XIV

На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом: щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от забот и бессонных ночей, в волосах серебрились седые волосы. Он, как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе... Батюшка наконец угомонился и, почувствовав «склонение ко сну», предложил Аларину газету, которую он до сих пор, не читая, держал в руках; Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике: «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города:

«На днях у нас разыгралась тяжелая драма: местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причины ее...» Дальше Аларин не читал, – он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах.

&lt;1892&gt;

## Лунной ночью

Июльская теплая ночь еще не начинала свежить, а в воздухе уже чувствовалась близость зари. Мы с Гамовым шли в ногу, тем скорым, эластически широким шагом, который вырабатывается после третьей версты; ни он, ни я, по обыкновению, не говорили ни слова, но я чувствовал, что мой спутник волнуется и хочет заговорить со мною.

Каждую субботу мы встречались с ним на даче у Елены Александровны и вместе оттуда возвращались пешком в Москву. На этих вечерах его присутствие почти не было заметно. Маленький, щедушный, весь обросший черными волосами, прямыми и жесткими; с короткой, чуть-чуть рыжеватой бородой, начинающейся под самыми глазами; всегда наглухо застегнутый и всегда немного унылый, – он был самым типичным учителем математики из всех, которых я когда-либо встречал. Странно то, что даже на глаза его никто не обращал внимания, и я сам разглядел их в первый раз только в тот вечер, о котором идет речь. А между тем это было удивительные глаза: большие, черные и постоянно грустные, *точно у раненого оленя*; на женском лице они заставили бы забыть об уродливости прочих черт, некрасивость же мужского лица делала их незаметными.

На вечерах у Елены Александровны он сидел на террасе, затканной диким виноградом, в самом дальнем углу. До сих пор, когда я вижу вечером освещаемую лампой зелень с ее мертвенным, жидким цветом, я не могу не вспомнить при этом лица и понурой фигуры Гамова. Мне всегда казалось, что его душа обременена крупным невысказанным горем.

По мере того как приходило время прощаться, я начинал чувствовать на себе его просящий взгляд. Случалось, с шапкой в руках, я заговаривался еще на полчаса, совсем позабыв о Гамове. Он молча стоял рядом, не напоминая ни одним звуком о своем присутствии, и только когда я уже окончательно собирался уходить, он постоянно одним и тем же, неизменно робким тоном предлагал себя в спутники. До сих пор мне неизвестно: пользовался ли я его особой симпатией, или просто он считал меня физически сильнее моих товарищей.

Пролесок, которым мы до сих пор шли, кончился. Перед нами открылось ровное, без одного кустика, осеребренное луною поле, сливавшееся вдаль с безоблачным куполом неба. Мы свернули с дороги на росистую траву, заглушавшую шум наших шагов, и я стал поневоле чутко прислушиваться и приглядываться к ночи. Где-то, очень далеко, сполохнулась и завозилась в кусте птичка, чирикнув, точно сквозь сон, два раза; по ветру еле-еле донеслось звонкое, тревожное ржание жеребенка. По траве низко стлались седые ключья тумана; они пропадали из глаз и окутывали нас сыростью, когда мы подходили к ним ближе. В воздухе пахло скошенным сеном, медом и росой.

Ночью, в открытом поле, при назойливо ярком свете луны, все чувства приобретают какую-то странную, тонкую восприимчивость. Мне мало-помалу начало сообщаться нервное настроение моего спутника; я попробовал было запеть, но сам испугался того напряженного, фальшивого звука, который издало мое горло.

Я почувствовал на своем лице, сбоку, пристальный взгляд Гамова и повернул к нему голову; он, по-видимому, дожидался этого движения.

– Скажите, пожалуйста, – произнес он своим, по обыкновению, вежливым и немного робким тоном, – вы изволили слышать сегодняшние разговоры? Разговор в этот вечер шел о привидениях, предчувствиях, таинственных дамах в белом и храбрых студентах и офицерах, – один из обыкновенных дачных разговоров.

– Конечно, все это ерунда, – продолжал Гамов, не ожидая моего ответа, – и говорилось больше для забавы. Но я заметил, что вы не принимали участия в этом разговоре, и потому, смею думать, можете отнестись серьезно к волнующему меня вопросу.

«Эге! – подумал я. – Похоже на то, что готовится излияние чувствительной души».

– Скажите мне... Впрочем, если вам смешно, вы, конечно, можете не отвечать... Боитесь вы чего-нибудь?

Мне показалось, что он сразу побледнел, предлагая этот вопрос, и я тогда же заметил красоту и печальное выражение его глаз, казавшихся еще чернее и еще больше на лице, освещенном

луною.

– Я, впрочем, не то спрашиваю. Не бояться нельзя, потому что это все от нервов. Но что для вас страшнее всего? Чего бы вы не могли забыть в продолжение всей вашей жизни?

Я по опыту знал, как взвинчивают воображение такие разговоры, и отвечал с намерением сухо:

– По правде сказать, я больше всего боюсь маленьких зеленых лягушек.

– Простите, я не знал, что вам этот разговор неприятен, – сказал Гамов и понурил покорно голову.

Мне стало тотчас же жалко, что я на его учтивый и серьезный вопрос отвечал шутовством. Я начал вывертываться.

– Помилуйте, отчего же? Все равно молча идти скучно. Только я хотел сказать, что у меня нервы крепкие и своим воображением я владею настолько, что, мне кажется, сумею не поддаться никакому страху.

Когда Гамов опять заговорил ровным, глухим голосом, то я заметил странную особенность его речи. Он часто переводил дух, но забирал очень мало воздуха и как будто бы захлебывался. Поэтому фразы у него выходили короткими, отрывистыми, а конец их был еле слышен. Вероятно, это происходило от какой-нибудь грудной болезни.

– А я, голубчик, очень многого, почти всего боюсь. Когда я был еще ребенком, меня пугали буками разными, трубочистами, ну, знаете, чем вообще детей пугают. А я был мальчишка очень нервный, восприимчивый. Должно быть, страх-то на всю жизнь во мне и засел. Поверите ли, я дошел до наслаждения страхом, и когда мной овладевает припадок этой подлой робости, я стараюсь еще больше себя расстроить... Возьмите вы, например, самую невинную вещь: лунные ночи. Разве они не ужасны! Холодный свет, не то белый, не то синеватый, именно мертвый... Мертвая, одинокая луна, лишенная жизни и воздуха... мириады серебряных точек... И земля, такая же точка, песчинка, несущаяся в вечный мрак... Ужасно! Все, все мне говорит яснее, что я умру, погибну в одно прекрасное время и что моя смерть необходима для какого-то неумолимо точного мирового закона... Ужасно!..

Он помолчал секунд десять, часто дыша, и потом продолжал:

– Вдвоем еще ничего. А вот когда один идешь, да в таком ровном поле, как теперь, вот тогда напрягаются все чувства. Смотрите, как этот фальшивый свет сгладил все неровности, точно скатерть – поле, и, кажется, конца ему нет... А я иду один и думаю, что нет кругом на целые сотни верст, кроме меня, ни одного живого существа. И откуда ни посмотри, отовсюду меня видно; захоти я спрятаться, так некуда. Но едва я это подумаю, мне уже кажется, что на меня в самом деле смотрят невидимые для меня глаза, смотрят отовсюду, куда я только ни повернусь. И спереди, и с боков, и сзади... Всего страшнее, что сзади: так и тянет обернуться. А сердце стучит, так стучит, что и этому «невидимому», наверно, слышно, волосы на голове шевелятся... ужас, точно холод, все тело охватывает...

Последние слова он не произнес, а точно выкрикнул внезапно зазвеневшим горловым голосом. Нервная дрожь пробежала у меня по спине, но я не остановил Гамова, хотя и чувствовал, что он сейчас разойдется. Мною овладело любопытство.

– Всего же, всего страшнее для меня, – в голосе Гамова послышался оттенок таинственности, – это человек. О! Не тот человек, что преграждает вам дорогу на перекрестке и хватает вас за горло... Это очень просто: ему хочется есть и не хочется работать. Я мужчина и силу сумею отразить силой. Меня, – и голос Гамова вдруг понизился до шепота, – меня пугает то, что в каждом из нас есть одна темная, закрытая для всех наблюдений, ужасная сторона. Я должен начать издалика. Вам не скучно, что я так много говорю?

– Нет, нет, пожалуйста. Мне очень интересно...

– Случалось вам видеть во сне, будто вы сдаете трудный экзамен? Вам задают вопрос, и вы на него никак не можете ответить. Вы усиленно думаете, ломаете голову, но ответ, как нарочно, не идет на ум. Тогда учитель обращается к одному из ваших товарищей, тот отвечает самым правильным и блестящим образом, и вам становится стыдно за ваше незнание. Случалось это с вами?

– Не помню, – отвечал я, еще не понимая, к чему клонит речь Гамова. – Во всяком случае, если я этого самого не видал, то видал подобное. Я понимаю, что вы хотите выразить.



– Понимаете? Ну, и прекрасно. Дальше. Вам, наверно, приходилось когда-нибудь идти по полю и глубоко задуматься. Так задуматься, что, спроси вас, по какой местности вы шли, вы не сумели бы ответить. А между тем вы старательно переступали ямы, обходили грязные места и ни разу не упали. А? Отчего это? И много, много таких явлений... Я из них вывел одну, очень странную теорию...

Он посмотрел на небо, на слабо мерцающие звезды и помолчал.

– Я, видите ли, думаю, что человеку присущи две воли. Одна – сознательная. Этой волей я ежечасно, ежеминутно управляю своими действиями и постоянно сознаю в себе ее присутствие. Ну, одним словом, она есть то, что всякий привык понимать под именем воли. А другая воля – бессознательная; она в некоторых случаях распоряжается человеком совершенно без его ведома, иногда даже против его желания. Человек ее не понимает и не сознает в себе. Во сне на экзамене отвечает ваш товарищ. Но ведь товарища-то на самом деле нет, отвечаете вы же, и вы же удивляетесь тому, что говорите. Видите, какая двойственность? Даже теперь вот, в настоящую секунду: вы идете, переставляете ноги, махаете руками. Но ведь вы о ваших руках и ногах даже и думать позабыли, потому что заняты разговором. Кто же ими двигает, если не эта вторая, бессознательная воля? А гипнолизм, когда один субъект, против желания, подчиняется приказаниям другого? И много, много... Понимаете вы хоть немного мою мысль?

Глядя на меня своими грустными большими глазами, он как будто бы извинялся за этот странный разговор.

– Понимаю отчасти, – отвечал я неопределенно.

– Так вот этой самой таинственной области в человеке я и боюсь, – продолжал Гамов, опять понижая свой голос до шепота. – Раз эта вторая воля есть, есть и физический орган, который наряду со всеми прочими органами подвержен болезням. Только человек ничего об этой воле не знает и болезни своей не чувствует: в этом самое страшное. Лунатики, сумасшедшие, преступники с наследственными влечениями, бесноватые, одержимые противоестественными похотями, эпилептики – все эти несчастные, у которых так дико, так неожиданно, так ужасно проявляются их болезни, все они страдают одним и тем же: расстройством их второй воли. Главное – неожиданно и совершенно непонятно. Я боюсь самого себя, боюсь вас, боюсь всякого... Ну вот, например, мы с вами идем, а я вдруг останавливаюсь, беру вас за рукав (Гамов действительно дотронулся до моего рукава, отчего по моему телу пробежала какая-то брезгливая дрожь) и ни с того ни с сего, молча, делаю страшную, отвратительнейшую гримасу?.. Разве это не страшно? Особенно ночью, в поле, один на один?

Я с болезненным любопытством поглядел в лицо Гамову. Я почувствовал, что, сделай он в самом деле сейчас гримасу, – я с ужасом, но в ту же секунду повторил бы ее на своем лице. От одной этой мысли мне стало холодно, но, к счастью, гримасы Гамов не сделал.

Мы подходили к тому месту, где дорога разветвлялась на две: одна вела в Москву, а другая – в один из загородных парков. На перекрестке росли две корявые березы.

– Есть у вас папиросы? – спросил Гамов. – У меня все вышли.

Мы остановились на перекрестке, и он стал закуривать. Закуривал он торопливо, и я подумал, что ему пришла в голову еще какая-то мысль. Действительно, затаившись поспешно несколько раз подряд, он опять заговорил:

– Известен вам тот странный факт, что убийцу влечет к месту преступления? Это, конечно, давно избито и заезжено, но зато еще раз подтверждает мою, вероятно, нелепую теорию. Вы подумайте только: ведь сознательно убийца ни за что не пошел бы. Это и неблагоприятно, и мучительно, и, наконец, совсем не нужно. Однако он идет, идет и идет, и потом ни за что не скажет, почему пришел... Ну, что вы на это скажете?

Я не знал, чем ответить, кроме неопределенного мычания; мне становилось неловко. Когда Гамов снова торопливо затаился несколько раз подряд, – его лицо, то освещаемое огнем папиросы, с длинными тенями от носа и бровей, то опять тонувшее в темноте, показалось мне страшным. К сожалению, я не мог теперь его остановить, потому что чувствовал себя не в силах сделать это. Предраассветный легкий ветерок тронул листья в верхушке березы, под которой мы стояли, и они затрепетали с тревожным шумом. Гамов с силою швырнул недокуренную папиросу об землю и кинул на меня беспокойный взгляд.

– Да вот, например, что. Вообразите, что вы идете не со мной, а с кем-нибудь другим, при

совершенно таких же обстоятельствах и после такого же разговора, какой был у нас с вами. Точно так же, как и сейчас, вы останавливаетесь под этими самыми березами... И вдруг ваш спутник, обыкновенно молчаливый и робкий на вид, начинает вам рассказывать, как он два года тому назад на этом, на вот этом самом месте... – Гамов показал пальцем перед собою; голос его ослабевал и обрывался, – убил женщину... И главное, вы видите, что он не шутит, потому что сообщает такие мелочные, такие тонкие и своеобразные подробности, каких ни один психологический писатель не придумает... Ну, хоть вот так...

Гамов задумался, как будто бы что-то припоминая. Давешний ужас опять прополз у меня по спине своими мохнатыми лапами...

– Я все это очень умно устроил (я говорю от имени этого вашего знакомого). Представьте себе: ни отец, ни мать не знали, что она со мной знакома. О! Даже больше: она меня ненавидела, питала ко мне отвращение, как к гадине, но я все-таки сумел овладеть ее волей и воображением до невероятной степени. Если я в полдень проходил мимо ее окна, она уже непременно выходила перед вечером на Тверской бульвар. Это условный знак у нас был такой (видите, какая мелкая подробность). Покорность такая была оттого, что я случайно проник в ее тайну, очень простую тайну: эта девушка имела ребенка. У меня в руках находились вещественные доказательства, а девушка эта была единственным утешением нежных родителей, да, кроме того, сюда и патрицианская гордость примешивалась. Да, черт! Много было подробностей. (Заметьте, все это вам говорит ваш предполагаемый знакомый.) И все это я сумел одеть некоторым туманным покровом таинственности... Шантаж, вы хотите сказать? Вот именно, именно шантаж; самое подходящее слово, хотя все это делалось не из-за выгоды материальной, а потому что ваш знакомый девушку любил, как сорок тысяч... и так далее... Таким образом, я ей приказал однажды летом прийти на определенное место; мы взяли извозчика и поехали за город на дачу. Дача-то, конечно, была пустым предлогом: мы там никого не застали. Пришлось возвращаться назад пешком, вот как теперь мы с вами. Даже ночь была такая же лунная, теплая и душистая... Только теперь, – Гамов вынул из кармана часы и посмотрел на них, близко поднося к глазам, – пять минут четвертого, а тогда мы подошли к перекрестку не позже как в половине второго...

Понимаете? Я ее любил! Она была изумительно хороша, изумительно! Что-то в ней было страстное, непокорное и очень сильное: как женщина, она обещала бездну наслаждений. Она была выше меня ростом, гибкая, с высокой талией и маленьким бюстом, точно у классической богини, с сильными маленькими руками. Ее пышная натура особенно сказывалась в волосах. Эти золотые, нежные волосы, местами цвета спелого ореха, просто мешали ей. Они не слушались прически и лезли ей на глаза; у нее была милая, грациозная привычка откидывать их назад быстрым движением головы. Это была необыкновенная женщина!

Вы не испытывали никогда этого захватывающего дух сладострастия, когда сознаешь, что любимая тобой женщина, которая тебя презирает, находится в твоих руках и ты ее можешь взять силой? Верно, не испытывали? А у меня в кармане был американский револьвер Мервинга, и каждый раз, опуская руку в правый карман пальто и ощущая холод металлического дула, я думал, что если здесь выстрелить, то ни одна душа не услышит. И каждый раз мне хотелось потянуться от какого-то чертовски сладкого предчувствия... Здесь ваш знакомый кстати сообщит вам еще одну деталь: револьвер он взял из того расчета, что от него, во всяком случае, меньше крови...

Боже мой! Какое это наслаждение! Говорить ей о любви, грозить убить ее, вымогать у нее ласки с револьвером у виска! Ах, это – необъяснимое сладострастие... Но знаете... – Гамов вдруг остановился и хрипло, растянуто засмеялся; я не мог пошевелинуться, – все это, конечно, к примеру... Знаете, что она сделала, когда я вот на этом самом месте, где мы теперь стоим с вами, приставил к ее виску револьвер и грубо, ну так грубо, как разве может только пьяный солдат, потребовал, чтобы она мне отдалась? Знаете, что она сделала? Она расхохоталась и назвала меня трусом, неспособным даже на такую подлость. И не то что расхохоталась искусственно, а на самом деле, громко, презрительно так... О, как она была великолепна в эту минуту и как я признавал свою собственную мерзость... Но мне было все равно... Я сказал, что сию секунду выстрелю; она не шевельнулась ни одним мускулом и все продолжала смеяться. Глаза у нее стали большие такие и дерзкие... Я едва надавил собачку... у меня пальцы обессилели и затерпли губы... Мысль работала страшно сильно. Я все испытывал себя: могу или не могу? Мне как будто бы интересно было: сильно нужно нажать, чтобы выстрелить? Я жал потихоньку, а со стороны

точно сам за собою наблюдал... И вдруг ее лицо вспыхнуло... По долине грохот какой-то дробный прокатился. Я сначала ничего не понимал... И какая подробность чудовищная мне в память успела врезаться: когда ее лицо осветилось, я еще успел на нем разглядеть улыбку!..

Когда я к ней нагнулся, ее висок и часть лба были в крови. Кровь была лужей и на земле, а на ее поверхности какие-то беловатые жирные струйки... Не знаю, может быть, мне это и показалось. Одна прядь ее золотых волос прилипла к ране. Эта подробность у меня несколько месяцев не выходила из головы: все хотелось взять и отвести эту прядь осторожненько назад... Смерть гадка, страшна и таинственна... Но стоять возле... созерцать, как молодая, красивейшая женщина, за минуту перед тем смеявшаяся, становится холодной вещью!.. И когда я сам, сам, своими руками произвел это таинственное явление!.. Ужасно!!!..

Гамов задыхался. Последние слова он произнес еле слышно, точно в раздумье или в бреду, и закрыл лицо руками. Когда же он отнял руки, то я увидел, что его лицо искажено кривой, измученной улыбкой.

– Ну-с! А знаете, что всего страшнее, мой молодой друг? Всего страшнее то, что я знаю ваши теперешние мысли. Вы думаете, что вся эта история произошла не с вашим выдуманном другом, а с самим Гамовым. А убийцу-то вот и потянуло на самом месте преступления рассказать все первому встречному под видом аллегории, так сказать, заглянуть в пропасть? Ну что, правда? Правда?

Когда он это сказал, я в тот же миг с поразительной ясностью понял ту мысль, которая меня давно уже угнетала и которую я боялся представить себе отчетливее. Наши глаза встретились и не могли оторваться; наши лица сошлись страшно близко. Ужас нечеловеческий – чудовищный ужас сковал мое тело, сжал ледяной рукой мое горло, сдвинул к затылку кожу на моем черепе. Продлись это состояние еще секунды три – произошло бы что-нибудь нелепое. Может быть, я бросился бы бежать и бежал бы до изнеможения, трясясь и падая. Может быть, мы оба с криком кинулись бы друг на друга, как два диких зверя...

Вдали по дороге послышался стук колес. И я и Гамов одновременно вздохнули всей грудью, точно пробудясь от страшного сна, и отвели глаза.

– Ну, я не знал, что вы такой нервный, – заметил было шутливо Гамов, но я не отвечал ему.

Во всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова и разошлись, не подав друг другу руки.

А на востоке уже пылали багряные, желтые и розовые тона. Сизая тяжелая туча одна напоминала об уходящей ночи, но и она кое-где была прорезана тонкими, длинными полосками червонного золота, и края ее играли нежными переливами розового перламутра.

Гамов перестал бывать у Елены Александровны, а я хоть и бывал, но возвращался с ее дачи в Москву другою дорогой.

<1893>

## Дознание

Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником а la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели: фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное случаю – степенное и даже несколько высокомерное выражение.

Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас же дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку, Тарас Гаврилович – «зуб» по уставной части, непоколебимый авторитет для всего галунного начальства – пользовался в полку весьма широкою известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело

представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель производил впечатление маленького, сильного крепыша с наклоном к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переключки пил чай с молоком и горячей булкой, сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольноопределяющимися своей роты о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство.

– Как... тебя... зовут? – спросил нерешительно Козловский.

Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинался, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль «За усердие» и левый рукав был расшит золотыми и серебряными углами.

Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полной обстоятельностью.

– Расскажите... расскажите... кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает что такое!

Черта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянул вперед шею. Показание свое он начал неизбежным «так что».

– Так что, ваш бродь, сижу я и переписываю наряд. Внезапно прибегает ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает: «Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». – «Как так неблагополучно?» – «Точно так, говорит, у молодого солдата сапоги украли и тридцать копеек денег». – «А зачем он, спрашиваю, сундука не заперал?» Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундучке замок должен находиться. «Точно так, говорит, он заперал, только у него взломали». – «Кто взломал? Как смели? Этта что за безобразие?» – «Не могу знать, господин фельдфебель». Тогда я пошел к ротному командиру и доложил: так и так, ваше высокоблагородие, и вот что случилось, а только меня в это время в роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера.

– Это все, что тебе известно?

– Точно так.

– Ну, а этот солдат, Байгузин, хороший он солдат? Раньше его замечали в чем-нибудь?

Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.

– Точно так, в прошлом году в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татары – самая несообразная нация. Потому что они на луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится...

Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера.

Благодаря недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий, твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса:

– Ну, и что же теперь будут с Байгузиным делать?

Тарас Гаврилович ответил с самым благосклонным видом:

– Надо полагать, что Байгузина, ваш бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспременно выдерут. Потому как он штрафованный.

Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и, неожиданно приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера.

Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить «громко, смело и притом всегда правду». От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал «точно так», а в противном случае – «никак нет».

– Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенища?

Пискун закричал, что он не может знать.

– А может быть, это Байгузин сделал?  
– Точно так, ваше благородие! – закричал Пискун радостным и уверенным голосом.  
– Почему же ты так думаешь?  
– Не могу знать, ваше благородие.  
– Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он крал-то?  
– Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил: «Чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит: «Я хлеб свой ищу».  
– Значит, ты самой кражи не видал?  
– Не видал, ваше благородие.  
– Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был? Может быть, это вовсе и не он украл?  
– Точно так, ваше благородие.

С ефрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязнее и потому, назвав его ослом, дал ему для подписи дознание.

Пискун долго пристраивался, громко сопя и высовывая кончик языка от усердия, и, наконец, вывел с громадным трудом: \_ефре Спиридонь Пескуноу\_.

Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного по роте – Пискуна, который видел Байгузина околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой.

Наконец денщик впустил обоих татар. Они вошли робко, с преувеличенною осторожностью ступая сапогами, с которых кусками валилась на пол осенняя грязь, и остановились у самой двери. Козловский приказал им подойти ближе; они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги.

– Фамилии! – обратился к ним офицер.

Кучербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и «оглы», и «гирей», и «мирза».

Байгузин молчал и глядел в землю.

– Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию, – приказал Козловский переводчику.

Кучербаев поворотился к обвиняемому и что-то проговорил по-татарски ободрительным тоном.

Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая обезьянка, и проговорил быстро, хриплым и равнодушным голосом:

– Мухамет Байгузин.

– Точно так, ваше благородие, Мухамет Байгузин, – доложил переводчик.

– Спроси его, \_взял\_ он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово «украл».

Кучербаев снова поворотился и заговорил, на этот раз вопросительно и как будто бы с оттенком строгости. Байгузин поднял на него глаза и опять промолчал. И на все вопросы он отвечал таким же печальным молчанием.

– Не хочет говорить, – объяснил переводчик.

Офицер встал, прошелся задумчиво взад и вперед по комнате и спросил:

– А по-русски он совсем ничего не понимает?

– Понимает, ваше благородие. Он даже говорить может. Эй! Харандаш, карали минга<sup>27</sup>, – обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом. – Никак нет, ваше благородие, не хочет.

Наступило молчание; подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика:

<sup>27</sup> приятель, смотри на меня (татарск.)

– Иди. Ты мне больше не нужен... Ступай, ступай!

Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству. И каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными.

– Отчего ты не хочешь отвечать? – спросил подпоручик, остановившись перед солдатиком. Татарин молчал, не поднимая глаз.

– Ну, чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенища. Так, может быть, это и не ты вовсе? А? Ну, говори же, взял ты или нет? А?

Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна.

Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три.

– Козловскому стало очень жаль этого ребенка в большой солдатской шинели. Впрочем, это было почти неуловимое, странное и совсем новое чувство для Козловского, который не умел в нем разобраться. Как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский. В чем заключалась эта вина, он не сумел бы ответить, но ему сделалось бы стыдно, если бы теперь кто-нибудь напомнил ему, что он недурен собой и ловко танцует, что его считают неглупым, что он выписывает толстый журнал и имеет связь с хорошенькой дамой.

Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца.

– Послушай, Байгузин, – заговорил Козловский искренним, дружелюбным голосом, – бог ведь у нас у всех один. Ну, аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить. А? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. А сознаешься – все-таки не так. И я за тебя попрошу. Честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя. Понимаешь, одно слово – аллах.

Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием.

– Ну, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто, как человек, а не как начальник. Начальник йок. Понимаешь? У тебя отец-то есть? А? Может быть, и инай есть? – прибавил он, вспомнив случайно, что по-татарски мать – инай.

Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул кверху гирьки часов и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темноту осенней ночи.

И вдруг он вздрогнул, услышав сзади себя хриплый и тонкий голос:

– Инай есть.

Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть инай, милая старушка инай, от которой он отделен пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что, в сущности, без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим; вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу; вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он забывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству царицы небесной.

Между подпоручиком и молчаливым татаринцем вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему обе руки на плечи.

– Ну, послушай, голубчик, говори правду, украл ты или не украл эти голенища?

Байгузин потянул носом и повторил, точно эхо:

- Украл голенища.
- И тридцать семь копеек украл?
- Тридцать семь копеек украл.

Подпоручик вздохнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про «инай» и довел Байгузина до сознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики.

«Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А теперь уж по одному чувству долга приходится его сознание записать. Да полно, долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уж непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и «инай» у него тоже есть. И кроме того, долг – ведь это «тягучее понятие», как говорит капитан Греббер. Ну, а если его еще раз будут допрашивать? Не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство. И для какого черта только я про эту «инай» вспомнил! Ах ты, бедняга, бедняга! Я же тебе своим сочувствием беды наделал».

Козловский приказал татарину отправиться в казармы и прийти завтра ранним утром. До этого времени он надеялся обдумать все дело и остановиться на каком-нибудь мудром решении. Самым лучшим ему все-таки казалось обратиться к кому-нибудь из особенно симпатичных начальников и объяснить все подробности.

Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным.

– Беспременно его выдерут, ваше благородие, – ответил денщик убежденным тоном. – Да как же его не драть, когда он у солдата последние голенища тащит? Солдат – человек богу обреченный... Где же это видано, чтобы у своего брата последние голенища воровать? Скаж-жите пожалуйста!..

Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов – все было покрыто тонким белым налетом инея; деревья казались тщательно напудренными.

Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинными деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими фигурами. Сначала казалось, что в этой муравьиной суеде не было никакого порядка, но опытный взгляд уже мог заметить, как в четырех концах двора образовались четыре кучки и как постепенно каждая из них разворачивалась в длинный правильной строй. Последние запоздавшие люди торопливо бежали, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с сумками.

Через несколько минут роты одна за другой блеснули и звякнули ружьями и одна за другой вышли к самому центру двора, где стали лицами внутрь, в виде правильного четырехугольника, в середине которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока в квадрате.

Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда.

Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Эта шинель имела свою историю и была известна в полку под двумя названиями: постового тулупа и бабушкина капота. Впрочем, никто так не называл этой шинели при самом владельце, потому что все побаивались его длинного и грязного языка. Он говорил, как всегда, грубо, с малорусским произношением, с широкими жестами, никогда не подходившими к смыслу разговора, с тем нелепым строением фразы, которое обличает бывшего семинариста.

– Вот у нас в бурсе так действительно драли. Хочешь не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны! Так и говорили: «Правда твоя, миленький, правда, – а ну-ка ложись...» Коли виноват – в наказание, а не виноват – в поощрение.

– Ну, этому сильно, должно быть, достанется, – вставил батальонный командир, – солдаты воровства не прощают.

Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал.

К батальонному командиру подбежал сбоку фельдфебель и вполголоса доложил:

– Ваше высокоблагородие, ведут этого самого татарчонка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Среди наступившей тишины резко слышались тяжелые шаги трех человек. Байгузин шел в середине между двумя конвойными. Он был все в той же непомерной шинели, заплатанной на спине кусками разных оттенков: рукава по-прежнему болтались по колено. Поля нахлобученной шапки опустились спереди на кокарду, а сзади высоко поднялись, что придавало татарину еще более жалкий вид. Странное производил впечатление этот маленький, сгорбленный преступник, когда он остановился между двумя конвойными, посреди четырехсот вооруженных людей.

С тех пор как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и очень смешанные впечатления. Ему ничего не удалось сделать для Байгузина, потому что начальство на другой же день заторопило его с дознанием. Правда, помня данное татарину слово, он обратился к своему ротному командиру за советом, но потерпел полную неудачу. Ротный командир сначала удивился, потом расхохотался и, наконец, видя возрастающее волнение молодого офицера, заговорил о чем-то постороннем и отвлек его внимание. Теперь Козловский чувствовал себя не то что предателем, но ему казалось, будто он обманом вытянул у Байгузина признание в воровстве. «Ведь это, пожалуй, еще хуже, думал он, – растрогать человека воспоминанием о доме, о матери, да потом сразу и прихлопнуть». Сейчас, слушая рыжего офицера, он особенно сильно ненавидел его неприятную, грязную бороду, его тяжелую, грубую фигуру, замасленные косички его волос, торчавших сзади из-под шапки. Этот человек, по-видимому, с удовольствием пришел на зрелище, виновником которого Козловский считал все-таки себя.

Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова:

– Ша-ай! На кра-а...

Козловский вытащил до половины из ножен шашку, вздрогнул, точно от холода, и потом уже все время не переставал дрожать мелкою нервной дрожью. Батальонный скользнул глазами по строю и отрывисто крикнул:

–...ул!..

Четырехугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями и замер.

– Адъютант, прочтите приговор полкового суда, – произнес батальонный своим твердым, ясным голосом.

Адъютант вышел на середину. Он совсем не умел ездить верхом, но подражал походке кавалерийских офицеров, раскачиваясь на ходу и наклоняясь вперед корпусом при каждом шаге.

Он читал с неправильными ударениями, неразборчиво и растягивая без надобности слова:

– Полковой суд N-ского пехотного полка в составе председателя, подполковника N., и членов такого-то и такого-то...

Байгузин по-прежнему, понурясь, стоял между двумя конвойными и лишь изредка обводил безучастным взглядом ряды солдат. Видно было, что он ни слова не слышал из того, что читалось, да и вряд ли хорошо сознавал, за что его собираются наказывать. Один раз только он шевельнулся, потянул носом и утерся рукавом шинели.

Козловский также не вникал в смысл приговора и вдруг вздрогнул, услышав свою фамилию. Это было в том месте, где говорилось о его дознании. Он сразу испытал такое чувство, как будто бы все мгновенно повернули к нему головы и тотчас же отвернулись. Его сердце испуганно забилось. Но это ему только показалось, потому что, кроме него, фамилии никто не расслышал, и все одинаково равнодушно слушали, как адъютант однообразно и быстро отбарабанивал приговор. Адъютант кончил на том, что Байгузин приговаривается к наказанию розгами в размере ста ударов.

Батальонный командир скомандовал: «К ногe!» – и сделал знак головою доктору, который боязливо и вопросительно выглядывал из-за рядов. Доктор, молодой и серьезный человек, первый раз в жизни присутствовал при экзекуции. Теряясь и чувствуя себя точно связанным под сотнями уставленных на него глаз, он неловко вышел на середину батальона, бледный, с дрожащею нижнею челюстью. Когда Байгузину приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать, он медленно, неумелыми



движениями расстегнул шинель и мундир. Доктор, избегая глядеть ему в глаза, с выражением брезгливого ужаса на лице, выслушал сердце и пульс и пожал в недоумении плечами. Он не заметил даже малейших следов обычного в этих случаях волнения. Очевидно было, что или Байгузин не понимал того, что с ним хотят делать, или его темный мозг и крепкие нервы не могли проникнуться ни стыдом, ни трусостью.

Доктор сказал несколько слов на ухо батальонному командиру и быстро, тем же неловким шагом ушел за строй. Откуда-то выскочили человек пять солдат и окружили Байгузина. Один из них, барабанщик, остался в стороне и, подняв кверху правую руку с палкой, глядел выжидательно на батальонного командира.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее.

Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустил на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги. Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего: «Раз!» Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал: «Два!» Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства, – никакой мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения; всего мучительнее было для него – не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял, и за что его бьют – не знает толком; он пришел на службу, наслушавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. Первым его движением после сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было – бежать к родным белебеевским нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища. Из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку: отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились, и опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам.

– Що ж, – говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие, несуразные жесты, – разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в укусе выпаривали... От, дали б мне того татарина, я б ему показал эти голенища! А то не дерут, а щекочут.

У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще больше раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо:

– Вы уже сказали раз эту гадость и... и... не трудитесь повторять!.. Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!

Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами.

– Вы, верно, молодой человек, нездоровы? Чего вы ко мне прицепились?

– Чего? – закричал визгливо Козловский. – Чего?.. А того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите...

Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдясь своих слез...

## Славянская душа

Чем дальше я углубляюсь памятью в прошлое и дохожу, наконец, до событий, сопровождавших мое детство, тем сбивчивее и недостовернее становятся мои воспоминания. Много, вероятно, было мне рассказано впоследствии, в более сознательное время, теми, кто со вниманием и любовью наблюдал мои первые шаги; многого со мною и не было вовсе, а, слышанное или читанное когда-то, оно слишком тесно приросло к моей душе. Кто поручится, где в этих воспоминаниях кончается фактическая сторона, где начинается давнишняя, обратившаяся в непривычную истину сказка и где, наконец, граница, на которой та и другая так причудливо мешаются?

Особенно ярко в моем воображении оригинальная фигура Яся и двух его товарищей – даже, скажу больше, друзей – на жизненном пути: Мацька – старого кавалерийского бракованного мерина – и дворовой собаки Бутона.

Ясь отличался серьезной медленностью в словах и поступках и всегда имел вид человека в самом себе сосредоточенного. Говорил он очень редко, взвешивая сказанное; речь свою старался сделать русской и только в минуты сильных душевных движений прорывался малорусскими ругательствами и целыми фразами. Благодаря платьям степенного покроя и темных цветов, благодаря торжественному, немного унылому выражению бритого лица со значительно поджатыми тонкими губами он производил впечатление дворового человека старого доброго времени.

Изо всего рода человеческого, кроме самого себя, Ясь, кажется, только моего отца и удостоивал своим уважением. К нам же, детям, к маменьке и ко всем, как своим, так и нашим знакомым, он относился хотя и почтительно, но с оттенком некоторого жалостливого и презрительного снисхождения. Из какого пункта воздвигалась его непомерная гордость – было всегда для меня загадкой. Бывает, что слуги с известною наглостью одеваются в часть того обаяния власти, которое исходит от их господ. Но отец мой, бедный доктор в еврейском местечке, жил так скромно и тихо, что уж никак не мог подать Ясю повода смотреть свысока на окружающее. Не было у Яся также ни одного из обыкновенных мотивов лакейской наглости: ни столичного лоска с иностранными словцами, ни самоуверенной неотразимости у окрестных горничных, ни сладкого искусства брэнчать на гитаре трогательные романсы, искусства, уже загубившего столько неопытных сердец. Свободные от занятий часы он проводил, лежа в полном бездействии на своем сундуке. Книг Ясь не только не читал, но искренно презирал их. Все прочитанное, кроме Библии, было, по его мнению, написано не по правде, а «вид себе», для того только, чтобы деньги выдуривать, а потому всякой книге Ясь предпочитал те свои длинные, тягучие мысли, которые он переворачивал во время долгого лежания на сундуке.

Мацька исключили из военной службы за многочисленные пороки, в числе которых самым главным была его старость, дошедшая до возмутительных размеров; кроме того, передние ноги были у него согнуты вследствие опоя и в местах соединения с туловищем украшались мешкообразными приростами, а задними он «петушил» на ходу благодаря старинному шпату. Голову с верблюжьим профилем, по старой военной привычке, он драл кверху, выставя вперед острый кадык, и это, вместе с громадным ростом, необыкновенной худобой и отсутствием одного глаза, придавало ему вид воинственно-жалкий и комически серьезный. Таких коней, задирающих на ходу голову вверх, зовут в полках «звездочетами».

Мацько со стороны Яся пользовался гораздо большим уважением, нежели Бутон, который иногда проявлял несвойственную своему возрасту легкомысленность. Это был один из тех больших длинношерстных и лохматых псов, которые отчасти напоминали крысоловку, увели-

ченную в десять раз, отчасти пуделя, а по природе суть самые породистые дворняжки. Дома Бутон отличался отменной серьезностью и рассудительностью во всех поступках, но на улице держал себя положительно неблагопристойно. Если он отправлялся с отцом, то не бежал скромно сзади экипажа, как это делают в подобных случаях порядочные псы. Он кидался на всех встречных лошадей, подпрыгивал с громким лаем к самым их мордам и только тогда пугливо отскакивал в сторону, если одна из них с тревожным храпом нагибала быстро шею, чтобы схватить зубами нахала. Он забирался в чужие дворы и через несколько секунд кубарем выкатывался оттуда, преследуемый десятками озлобленных собак. Он заводил, наконец, самые темные знакомства с псами, давно приобретшими низменную репутацию.

У нас в Подолии и на Волыни ничто человеку не сообщает такого шика, как выезд. Иной помещик давным-давно заложил и перезаложил имение и ждет со дня на день посещения судебного пристава, но если он в воскресенье едет «до свентего костела», то непременно в легком тарантасике, запряженном цугом четвермя, а то и шестью прекрасными, горячими польскими лошадьми и, въезжая на главную площадь местечка, обязательно прикажет кучеру: «Паль с бича, Юзеф». Я уверен, однако, что ни одному из богатых окрестных панов не подавали с таком помпой его выезда, как это делал Ясь, когда отец собирался куда-нибудь. Во-первых, сам Ясь надевал высокий клеенчатый картуз с четырехугольным козырьком и широкий желтый пояс. Затем Мацько, запряженный в рессорный рыдван времени процветания Речи Посполитой, отводился шагов на сто от дома. Едва отец показывался на крыльце, Ясь торжественно палил с бича; Мацько некоторое время в раздумье вертел хвостом и потом трогался степенной рысцей, вскидывая и поднимая задние ноги высоко, как петух. Равняясь с крыльцом, Ясь делал вид, что с трудом сдерживает нетерпеливых лошадей, и изо всех сил вытягивал вперед руки с вожжами. Все его внимание было поглощено лошадьми, и, что бы ни произошло вокруг, Ясь не повернул бы головы. Вероятно, все это делалось для поддержания нашей фамильной чести.

Вообще о моем отце Ясь был чрезмерно высокого мнения. Случалось, что какому-нибудь бедному еврею или крестьянину приходилось дожидаться своей очереди в передней, пока отец занимался с другими больными. Ясь часто заводил с ним разговор, клонившийся единственно к расширению докторской популярности отца.

– Ты что думаешь? – спрашивал он, приняв на табуретке независимую позу и оглядывая с ног до головы почтительно стоявшего перед ним пациента. – Ты, может быть, думаешь, до волостного писаря пришел или до станowego? Мой пан, братику, не только повыше станowego, а главнее самого исправника будет. Он, братику, все знает на свете. Вот как. У тебя что болит?

– У меня шо-сь у середке болыть, – сконфуженно мялся больной, – и у грудях пече...

– Ну, вот видишь. А отчего? Чем ее пользовать? Ты не знаешь, и я не знаю. А пан на тебя поглядит только, – так сейчас и скажет, чи ты будешь жив, чи помрешь.

Жил Ясь очень бережливо и все свои деньги употреблял на покупку разных хозяйственных вещей, которые он бережно укладывал в своем большом сундуке, окованном жестью. Ничто нам, детям, не доставляло такого удовольствия, как позволение Яся присутствовать при переборке этих вещей. Изнутри крышка сундука была оклеена картинами самого разнообразного содержания. Тут, рядом с грозными отечественными генералами в зеленых усах, помещались: и хождение души по мытарствам, и гравюра из «Нивы», изображающая этюд женской головки, и Соловей-разбойник на дубу, старательно раскрывающий правый глаз навстречу стреле Ильи Муромца. Затем из сундука последовательно выгружалась коллекция пиджаков, жилетов, полушубков, бараньих шапок, чашек и блюдец, проволочных коробок, украшенных бисером и тафтяными цветочками, и маленьких круглых зеркалец. Нередко из бокового отделения сундука вынималось яблоко или пара маковников, которые для нас всегда казались особенно вкусными.

Ясь вообще был очень аккуратен и старателен. Однажды он разбил большой графин от воды, и отец сделал ему выговор. На другой день Ясь явился с двумя целыми графинами. «Все равно, может быть, я и еще разобью, – пояснил он, – а в доме все-таки не лишнее». В комнатах он сам завел и постоянно поддерживал образцовую чистоту. Он ревниво оберегал свои права и обязанности и был глубоко убежден, что никто не сумеет лучше его вычистить полов. Как-то между Ясем и новой горничной, Евкой, возник горячий спор, кончившийся состязанием на то, кто лучше и чище уберет комнаты. Мы были приглашены, как эксперты, и, из желания немного посердить Яся, отдали пальму первенства женщине. Мы, дети, по незнанию человеческой души,

и не подозревали, какой удар нанесли Ясю своим жестоким решением. Он ушел, не сказав ни слова, и на другой день всем в местечке стало известно, что Ясь запил.

Это случалось с ним приблизительно раз в два-три года и составляло как его, так и всей нашей семьи несчастье. Некому было ни нарубить дров, ни напоить лошадь, ни принести воды. Пять или шесть дней мы не видели Яся и не слышали о нем. На седьмой день он явился без картуза и чемерки, страшный, растрепанный. За ним, шагах в тридцати, следовала галдящая толпа евреев. Мальчишки кричали и кривлялись. Все знали, что сейчас будет происходить аукцион. Действительно, через минуту Ясь выбегал из дома на улицу, держа в руках почти все содержимое заветного сундучка. Толпа немедленно окружала его.

– Как? Вы мне водки не даете? – кричал Ясь, потрясая брюками и жилетами, нанизанными на руках. – Що? У меня денег нема? А это що? А це? А це? Це?

И в толпу одни за другими летели его одежды и подхватывались десятками хищных рук.

– Сколько даешь? – кричал Ясь какому-нибудь еврею, завладевшему пиджаком. – Сколько даешь, кобылячья твоя голова?

– Ну-у-у? Пятьдесят копеек я могу дать, – говорил еврей, прищуривая глаза.

– Пятьдесят? Пятьдесят?! – Отчаяние Яся доходило до крайних пределов. – Не хочу пятьдесят! Давай двадцать копеек! Давай злот! Это що? Утиральники? Давай за все гривенник. Щоб вам очи повылазили! Щоб вас болячка задушила! Щоб вы маленькими булы здохлы!

Полиция в нашем местечке есть, но все ее обязанности заключаются в том, чтобы крестить у «хозяев» детей, и в подобных случаях она, не принимая никакого участия в беспорядке, играет скромную роль гостя без речей. Отец, видя расхищение Ясиного имущества, не выдерживал более своего гневного презрения (напился, мол, идиот, и пусть теперь разделяется) и самоотверженно кидался в галдящую толпу. Через секунду на сцене только и оставались: Ясь и отец, державший в руках какую-нибудь жалкую бритвенницу. Ясь несколько минут качался от изумления на месте, высоко и беспомощно подымая кверху брови, и вдруг грохался на колени.

– Пане! Пане мой коханий! Что ж ото воны мини зробыли! Пане мой коханий!..

– Иди в сарай! – сердито приказывал отец и отталкивал от себя Яся, который хватал и целовал полы его сюртука. – Иди в сарай, проспись! И чтобы духу твоего завтра же здесь не было.

Ясь покорно отправлялся в сарай, и тогда для него начинались мучительные часы похмелья, отягченные и усугубленные муками раскаяния. Он лежал на животе, подперев голову ладонями и устремив глаза в одну точку перед собой. Он отлично знал, что теперь происходит дома. Ему ясно представлялось, как все мы просим у отца за Яся и как отец нетерпеливо отмахивается от нас руками. Ясь отлично знал, что уже на этот раз отец наверно останется, непреклонным.

Иногда, прислушиваясь из любопытства у дверей сарая, мы различали доносившиеся оттуда звуки, – странные звуки, похожие на рычание и всхлипывание.

В эти минуты падения и скорби Бутон считал своим нравственным долгом навестить страждущего Яся. Умный пес отлично понимал, что в обыкновенное, трезвое время Ясь не допустил бы с его стороны даже намек на фамильярные отношения. Поэтому всегда, встречаясь во дворе с суровым слугою, Бутон делал вид, будто бы он что-то внимательно разглядывает вдаль, или озабоченно ловил ртом пролетающую муху. Одно обстоятельство меня всегда удивляло. Мы часто ласкали и порою кормили Бутона, вытаскивали у него из шерсти колючие репяхи, что он мужественно и безмолвно переносил, несмотря на очевидные страдания, даже целовали его в холодный, мокрый нос. И, однако, все симпатии и привязанности его целиком принадлежали Ясю, от которого он, кроме пинков, ничего не видел. Увы, теперь, когда жестокий опыт учит меня заглядывать во всем и наизнанку, я начинаю подозревать, что источник Бутонской привязанности вовсе не был так загадочен; все-таки не мы, а Ясь приносил ежедневно Бутону миску послеобеденных остатков.

В мирное время, повторяю, Бутон ни за что не рискнул бы так непосредственно обратиться к чувствам Яся. Но в дни покаяния он смело заходил в сарай, садился рядом с лежащим Ясем и, глядя в угол, вздыхал глубоко и сочувственно. Если это не помогало, Бутон начинал лизать сначала робко, потом все смелее и смелее руки и лицо своего покровителя. Кончалось тем, что Ясь, рыдая, обхватывал Бутона за шею; Бутон принимался потихоньку подвывать ему, и вскоре они сливали свои голоса в странный, но трогательный дуэт.

На другой день Ясь являлся в комнаты чуть свет, мрачный и не смеющий поднять глаз.

Полы и мебель доводил он до блистательной чистоты к приходу отца, при одной мысли о котором Ясь трепетал. Но отец оставался неумолим. Он вручал Ясю паспорт и деньги и приказывал немедленно очистить кухню. Мольбы и клятвы оказывались тщетными. Тогда Ясь решался на крайнее средство.

– Так, значит, кажете мне, пане, уходить? – спрашивал он дерзко.

– Да. И немедленно.

– Так вот не уйду же. Теперь вы гоните, а без меня пропадете все, как тараканы. Не пойду, тай годи!

– С полицией выведут.

– Выведут меня?.. – возмущался Ясь. – Ну и пусть выводят. Пусть весь город видит, что Ясь двадцать лет служил верой и правдой, а его за это при полиции в буцыгарню тянут. Пусть выводят. Не мне будет стыдно, а пану!

И действительно, Ясь оставался. Угрозы от него отскакивали без воздействия. Не обращая на них ни малейшего внимания, он работал без усталости, работал преувеличенно много, стараясь наверстать потерянное время. Вечером он не шел спать в кухню, а ложился в стойле около Мацька, и конь всю ночь стоял, растопырив ноги и боясь переступить ими. Через несколько дней жизнь Яся вступала медленно в прежнее русло. Отец мой был добродушный и ленивый человек, которого совершенно подчиняли себе привычные условия, люди и вещи. К вечеру он прощал Яся.

Собою Ясь был красавец – брюнет украинского меланхолического типа. Девки и молодницы заглядывались на него, хотя ни одна, пробегая перепелкой по двору, не рисковала кокетливо ткнуть Яся в бок кулаком или вызывающе улыбнуться: слишком много в нем было надменного, ледяного презрения к прекрасному полу. И сладости семейного очага также мало прельщали его. «Как эта самая баба заведется в хате, – говорил брезгливо Ясь, – так сейчас воздух дурной пойдет». Впрочем, и то один только раз, он сделал попытку в этом направлении, причем ему суждено было удивить нас более, чем когда-либо.

Однажды, когда мы сидели за вечерним чаем, Ясь вошел в столовую совершенно трезвый, но с взволнованным лицом и, таинственно указывая через плечо большим пальцем правой руки на дверь, спросил шепотом:

– Можно «им» войти?

– Кто там такой? – спросил отец. – Пусть входит. Мы все с ожиданием устремили глаза на дверь, из которой медленно выползло странное существо. Это была женщина лет пятидесяти с лишним, в лохмотьях, избитая и бессмысленная.

– Благословите нас, пане, вступить в брак, – сказал Ясь, опускаясь на колени. – Становись, дура, – крикнул он на женщину и потянул ее грубо за рукав.

Отец с трудом пришел в себя от изумления. Он долго и горячо толковал Ясю, что надо сойти с ума, чтобы жениться на такой твари. Ясь слушал молча, не вставая с колен; бессмысленная женщина также не поднималась.

– Так не велите, пане, жениться? – спросил наконец Ясь.

– Не только не велю, – отвечал отец, – но я уверен, что ты этого не сделаешь.

– Значит, так и будет, – сказал решительно Ясь. – Вставай, дура! – обратился он к женщине. – Слышишь, что пан говорит? Ну, и пошла вон!

И с этими словами, держа неожиданную гостью за шиворот, он быстро скрылся вместе с нею из столовой.

Это была единственная попытка Яся на брачном поприще. Объяснял ее себе каждый различно, но никто не шел дальше догадок, а когда спрашивали об этом у Яся, он только досадливо отмахивался руками.

Еще таинственнее и неожиданнее была его смерть. Она произошла так внезапно и загадочно и так мало имела, по-видимому, связи с предшествующими событиями Ясиной жизни, что, поставленный в необходимость рассказать о ней, я чувствую себя не совсем ловко. Но все-таки я ручаюсь, что все мною рассказанное не только в самом деле было, но даже не прикрашено для яркости впечатления ни одним лишним штрихом.

Однажды на вокзале, находящемся в трех верстах от местечка, повесился в уборной какой-то проезжий – хорошо одетый и не старый господин. Ясь в тот же день попросил у отца

разрешения пойти посмотреть.

Часа через четыре он вернулся, прямо прошел в гостиную, где в это время сидели гости, и остановился у притолоки. Он только два дня как отбыл срок своего покаяния в сарае и был совершенно трезв.

– Что тебе? – спросила маменька.

– Гы-ы-гы! – захохотал внезапно Ясь. – Язык-то у него наружу вылез... у пана...

Отец прогнал тотчас же его на кухню. Гости поговорили немного о странностях Яся и скоро позабыли об этом маленьком случае.

На другой день, проходя в восемь часов вечера мимо детской, Ясь подошел к моей сестренке и обнял ее.

– Прощай, доня, – сказал он и погладил ее по голове.

– Прощай, Ясь, – ответила сестра, не подымая головы от куклы. Через полчаса к отцу в кабинет вбежала Евка, бледная, трясущаяся.

– Пανε... там... на чердаке... зависився... Ясь. И упала.

На чердаке висел на тонком шпагате мертвый Ясь. Когда следователь допрашивал кухарку, она показала, что в день смерти Ясь был очень странен.

– Станет он перед зеркалом, – рассказывала она, – сожмет себе горло руками, аж весь покраснеет, а сам язык высунет и глаза приплющит... Видно, все сам себе представлялся.

Так следователь и отнес причину смерти Яся к умственному расстройству. Когда похоронили Яся в специальном для этой цели овраге за рощей, то на другой день не могли отыскать Бутона. Оказалось, что верный пес убежал на могилу и лежал там и выл, оплакивая смерть своего сурового друга. А потом исчез без вести. Теперь, ставши почти стариком, я иногда перебираю свои пестрые воспоминания и, задерживаясь мыслью над Ясем, каждый раз думаю: какая странная душа, – верная, чистая, противоречивая, вздорная и больная, – настоящая славянская душа, жила в Ясином теле!

<1894>

## Аль-Исса

### Легенда

За несколько веков до рождения Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его изгладилось в истории, даже священные Веды не упоминают о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые и бесстрашные люди, пришли с далекого Запада и в короткое время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и князья Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их землю. Они не знали ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их непобедимыми.

Этот могущественный народ поклонялся живому существу – женщине, которая называлась богиней смерти. Богиню смерти никто никогда не видал, кроме двух старейших жрецов. Они же и выбирали ее тайно из всех красивейших девочек, не достигших еще четырехлетнего возраста, воспитывали ее и чудесными, одним им открытыми способами доводили ее красоту до сверхъестественного совершенства. Когда умирала одна богиня смерти, на место ее двое жрецов возводили тотчас же другую, но об этом знали только они. Народ верил, что богиня бессмертна и красота ее неувядаема.

Раз в пять лет, ночью, она выезжала из своего храма на гигантской колеснице, закрытой со всех сторон и запряженной десятью белыми слонами. Ее встречал весь народ с пением священных гимнов, с зажженными факелами в руках. Восторг толпы доходил до бешенства. Рубили головы сотням рабов, многие истязали себя бичами и кривыми кинжалами, в исступлении бросались под колесницу богини, чтобы быть раздавленными слонами и колесами...

В одну из таких ночей жрецами и народом избирался для богини смерти муж. Только двенадцать часов был он ее мужем. Утром его на костре торжественно приносили в жертву, потому

что всякий, кто хоть раз увидел лицо богини, по законам подлежал немедленной смерти. И не смотря на это, каждые пять лет двенадцать славнейших юношей обрекали себя на служение страшной богине. Их ожидали такие тяжелые испытания, что предание насчитывает только четырех героев, удостоенных величайшей чести – умереть мужем богини смерти.

Аль-Исса был сыном знатного раджи. Пятнадцати лет он уже превосходил всех молодых людей смелостью, силой и красотой. Самая знатная и гордая красавица Индии сочла бы счастьем назваться его женой. Но Аль-Исса посвятил себя богине смерти.

Он должен был отказаться от семьи. Прикосновение к женщине считалось для него преступлением. Во всю жизнь он не смел ни улыбнуться, ни запеть песни... Война и атлетические упражнения были его единственными занятиями.

И Аль-Исса выдержал тяжелый искуc. Слезы матери и сестер не тронули его, когда он уходил из своего роскошного дворца. При встречах с женщинами он опускал глаза и далеко обходил лучших красавиц... Никто никогда не видал его смеющимся или преданным праздному разговору...

Зато скоро имя его стало приводить в ужас самых воинственных соседей. Без панциря, в одной легкой белоснежной одежде, он кидался в самую густую толпу неприятелей. Туловища, рассеченные от плеча к бедру, отрубленные головы, руки и ноги указывали его путь. Встреча с ним была неминуемой смертью, и закаленные враги бежали перед ним, как стада овец, с криками: «Аль-Исса! Аль-Исса!..»

Если не было войны, он проводил время на охоте за дикими кабанами и тиграми. Вода из лесного ручья и кусок хлеба служили ему пищей, седло – изголовьем.

Наконец, через три пятилетия, в один из тех дней, когда выезжала на колеснице богиня смерти, глашатаи объявили народу имя Аль-Исса.

Несметная толпа еще с утра стекалась на огороженную стеною площадь перед храмом, где Аль-Исса ожидали последние испытания. Его имя было у всех на устах. Все знали, что сама богиня смерти, не видимая никем, смотрит теперь из тайной амбразуры храма на площадь.

Отмерили расстояние в двести локтей, вбили в землю щит с пятью воткнутыми в него стрелами и дали Аль-Исса громадный лук... И Аль-Исса при громких криках восторга расщепил своими пятью стрелами пять стрел на щите.

Потом вооружили Аль-Исса кривым кинжалом и на площадь выпустили голодного, разъяренного бенгальского тигра.

Аль-Исса на глазах всего народа, истерзанный страшными когтями, обливаясь кровью, перерезал горло свирепому хищнику и наступил ногой на его труп...

Наконец толпа расступилась, и Аль-Исса подвели злого варварийского жеребца. Дикая, черный, с пламенными ноздрями, он еще никогда не носил на своей спине оскорбительного бремени. Шестеро конюхов едва удерживали его. Он злобно визжал, водил вокруг огненными глазами и дрожал своей атласной кожей.

Аль-Исса спокойно подошел к нему и взялся за холку. Конюхи разбежались. Народ в ужасе и смятении бросился в стороны... В один миг Аль-Исса уже сидел на коне. Сначала гордое животное только тряслось от злобы и оскорбления... Через минуту конь и всадник скрылись из глаз народа.

Прошел целый час томительного ожидания, когда, наконец, вдали показался Аль-Исса на взмыленном и покрытом пылью коне. Варварийский жеребец шатался от усталости, но был послушен Аль-Исса, как ручная овечка.

Испытания Аль-Исса кончились.

В полночь его, одетого в драгоценные одежды, умащенного ароматами Востока, отвели в храм и оставили одного. Он слышал на улицах рев народа, все более и более приближающийся к храму. Это богиня объезжала город на своей колеснице, запряженной белыми слонами.

Потом в храм вошли два верховных жреца – столетние старцы с волосами белыми, как снег. Жрецы опустились перед Аль-Исса на колени, облобызали его ноги и потом, взявши за руки, повели в святилище. Там среди фантастической восточной роскоши возвышалось золотое ложе... Курильницы благоухали ароматами Аравии и Персии... причудливые фонари лили волшебный свет...; в золотых клетках качались пестрые священные птицы, шелковые ткани тяжелыми складками одевали стены...

Жрецы безмолвно удалились, закрыв лица руками. Аль-Исса ожидало блаженство и через двенадцать часов – мучительная смерть.

Где-то далеко за стеной раздалось нежное и сладостное пение женского хора. Массивные двери слоновой кости распахнулись... и медленно вошла сама богиня смерти в длинных белых одеждах, окутанная покрывалом.

Аль-Исса кинулся к ней, дрожащими руками распахнул легкую ткань, закрывавшую лицо, и окаменел от ужаса и изумления...

Перед ним стояла дряхлая старуха, сморщенная, беззубая, со слезящимися глазами и потухшим взором.

## Куст сирени

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу – инструментальную съемку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...

– Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

– Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

– Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, – и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, – всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!

– Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

– Какое же пятно, Коля? – спросила она еще раз.

– Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать – и посадил пятно... Да еще густое такое пятно...



жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, – аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

– Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

– Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...

Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

– Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

– Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

– Нет, не глупости, – возразила Вера, топнув ногой. – Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

– Посадить?.. Кусты?.. – вытаращил глаза Николай Евграфович.

– Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, – надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку. Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

– Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.

– Едем, – сказала она наконец решительно.

– Но куда же мы поедем? – пробовал протестовать Алмазов. – Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

– Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

– Да ведь это настоящий брильянт, – возмущалась Вера, – он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

– Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, – сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, – мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что сидел со своей семьей за ужином. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

– Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром – то я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

– Ну, делать нечего, – согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, – скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости, и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

– Хорошо! Прекрасно! – крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женова лица. – Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» – спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». – «Березка, должно быть?» – говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания – просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности – удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...

И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, – муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

– Ты – чему? – спросила Вера.

– А ты чему?

– Нет, ты говори первый, а я потом.

– Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

– Я тоже глупости, и тоже – про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...

<1894>

## Негласная ревизия

Иван Петрович был еще сравнительно молод, но уже в достаточной степени строг и справедлив. Всегда безукоризненно и солидно одетый, с серьезным лицом, украшенным модною бо-

родкой-клинушкой, с бесстрастным взглядом холодных глаз, с почтительной, хотя и твердой речью – он был гордостью начальства, надеждою всего департамента.

Этому многообещающему молодому человеку недоставало только эффектного случая, чтобы окончательно завоевать будущее, но так как он находился под особенным покровительством судьбы, то и случай не замедлил представиться. Его превосходительство пришел однажды в департамент мрачнее тучи и быстрыми шагами проследовал в кабинет, таинственно кивнув по дороге головою Ивану Петровичу.

Иван Петрович вошел твердой поступью, с приятным и открытым видом, исполненным немедленной готовности. Начальство обвило его рукою за талию и полу дружески, полупокровительственно увлекло в амбразуру окна. Здесь оно с расстановкой надело пенсне, приподняло кверху брови, сделало нижней губой значительную мину и взяло двумя пальцами пуговицу сюртука своего подчиненного. Все эти признаки, ничего не значащие в глазах непосвященного, предвещали, однако же, что разговор примет несколько таинственный характер.

–...Мм... Видите ли, голубчик, – произнес генерал внушительным тоном, – вам предстоит очень серьезное поручение... Пусть оно будет вашим, так сказать, э... как это называется?.. Ну, подводным камнем, что ли?

Иван Петрович понял настоящую мысль своего начальника и молча поклонился.

– Получил я на днях анонимное письмо. Извольте взглянуть... Раскрывают злоупотребления... Вы понимаете, каково наше положение? С одной стороны, нельзя без внимания оставить, но ведь и гласности предать невозможно. А? Напишешь, да потом и сам не рад будешь, как всякая гадость на свет божий полезет. Вы понимаете, в этом деле так, с бухты-баряхты нельзя ведь; нужно уметь... э... как это называется?..

– Лавировать, ваше-ство?

– Именно, именно... Вот вы и поезжайте... Не то чтобы официально, а, так сказать, негласным образом... Ну, да вы сами знаете, как там... Письмецо это с собой захватите на всякий случай!.. В нем довольно обстоятельно все изложено...

Иван Петрович поехал. Путешествие было продолжительное, и он имел довольно времени, чтобы обдумать план предстоящих действий. В душе он очень одобрял начальство за то, что оно именно ему, а не кому другому, поручило это щекотливое дело. Это не докладную какую-нибудь составить: приходится лавировать между оглаской и правосудием. Иван Петрович в подобных случаях незаменим (по правде сказать, это был первый случай в его жизни, потому что он очень недавно вышел из одного привилегированного заведения). Он наблюдателен и неподкупен. В сущности, ведь каждого человека подкупить легко: иного разжалобишь тем, что прикинешься дурачком, другого смягчишь обедом и партией винта, третьего собьешь с толку апломбом. Иван Петрович неподкупен. Он сдержан, сух, отлично знает человеческую натуру, и его провести не так-то легко. Ему, конечно, нет никакого дела до этого Персюкова, который не показывал к зачету какие-то там переходящие суммы; главное – восстановить нарушенную идею справедливости и порядок.

Правда, в предстоящем деле придется проверять какие-то книги и суммы. Это тоже неприятная сторона поручения. Иван Петрович слышал, что есть на свете двойная и итальянская бухгалтерия, слышал также, что слово «*транспорт*» пишется внизу страницы и подчеркивается толстой чертой, но дальше его сведения по этой части не простирались. И разве это так уже важно? Вовсе нет. Нужно только суметь сразу взять этого таинственного незнакомца, Персюкова, в руки, ошеломить его сухостью, величественным беспристрастием, и он сам покажет, что нужно. Что ни говорите, а знание людей – громадное преимущество в руках того, кто им умеет пользоваться.

Таким образом, первые сутки дороги Иван Петрович был только справедлив, но на вторые благодаря тряске и утомлению он стал и озлоблен. Неизвестный Персюков сделался его личным врагом, подлежащим немедленному и самому жестокому распеканию.

Наконец поезд остановился. Иван Петрович взял свой изящный чемоданчик (он не любил тратиться на то, что мог сделать сам), надел пенсне и, изобразив на лице совершенно такую же значительную мину, какую он привык видеть ежедневно на лице своего генерала, вышел на платформу.

Он не успел еще пройти десяти шагов, когда за ним послышался чей-то голос:

– Если не ошибаюсь, Иван Петрович?

И удивленный Иван Петрович не успел обернуться, как тот же голос продолжал:

– Имею честь представиться: Персюков.

Голос был сладкий, умиленный и в то же время и решительный. Иван Петрович увидел перед собою грузную, мужественно нескладную фигуру и квадратное лицо, украшенное носом в самом отечественном стиле – в виде хорошего картофеля. Толстые губы складывались в заискивающую улыбку, а глаза смотрели из-под нависших верхних век умно и пытливо.

– Не узнаете меня? – продолжал между тем Персюков, завладев рукою Ивана Петровича и горячо пожимая ее. – А ведь мы с вами однажды в Петербурге встретились.

– Извините, пожалуйста, но я положительно не помню...

– Ах, как же что? Молодой человек, а память вам изменяет! Я имел удовольствие встретить вас если не у Трухачевых, то, уже во всяком случае, у Протопоповых.

Хотя «*молодой человек*» порядком покоробил Ивана Петровича, но на всякий случай он счел не лишним изобразить на своем лице нечто вроде приятного изумления. «Черт его знает, может быть, и в самом деле встречались».

Натиск, произведенный на него врагом, был так неожидан, так не согласовался со всеми теоретическими правилами ведения войны, что Иван Петрович был быстро сбит с точки. Инициативой действия и нравственным верхом самовольно завладел, и, надо сознаться, завладел довольно грубо, предприимчивый Персюков.

Долговязый малый в синем казакине со шнурами и лампасами принял из рук Ивана Петровича его багаж, а через две минуты и сам Иван Петрович сидел рядом с Персюковым в легких санках, которые мчала пара великолепных серых рысаков, покрытых синей сеткой.

Персюков заливался соловьем; оказывается, что он выехал на вокзал нынче совершенно случайно, «проветриться». Он очень рад, что имеет возможность избавить уважаемого Ивана Петровича от неприятной необходимости мерзнуть на почтовых.

Уважаемый Иван Петрович больше молчал. Его всегда несколько тошнило от быстрой езды. Он кутался в поднятый воротник пальто и внутренне пилил себя. Во-первых, на приветствие Персюкова ему следовало ответить как можно суше и уже ни под каким видом руки не подавать. Во-вторых, он недоумевал, каким образом все это так быстро случилось и у него не нашлось ни одного слова, чтобы «*осадить*» и «*обрезать*». В нежном тоне и в любезных манерах Персюкова было что-то до того уверенное и определенное, что ему сопротивляться было положительно невозможно. Иван Петрович махнул рукой и предал себя мысленно судьбе.

Кучер сдержал великолепных рысаков перед домом Персюкова. Дом был небольшой, очень скромный, без претензии на шик, но, видимо, построенный согласно с требованиями разумного и долговечного комфорта, как строились в старое доброе время барские дома.

Персюкова внезапно осенила счастливая мысль.

– Знаете что, – обратился он трогательно умильным голосом к Ивану Петровичу, – может быть, вы у меня немного передохнете после дороги?..

– Нет, нет, покорнейше вас благодарю, – энергично запротестовал Иван Петрович, мне никак нельзя... у меня там... дела разные.

Это была последняя его попытка заявить свою самостоятельность. Персюков так сладко и так решительно настаивал, что опять пришлось подчиниться. Несмотря на все отказы и извинения, Иван Петрович был почти снят с саней и введен в дом, причем его поддерживали под локти: с одной стороны хозяин, а с другой – долговязый малый в синем казакине, несший чемодан.

– Милости прошу в мою берлогу, – сказал Персюков, введя своего гостя в небольшую, уютную комнату. – Вы на меня не будете в претензии, если я вас на одну минуточку оставлю?

Он вышел. Оставшись один, Иван Петрович внимательно оглядел «берлогу». Комната была обставлена умело и со вкусом и, как видно, с большими средствами. Дорогая мебель красного дерева, обилие редких растений, несколько приличных масляных картин придавали ей солидный тон.

Иван Петрович теперь начинал сознавать, что преувеличенная любезность Персюкова, продолжительное его отсутствие – словом, все клонится к тому, чтобы окончить дело обедом. Положим, он мог этого избежать: стоит только взять шапку и уйти. Но раз уже сделан целый ряд ошибок – одна лишняя вовсе не имеет особенного значения. Это рассуждение тем более успока-

ивало Ивана Петровича, что он начинал уже чувствовать порядочный голод. Он бы, пожалуй, и совсем успокоился, если бы его не мучил трудно разрешимый вопрос: действительно ли приехал Персюков на вокзал случайно или его кто-нибудь раньше уведомил?..

Через несколько минут показался в дверях хозяин в сопровождении высокой пышной брюнетки.

– Позвольте вас познакомить с моей женой...

Иван Петрович поклонился так, как всегда кланялся с дамами: одной головой, не сгибая спины. Этот поклон выходил очень красиво у одного знакомого ему кавалергарда.

– Мне при первом же знакомстве приходится перед вами извиниться, – сказал он с обычной ему в этих случаях серьезной вежливостью. – Я только что с дороги...

– И вам совсем не в чем извиняться, – возразила она. – По-моему, чем проще, тем лучше. Помните только, что вы не в Петербурге, а в гостеприимной провинции...

Она засмеялась. Голос у нее был грудной, низкий, очень приятный, а смех звучный и заразительный, но без всякой вульгарности. Перебрасываясь незначительными фразами с Иваном Петровичем, она не спускала с него глаз, и по этому взгляду, любопытному и приветливому, немного ласкающему, он заключил, что произведенное им впечатление было самое благоприятное.

Между тем исчезающий поминутно Персюков опять появился в комнате и пригласил обоих к столу.

– Не обессудьте за скромную трапезу, – говорил он, заставляя с почтительной фамильярностью пройти в двери первым Ивана Петровича, который немного стеснялся.

Теперь, впрочем, Иван Петрович сопротивлялся совсем слабо. *Скромная трапеза* состояла из жареных устриц, бульона с какими-то удивительными пирожками, таявшими во рту, холодной осетрины, дичи и замечательной толстой белой спаржи. Стол был сервирован безукоризненно, и на нем, несмотря на зимнее время, красовался большой букет гелиотропов, «из собственной оранжерейки», как пояснил потом, самодовольно улыбаясь, Персюков. За столом прислуживал благообразный лакей, не в нитяных, а в свежих замшевых перчатках. Вина подавались тонкие и дорогие, не из тех хересов помадеристее, которые так любит хлебосольная и падкая на разноцветные ярлыки провинция, но настоящие, выдержанные французские вина. С каждым глотком душистой влаги Иван Петрович чувствовал, как в груди его таяло справедливое негодование и умолкали грубые перуны.

Разговор за обедом весьма естественно вертелся около железнодорожных путешествий и приключений. Это дало возможность Ивану Петровичу рассказать несколько интересных эпизодов из своей прошлогодней поездки за границу. Он умел рассказывать очень недурно и не без юмора, но, как все большие себялюбцы, оживлялся только тогда, когда говорил о самом себе.

По тому, как его слушали, сказывалась разница между мужем и женой. Персюков слушал рассеянно: то с преувеличенным вниманием, то совсем не слушал, поглощенный какими-то мыслями. Если Иван Петрович обращался к нему лично, то он суетливо поддакивал или смеялся и тотчас же добавлял:

– А вот попробуйте-ка этого лафита. Как вы находите, есть букет?

Валентина Сергеевна не перебивала его ни одним словом; когда он обращал голову по ее направлению, она поднимала глаза от тарелки и внимательно глядела в его глаза, изредка переводя их на губы, что, в свою очередь, тотчас же невольно делал и Иван Петрович. Это его смущало, но в то же время было ему почему-то приятно. Когда она смеялась – смех сначала загорался в ее глазах, а потом уже трогал губы, что очень шло к ней и придавало улыбке интимный оттенок.

Обед кончился. Валентина Сергеевна предложила пить кофе в другой комнате.

– Вот мой любимый уголок, – сказала она, показывая на место около камина.

Камин, около которого стояла удобная козетка и два кресла, совсем был отгорожен от всей комнаты: с одной стороны – пианино, с другой – широколиственными, раскидистыми пальмами и трельяжем из какого-то вьющегося растения. В этот уголок был подан кофе, ликер и ящик с сигарами.

Иван Петрович, неподкупная совесть которого уже теперь не заявляла о своем существовании, глубоко уселся в кресло, втянул полусжатыми губами несколько капель густого, захва-

тывающего дух ликера, посмаковал его на языке и принялся медленно, со знанием дела обрезать дорогую сигару.

Зимний вечер заметно темнел. Красный свет камина трепетал на полу, на зеркалах, на потолке; длинные, причудливые тени от пальм дрожали и перепутывались; вместе с теплом сладкая лень охватила тело.

Иван Петрович провел сигарой под носом и вдохнул расширенными ноздрями ее ароматный дым. Присутствие красивой женщины, которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше, вместе с блаженным состоянием послеобеденного покоя совсем его размягчили.

– Удивительное дело, – сказал он медленным голосом, – ничто так не сближает людей, как камин и полутьма. Отчего это?

Персюкова совсем не было видно в тени между растениями. При последних словах он нагнулся, чтобы наполнить рюмку Ивана Петровича и поглядеть мимоходом на его лицо. Взгляд был внимательный, испытующий, как у осторожного доктора, который прописал больному новую микстуру и наблюдает за ее действием. Однако он ничего не сказал, опять ушедши в тень пальм.

– Я думаю, это оттого, – отвечал сам себе Иван Петрович, – что у всех сидящих вместе у камина одно и то же настроение. Мирное такое, задумчивое, немного грустное, может быть...

– Домашние пенаты незримо присутствуют, – отозвался откуда-то голос Персюкова.

Иван Петрович повернул голову и даже прищурился, но из света не разглядел Персюкова, сидевшего в темноте.

– Может быть, и пенаты, – согласился он. – А главное – это обстановка. На дворе ни светло, ни темно; по-польски это называется «шара година» – очень удачное выражение, по-моему. В комнате пахнет так хорошо (он понюхал воздух), немного духами, немного лаком и деревом от рояля. Тепло, полутьма, и дремлет, и вспоминается что-то, и куда-то манит, ждешь чего-то неизвестного...

Он остановился и поглядел на Валентину Сергеевну. Ему казалось, что она оценит его манеру говорить и опять проведет по его лицу своим ласкающим взглядом. Но она не шевельнулась, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками и закинутой на спинку козетки головой. Из всего ее лица ему видны были только ее рот и подбородок.

– Чего-то таинственного, поэтического хочется, – продолжал Иван Петрович, неотступно глядя на освещенную часть лица Валентины Сергеевны и думая в то же время о том, что наверно этот «бестия» Персюков следит за ним самим с таким же вниманием из своего темного угла. – Жаль, что я не знаю хороших стихов. Или тоже хорошо бы теперь слушать длинную чудесную сказку, но только верить ей, как, бывало, верилось в детстве.

Он замолчал. В комнате слышалось только слабое хрустение угольев.

Персюков вдруг быстро поднялся, тихо отодвинул свой стул и, мягко ступая по ковру, подошел к Ивану Петровичу.

– Вы меня простите, пожалуйста, Иван Петрович, – сказал он, – мне сейчас нужно съездить по одному делу.

– Скоро ты приедешь? – лениво спросила Валентина Сергеевна, не оборачивая головы.

– Не знаю, голубчик. Через час, может быть, через два. Дело уж очень спешное. Ты постарайся, чтобы Ивану Петровичу не было скучно... Я не прощаюсь...

Он вышел на цыпочках, тихо и плотно затворив за собою дверь.

Пока не стихли его шаги, ни гость, ни хозяйка не сказали друг другу ни слова. Ему казалось, что в этой тишине между ними устанавливается непреодолимая близость.

Она заговорила первая.

– Вот вы сейчас сказали, что пахнет лаком, и потом – про детство. Скажите, случалось с вами, что иногда какой-нибудь звук или запах вдруг вызовет целую картину из прошлого? Особенно яркие воспоминания, связанные с запахом. Знаете, когда я слышу запах этого самого свежего лака, мне сейчас же представляется такая картина: я еще совсем, совсем маленькая, лет семи или восьми, и стою в углу, лицом к стене. Может быть, я была наказана, не знаю. Стена покрашена коричневой краской, густо так... и я отдираю эту краску ногтем. Солнце в это время садится; на полу четырехугольные пятна от окон, совсем багровые... Откуда-то, неизвестно, пахнет не то лаком, не то яблоками. И вы не можете себе представить, как вдруг грустно сдела-

ется и хорошо... Точно жаль, что нельзя этого воротить... С вами бывает что-нибудь подобное?

Она обернула к нему голову лениво-грациозным движением. Глаза ее, только что оторвавшиеся от огня, еще не потеряли неопределенного, мечтательного выражения.

Иван Петрович только теперь вполне постиг и оценил красоту ее лица: бледного, чувственного и чрезвычайно нежного, с низким лбом и яркими губами...

У Ивана Петровича было тяжелое, грубое и однообразное детство, о котором он не любил никогда вспоминать. Но на вопрос Валентины Сергеевны он отвечал утвердительно и так живо и радостно, как будто бы она в нем возбудила самые дорогие воспоминания... Его почти бессознательно тянуло перевести разговор на почву неясных мыслей и тонких ощущений.

Опять, так же как и за обедом, их глаза встретились. Она закусила нижнюю губу; Ивану Петровичу опять стало неловко и приятно.

– Зачем вы смотрите так долго? – сказала вдруг Валентина Сергеевна шепотом.

Но сама она глаз не отвела; наоборот, в них загорелся вызывающий, дерзкий смех. И, внезапно рассмеявшись громко, она поставила свою ладонь между его и своими глазами и так близко к его лицу, что он ощутил ее душистую теплоту. Его сердце сжалось и дрогнуло. Он хотел поцеловать эту теплую ладонь, но не решился; когда же она отняла руку, он досадовал на себя, зачем этого не сделал. Камин начинал потухать. Красный полумрак становился гуще. С каждой минутой делалось все более жутко и приятно. Теперь нужно было или окончить эту неловкость, или совершенно отдаться минуте и случаю.

– А я не ожидал, что вы слышали мои слова, – сказал Иван Петрович, чтобы только нарушить напряженное молчание. – Мне показалось – вы, глядя на огонь, совсем ушли в себя.

Она перевела глаза на огонь, и лицо ее опять стало мечтательным.

– О нет, я вас внимательно слушала... Вы чуть-чуть не выразили одной моей любимой мысли... Только не досказали...

– Хотите, я теперь доскажу?..

– Нет, вы не угадаете... Это трудно. Ну, хорошо, говорите!

– Вы задумались над моими словами, что иногда хочется чего-то неизвестного... непохожего на повседневную прозу, что бы шло, может быть, вразрез... вразрез... ну, хоть даже с общественной моралью...

– А дальше?..

– Дальше? А вы мне скажите раньше, угадал я?

– Не совсем... Впрочем, я все равно теперь своей мысли не скажу... Все-таки, что же дальше? Ах, нет, нет, подождите, у меня на этот счет есть своя целая философия... Только я боюсь, что вам будет неинтересно...

Ему было настолько интересно, что он встал с кресла и сел рядом с ней на козетку.

– Видите ли... – начала Валентина Сергеевна быстро и немного волнуясь. – Но я боюсь за свой язык, совсем не умею им владеть... Видите ли: ведь никому не известно, что было с человеком до его рождения... Я вот закрываю глаза и стараюсь припомнить, что было раньше. И ничего, ничего нет, кроме вечной темноты. Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, не думаю. И вдруг, откуда-то, точно полоса света, жизнь. Я живу, понимаю, могу говорить, двигаться. Но ведь это все только на мгновение. Наступит старость, потом смерть... А потом? Опять та же неизвестность, опять, стало быть, тот же холод, то же ужасное «ничто». Для чего же это мгновение света? Кто мне растолкует его смысл? Что это? Случай? Ошибка чья-то? Недодуманность? Ведь не могу же я думать, что кто-нибудь подшутил над всем человечеством? Я читаю и слышу постоянно, что веемы, люди, одарены разумом и волей, и это нас связывает в братскую семью. Ах! Ничего этого я не вижу и не хочу признавать! Я вижу толпу, бессмысленную, раздавленную страхом смерти, толпу, которая судорожно цепляется за этот кусочек жизни и света... Мне самой становится страшно и противно!

Она замолчала и нагнула низко голову, приглядываясь к огню.

Иван Петрович следил за ее словами и движениями, точно наэлектризованный. Он видел, как высоко поднималась ее волнующаяся грудь, видел, как посреди полутьмы сверкало красное отражение огня в ее широко раскрытых глазах, как трепетали и раздувались ее тонкие, розовые от камина ноздри... Он заметил, как мягкие складки платья определяли форму всей ее стройной, крепкой ноги. Теперь в этой душной и теплой атмосфере, пахнувшей мускусом, вином, выпитое

Иваном Петровичем за обедом, сразу кинулось ему в голову.

Он заметил, что ее рука, слабо белевшая в темноте, небрежно лежала на козетке.

Почти бессознательно, робея и волнуясь, он положил свою руку рядом, так, что их мизинцы соприкоснулись.

«Заметила она или нет? Если отнимет руку, я извинюсь», – думал Иван Петрович.

– Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, – сказал он вслух, – вы меня очень заинтересовали.

– Если так ужасна смерть, – продолжала Валентина Сергеевна, – и так страшно коротка жизнь, зачем же я ее буду делать скучной и безрадостной? Я хочу веселья и смеха, – мне угрожают общественным мнением; я хочу наслаждения, – мне говорят про долг и про обязанности! Да для чего же все это? Кому нужна моя исполнительность перед этим самым долгом? Ну, представьте себе, что я иду куда-нибудь далеко пешком и несу за спиной тяжелый мешок с драгоценностями. По дороге я наверно узнаю, что у меня мой мешок завтра же отнимут. Ну, разве я не благоразумно поступлю, если я сброшу с плеч эту обузу, продам ее, расшвыряю деньги на ветер и хоть день, хоть час буду счастлива, как хочу?

Иван Петрович жадно ловил ее слова, переводя их тотчас же языком разговаривавшей в нем страсти. Он уже не сомневался, что аллегория о мешке заключала в себе некоторым образом «разрешение на свободу дальнейших действий». Удивительною казалась лишь головоломная быстрота, с которой приближалась развязка. «Что это? Каприз избалованной женщины? Мгновенная вспышка долго, может быть, сдержанного желанья?» – размышлял он, между тем как все его тело охватывала и сладко сжимала сердце тянущая истома, знакомая ему истома, похожая на страх и на ожидание. «Или это явление психоза, болезненного расстройства нервов? Или – один из тех случаев, когда женщины из минутной вспышки гнева и ревности делают то, в чем потом каются в продолжение всей жизни?»

Иван Петрович все сильнее прижимал ее мизинец; она руки не убирала.

– Значит... значит, вы верите только в наслаждение? – спросил он тихо, совсем замирающим голосом.

Темнота сделала его смелым и безумным. Он взял решительным движением ее маленькую, нежную и сильную руку и крепко сжал в своей руке. Она вздрогнула всем телом и сделала движение, чтобы вырвать руку, – он пожал ее вторично. Тогда внезапно она вся обернулась к нему и, отвечая порывистым пожатием, прошептала:

– Да, да, в одно наслаждение...

Иван Петрович также, в свою очередь, повторил это слово, но вряд ли теперь и он и она понимали, что говорили. Слова теряли свой смысл, оставались только звуки, произносимые страстным, волнующимся шепотом.

– А если вам мешают препятствия?

– Я их не знаю.

– Без них нельзя. Ну, скажите, например, что бы вы сделали, если бы вам кто-нибудь сильно понравился?

– Я заранее не могу сказать. Вероятно, поступила бы так, как велит сердце.

– Но вы замужем.

Она несколько секунд помолчала, и, когда заговорила, ее голос звучал глухо:

– Ведь мы окружены такою непроницаемою сетью выдуманных условий, что из них выбраться нет сил. И зачем об этом говорить? Зачем сопротивляться тому, что манит? Помните, у кого это?

Ах, люби меня без размышлений,  
Без тоски, без думы роковой,  
Без упреков, без пустых сомнений!

– Дальше, дальше, – просил Иван Петрович, когда она сразу замолчала, точно спохватившись, – ради бога, продолжайте.

Она вздохнула так глубоко и прерывисто, как будто ей не хватало воздуха, и кончила еле слышно, но выразительно оттеняя слова:



– Что здесь думать? Я твоя, ты – мой.  
Все забудь, все брось, мне весь отдайся!  
На меня так грустно не гляди!  
Разгадать, что в сердце, не пытайся!  
Весь ему отдайся – и иди!

Ее глаз ему не было видно; он хотел рассмотреть их выражение. Но, когда он совсем близко нагнулся к ней, аромат ее тела и духов опьянил его. Не помня себя, он обвил руками ее стан; сцепив пальцы с пальцами, притянул к себе ее тело и стал целовать ее губы, глаза, шею... Валентина Сергеевна в ту же секунду очнулась...

– Оставьте меня, пустите! – воскликнула она сердито и, как видно, с намерением громко. – Вы сошли с ума!

Ивана Петровича не испугали бы гневные слова. Он, как большинство мужчин, инстинктивно держался того мнения, что сопротивление делает только слаще триумф победителя, и, кроме того, был слишком взволнован для беспрекословного послушания. Но перемена, происшедшая в Валентине Сергеевне за какие-нибудь две секунды, просто ошеломила его. С лица сбегало выражение неги, оно стало сразу холодным и несколько грубым; голос, вместо ленивых бархатных нот, зазвучал холодно и крикливо... Он невольно опустил руки. Валентина Сергеевна тотчас же встала, подошла к двери и, приотворив ее, крикнула:

– Маша! Подайте огня!

Иван Петрович раздраженно пересел на свое кресло, поправляя распутившиеся волосы. Ему вдруг припомнился весь сегодняшний позорный день, и жгучая краска стыда прилила к его щекам.

«Околпачили, околпачили!» – твердил ему какой-то внутренний злорадный голос, и Иван Петрович молчал как убитый, не поворачивая головы, хотя и чувствовал на себе вопросительный взгляд Валентины Сергеевны.

Горничная внесла лампу, поставила ее на стол и вышла, скользнув любопытно-лукавым взглядом по обоим собеседникам.

Валентина Сергеевна, заслоняясь рукой от света, резавшего глаза, упорно глядела на Ивана Петровича, так что он невольно поднял голову. Ее лицо выражало тревогу. Он понял ее мысли, и напряженная, злая улыбка искривила его губы. Она нерешительно подошла к нему и дотронулась до его волос.

– Зачем вы сердитесь, если сами виноваты? Ну, а если бы кто-нибудь вошел?

Она хотела загладить свою, может быть, невольную жестокость.

Чувство стыда возрастало в несчастном Иване Петровиче, принимая невыносимые размеры. Он дорого дал бы теперь за возможность быть как можно дальше от этой кокетливой комнаты и от этой красивой женщины, казавшейся ему пять минут назад такой очаровательной.

Наконец он не выдержал.

– Скажите, пожалуйста, скоро ваш *супруг* вернется? – спросил он грубо и не глядя на нее.

– Не знаю, – отвечала она удивленным и обиженным тоном, – можно послать за ним, если хотите.

Видеть в настоящую минуту Персюкова было бы для Ивана Петровича еще горшей мукой. Он уже давно в уме решил *плюнуть на всю эту дурацкую ревизию*, где он держал себя таким подлым образом. Нужно было только выдумать приличный предлог, чтобы ретироваться.

Предлог, как всегда бывает в подобных случаях, не выискивался, и Иван Петрович пошел напролом.

– Простите меня, – сказал он, вставая и глядя в землю, – и извинитесь за меня перед вашим мужем... К сожалению, я не могу больше ожидать... Мне нужно тут... я должен еще поспеть в одно место.

Она его не удерживала, молча протянув ему руку. Она начинала понимать и отчасти переживать его состояние. Он взял свою шляпу, дошел до дверей, но внезапно остановился, подумал секунду или две и вдруг быстро подошел к ней.

– Вот еще что, Валентина Сергеевна, – произнес он деланно суровым голосом, – передайте

от меня вашему мужу, чтобы он осторожнее обращался с переходящими суммами. На него анонимные доносы пишут!

Этим предупреждением Иван Петрович окончательно подписал свой позор. *Эффектный случай* был безвозвратно потерян.

Он стоял и кусал молча свои розовые, выхоленные ногти; его терзали неловкость и бешенство. Ему хотелось плакать, хотелось надавать себе пощечин, хотелось до конца испытать всю горечь стыда и сладость самобичевания.

– Скажите еще вашему мужу, прекрасная Клеопатра, – воскликнул он голосом, в котором дрожали сдержанные рыдания, – пусть он ежедневно благодарит создателя за то, что напал на такого *пижона*, как я; иначе ему пришлось бы очень плохо... Мне поручено было произвести негласную ревизию... Как видите, я блестящим образом выполнил возложенное на меня поручение... Имею честь кланяться... Вы не думайте, что я могу вам быть вредным... Если хотите, я в ваших руках оставлю против себя письменный документ...

С этими словами, едва сдерживая нервные слезы, которые жгли ему горло, он кинул на стол анонимное письмо и, не прощаясь, надев в комнате шляпу, бегом выбежал в переднюю.

Едва за ним затворились двери, как из другой комнаты показался Персюков. Его квадратное лицо сияло самой невинной радостью. Он никуда не думал уезжать и прекрасно слышал все происходившее.

Он подкрался неслышными шагами к своей жене, занятой чтением письма, осторожно обвил ее рукою за шею (отчего она слабо вскрикнула), отогнул ее голову назад и медленно, с чувством, запечатлел долгий, благодарный поцелуй на ее ярких губах.

Эти нежные супруги давно уже привыкли понимать друг друга без лишних слов.

<1894>

## К славе

Когда я вышел в 18\*\* году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза... Общество в таких городишках известно: мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой; все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватая всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтекки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось. Приехал к нам новый следователь.

Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умении слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые лучшие перлы души высыпаете, а он знай себе головой кивает да погмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел до колик смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрезные анекдоты.

Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольно, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей.

Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули, но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцветную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался! И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист четвертого класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и «с ужасными жестами отчаяния» (так стояло в пьесе) кричу ей: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре – я тре-

пещу от негодования!» Как дойдет до этого места, – любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы как манекен держитесь! Видите сами, – здесь ремарка: «жесты отчаяния». Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать!»

Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное – чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценарист вытаскивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, ворочаю глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я, к ужасу своему, чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Ну вот не могу припомнить и – баста! Прошла минута, может быть, две, – для меня этот ужас длился целые годы. Я стою, окаменев в отчаянной позе, и молчу, и ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец из суфлерской будочки до меня доносится: «О, проклятие, каждый раз...» Я делаю последнее, невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем трезоре, я попищу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом, а перековерканная фраза обратилась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал.

Таким образом, я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и, кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драматическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову, другая утверждала, что нарочно для этой роли заказала платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось... В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу.

Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, точно оссиановская тень, и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение? Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, – ни один образ не застелет этого неуловимо-своеобразного тонкого образа. Такою именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять себе ее наружность: гибкое худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначеем, жил открыто. Я часто, в продолжение многих лет, бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких платьицах выровнялась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно: и простая, внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно-резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого, глубокого, передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь.

Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрасиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело за живое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности, виденного, слышанного и пережитого. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.

Столкнулись мы как раз перед ее выходом, в тесном коридоре, между стеной и кулисами. На ней было белое простенькое платье, схваченное в талии голубой ленточкой. Странно изменилось ее лицо под гримом: оно стало как будто незнакомым, черты его выяснились резче и красивей, глаза, подведенные и ярко блестящие от внутреннего волнения и от темной краски, казались неестественно громадными.

– Что, – спросил я ее, – жутко приходится? Она прижала обе руки к груди и посмотрела на меня каким-то просящим о помощи взглядом.

– Страшно... Тут вот так и бьется... Я, кажется, откажусь выйти на сцену. Ну куда я дену свои руки и ноги? Боже мой, какое мученье!

Позвал ее сценарист. Я стал прислушиваться. Вместо веселых вступительных слов ее роли, вместо звонкого хохота, требуемого пьесой в этом месте, я услышал робко срывающийся, как будто чужой голос и невольно зажмурил глаза. Стыдно мне как-то стало за Лидочку и страшно. Я знал ее нервы и самолюбие и понимал, как она сама страдает от своей неловкости.

Несколько томительных секунд я ничего не слышал, а когда наконец боязливо заглянул из бокового марлевого окна на сцену, то так и окаменел от удивления. Лидочка не только оправилась, – она была неузнаваема. Каждое движение ее отличалось непринужденной и уверенной грацией, каждое слово произносила она именно так, как его произносят в обыденной жизни. Впрочем, не на одного меня Лидочка произвела такое впечатление. Я окинул глазами зрительную залу и увидел все давно знакомые лица оживленными и улыбающимися.

Вся роль Лидочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десятках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых. Когда она, напевая какой-то мотив и подбрасывая на ходу большой резиновый мяч, направилась к дверям, вслед ей раздались крики и шумные аплодисменты. Она вернулась и растерянно, немного по-институтски раскланялась. Ее вызвали еще и еще – раза четыре, кажется. Я стоял у дверей и отворял их. Она вышла задыхающаяся, со сверкающими глазами, с румянцем, выступившим даже из-под грима, с пересохшими от волнения губами. На мое поздравление она протянула мне обе руки.

Весь этот вечер Лидочка была чрезвычайно, даже, пожалуй, неестественно оживлена и часто смеялась нервным, беспричинным смехом. Я раза два подходил к ней и рассказывал что-то. Она слушала меня, не перебивая, но отвечала невпопад, глядела на меня неотступно, но в ее глазах сияло такое мечтательное счастье, губы складывались в такую блаженную улыбку, что мне становилось понятно, как далеко были ее мысли от моих рассказов. Она смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдаленный предмет, на какое-нибудь пятнышко на обоях: самого пятнышка не видишь, а оторваться от него невозможно.

Так и Лидочка, должно быть, все еще видела перед собой подмости, возвышающие ее над сотнями голов, слышала оглушительный, пьянящий плеск аплодисментов, и ее опять тянуло к тому прекрасному сну, от которого она только что проснулась. Среди публики Лидочкин дебют положительно произвел эффект, и многие поспешили в тот же вечер высказать ей это в самых лестных выражениях. Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию.

Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое, и притом – так настойчиво, как трудно было от нее ожидать. Она даже осунулась и побледнела. Что она тогда чувствовала, как работало ее воображение – господь ее знает; никому она об этом не говорила. Но вероятно, в ее душе именно тогда и родился целый мир новых надежд и ощущений, имевший громадное влияние на всю ее последующую жизнь.

Наконец поставили и спектакль. Я был в числе зрителей – за кулисы меня больше уже не пустили, потому что пошли в театре строгие порядки, и спектакль ставил настоящий, заправский актер не без имени.

Лидочка, правда, не избегла общей участи дебютантов: говорила иногда слишком тихо, делала большие паузы... Но зато я видел настоящую Офелию, тот самый прелестный женственный образ, который нарисован Шекспиром. Она такой и явилась пред нашими глазами: нежной и робкой, любящей и в то же время жертвующей любовью ради придворного этикета и безусловного преклонения пред отцовскою моралью. Она не героиня: в ней скорее больше чисто детской доверчивости и податливости. По натуре она пряма и не умеет лгать, но привычка постоянно держаться на виду делает то, что любовь ее никому не кидается в глаза. Никому и в голову не приходит догадаться, что совершается в ее душе, до тех пор, пока долго скрываема внутренняя борьба не разражается внезапным безумием. Тогда только каждый начинает понимать, что

Все это яд глубокой скорби сердца.

Лидочке устроили шумную овацию. Кто-то поднес ей громадный венок из живых цветов, перевязанный широкими розовыми атласными лентами. Я сам бесновался не хуже других, но

все-таки успел заметить по той же блаженной улыбке на Лидочкиных губах, по загоревшимся щекам, что у нее закружилась голова. Я ее проводил домой поздно ночью, счастливую, обессиленную. Мы шли под руку. Было то время весны, когда только начинает распускаться сирень. В теплой дремлющей темноте ночи точно разливалась какая-то душистая, сладостная нега, точно веяло в лицо чье-то дыхание, и чьи-то жаркие губы, казалось, вот-вот приблизятся к губам.

Мы с Лидочкой шли очень скоро и далеко оставили за собой остальное общество. Я нагнулся и поглядел на нее сбоку: ее головка была закинута кверху, и глаза устремлены на мигающие серебряные звезды. Почувствовав мой взгляд, она вздрогнула и вдруг крепко прижала к себе мою руку.

– Холодно? – спросил я вполголоса.

– Нет, – говорит, – не холодно, а я от своих мыслей вздрогнула. Я об вас сейчас думала.

Страшно мне и сладко от ее слов сделалось.

– Обо мне. Неужели – обо мне?

– Да, – о вас. Скажите, умеете вы вставать рано утром? Часов в шесть?

Я отвечал, что я не только в шесть часов готов встать, но даже... не помню, право, что я такое именно сказал; надо думать, что-нибудь очень глупое.

Мы в это время подошли к ихней калитке и остановились, чтобы подождать отставших. Она оглянулась назад, потом приблизила ко мне лицо и проговорила быстрым шепотом:

– Завтра... в нашем саду... Рано, рано... часов в шесть, в половине седьмого... Папа встает поздно.

И опять крепко пожала мне руку.

Надо сознаться, господа, что я в то время был чрезвычайно молод, непростительно молод. Домой дошел я точно на крыльях и, ей-богу, не могу сказать, спал или не спал в эту ночь. Бывает такое состояние: не то спишь, не то бодрствуешь, не то гредишь. Это – когда на душе есть какое-нибудь особенное, крупное впечатление. Понятное дело, я тогда же догадался, что уже давно влюблен в Лидочку (хотя, говоря откровенно, раньше этой любви не замечалось ни малейшего признака). Думал я всю ночь, как увижу ее завтра, робкую, краснеющую за свою вчерашнюю смелость, как я ей скажу, что полюбил ее с первого взгляда... Вот только меня останавливало, в какой форме сделать предложение? «Позвольте предложить вам руку и сердце?» Безобразно: точь-в-точь – приглашение на контрданс. «Хотите ли вы, Лидия Михайловна, быть моей женой?» Гм... Оно как будто бы и ничего, но для молодой девицы, пожалуй, немного деловито. А? Словом, в этом пункте я ни на каком ясном решении не остановился.

В шесть часов утра, точно от внезапного толчка, я проснулся с мыслью о Лидочке и о предстоящем свидании. Через несколько минут, вздрагивая от холода и молодого восторга, чувствуя свежесть и упругость во всех мускулах, я уже перепрыгивал одним махом забор Лидочкина сада.

Утро, как нарочно, выдалось прохладное, золотое, веселое, звонкое такое. Трава лоснилась, точно яркий зеленый шелк, и на ней там и сям дрожали, играя разноцветными огнями, крупные алмазы росы. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую чащу липовой аллеи, ложились на песке дорожки круглыми движущимися пятнами. Мне казалось, что и птицы пришли в безумный восторг от этого чудесного утра, так они возились в кустах, так щебетали, свистели и чирикали. Боже мой! А у меня-то, у меня-то как в душе пелось, сколько во мне трепетало радости и силы!.. Был ли я когда-нибудь счастливее, чем в эти мгновения? Едва ли.

Я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка. Она шла очень скоро, склонив, по своей милой привычке, голову немного вниз. Ее тоненькая, изящная фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел ей навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна; темные кудри, наскоро причесанные нетерпеливою рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!

Лидочка протянула мне обе руки. Я нагнулся, поцеловал сначала одну, потом другую. Она отняла руки и сказала: «Пойдемте дальше, здесь могут увидеть».

Я пошел следом за Лидочкой, любуясь на красивые движения ее тела и прислушиваясь к легкому шуму ее платья, между тем как мое сердце билось восторженно и беспорядочно. Мы

зашли в самый дальний угол сада, где так буйно разрослись высокие кусты сирени, что под ними всегда стояла темная и душистая прохлада. Лидочка как будто в нерешительном раздумье остановилась, стала на цыпочки и схватила рукой густую, упругую кисть белой сирени. Разрезной рукав капота упал вниз, и я увидел ее тонкую розовую руку с девически острым локтем. Ветка не поддавалась. Лидочка нахмурила брови, перегнула ветку так, что она хрустнула, и с усилием дернула к себе. Листья задрожали, и на нас вдруг посыпался целый дождь крупных, холодных капель росы. Я не выдержал. Аромат сирени, бодрящая свежесть раннего весеннего утра, розовая обнаженная рука в двух вершках от моих губ – все это внезапно лишило меня соображения.

– Лидия Михайловна, – сказал я дрожащим, нерешительным голосом, – знаете ли вы, что я... что вы... что я...

Лидочка обернулась ко мне. Должно быть, мой тон был ей очень понятен, но на ее лице я не прочел ничего, кроме удивления и затаенного смеха, дрожавшего в уголках губ. Моя решимость так же быстро пропала, как и появилась.

– Что же вы замолчали? – спросила наконец Лидочка.

– Я... я... я, собственно, ничего не говорю... Вы вчера сделали мне честь почтить меня своим доверием... Если вам нужна услуга беззаветно преданного человека (я понемногу начал оправляться от смущения), то я буду вас просить выбрать непременно меня.

Лидочка понюхала цветы, поглядела на меня исподлобья и спросила:

– И я могу *во всем* на вас положиться, как на верного друга? Ах, какое бы это было в самом деле счастье; нет ничего святее и бескорыстнее дружбы!

Должно быть, Лидочка заметила мои разочарованно вытянутые губы и сжалась надоевшей. Она не знала, конечно, как бескорыстные друзья-женщины деспотически обращаются с друзьями-мужчинами. Я поспешил дать целый десяток самых красноречивых уверений. К своему горю, я уже начинал понимать, куда клонится дело.

– Если так, – сказала Лидочка, – то вы мне можете оказать очень большую услугу. Я решила совсем отдаться театру. Пусть это, впрочем, останется покамест только между нами. Конечно, мне раньше всего надо учиться и учиться, я это знаю, и вот поэтому-то мне и необходим опытный и строгий руководитель. Найдите для меня хорошего профессора и заслужите мою вечную признательность.

– Но как же, Лидия Михайловна, – пробовал я возразить, – ведь вам известно, что у нас здесь не только профессора...

– Знаю, знаю, – перебила нетерпеливо Лидочка, – я все это уже обдумала. Скажите, правда, что вы на днях собираетесь в Москву?

– Да, собираюсь, но, если вам угодно, могу и остаться. Дело не к спеху.

– Нет, непременно поезжайте и – как можно скорее. Через неделю я там буду с папой, и вы, если хотите, устройте для меня все. Хорошо? Можете вы это сделать? Ну вот, спасибо вам большое. А теперь идите, идите; папа сейчас проснется. И помните: самая строгая тайна!

Я ушел повесив голову. У меня сейчас же явилась мысль: как это я мог подумать, что я влюблен в Лидочку? Разве я влюблен? Просто я – ее друг, преданный, верный друг. Отец ее – добрый человек, но он ничего, кроме своего казначейства, знать не хочет; мать всю жизнь возится с нервами и докторами. Необходим же ведь Лидочке друг и советник, который бы охранял ее детскую неопытность.

Все-таки, как я ни старался утешить себя соблазнами солидной роли друга, а в душе у меня ныло и сверлило чувство обиды. В то зеленое время я не успел еще прийти к заключению, что судьба осудила меня на вечное безбрачие. Я, кажется, и на свет божий родился с какими-то особенными качествами старого холостяка. Сколько девушек поверяло мне свои маленькие тайны, сколько дам избирало меня «первым другом»! А между тем, едва только мое сердце прилепится к какой-нибудь избраннице, – она меня сразу и огорошит. Либо поручение даст к счастливому сопернику, либо избрет меня сосудом излияния всяких нежных, но для меня совсем неинтересных чувств. Отчего это, господа, так постоянно выходило? Ведь не урод я, не калека, не женоподобен, не скажу, чтобы и глуп был особенно. Неужели взаправду есть несчастные, вылепленные из специально холостяцкого материала? А впрочем, черт побери, может быть, это вовсе и не несчастье!

Встретились мы с Лидочкой в Москве. Обо всем сговорились заранее. Я и о профессоре к

ее приезде разузнал. Он в то время уже сошел со сцены, но фамилию его вы, наверное, слышали от ваших отцов и матерей. Это был известный артист – Славин-Славинский.

Однажды Лидочка сказала своим, что отправляется к тетке, а на самом деле встретила со мною в Пассаже, и мы вместе отправились куда-то на Пресню. С трудом отыскивали дом, где жил Славинский: скромная квартира с дешевенькими обоями и низкими потолками. На стенах гигантские венки с надписями на лентах: «Горе от ума», «Кин, или Гений и беспутство», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и дальше: «нашему дорогому», «высокоталантливому», «великому артисту» и так далее и так далее. Кроме нас, в гостиной дождался бритый господин в пенсне с морщинистым презрительным лицом и две дамы, обе немолодые и некрасивые. Вышел к нам наконец профессор. Физиономия старого льва: косматая грива седых волос, смелые глаза и широкие ноздри. Он перекинулся двумя словами с бритым господином, сухо поклонился обеим дамам, затем подошел к нам и остановился, вопросительно глядя на Лидочку. Он своим долголетним чутьем догадывался, что весь смысл нашего визита находится в ней.

– Чем могу служить? – спрашивает.

Лидочка мгновенно сделалась пунцовой. Воображаю, сколько она еще раньше перемучилась, представляя себе этот вопрос. Но уже никакие смущения не могли ее поколебать. Она справилась с собой и сказала, глядя прямо в глаза профессору:

– Я бы желала... учиться у вас... драматическому искусству.

Я думаю, всякому из вас, господа, случалось: когда долго готовишь в уме какую-нибудь фразу, – непременно она в конце концов станет или худой, или пошлой, или напыщенно-неестественной. Славинский поглядел внимательно на Лидочку и сказал:

– Будьте добры, зайдите в мой кабинет.

Лидочка умоляюще оглянулась на меня. Профессор тотчас же поклонился и жестом уступил мне дорогу. Мы уселись в кресла, а Славинский принялся ходить из угла в угол.

– Для чего, собственно, угодно вам брать уроки? – спросил он после некоторой паузы. – Желаете ли вы поступить на сцену или так... для себя?

Лидочка собрала с силами и отвечала смелым, но в то же время срывающимся от волнения голосом:

– Да, я хочу поступить на сцену.

– Хорошо-с. А вам известно, что вы можете поступить только на провинциальную сцену?

– Известно. Но я полагаю, что впоследствии...

Славинский покачал головой с таким видом, как будто бы хотел сказать: я эти слова слышу уже не в первый, может быть, даже не в сотый раз...

– Скажите мне правду, милая барышня, вы, верно, играли в любительских спектаклях?

– Играла.

– И верно, имели, к вашему несчастью, успех?

– Да, имела некоторый... Но почему же к несчастью?

Славинский остановился перед ней с ласковой улыбкой на своем красивом лице.

– Потому, милое мое дитя, что нет в мире ни одного такого сильного яда, как слава. И слаще его тоже ничего нет. Он даже в самых маленьких дозах действует неотразимо, хотя и медленно. Шумный успех, аплодисменты, напечатанная фамилия, – и вы отравлены, и вас неудержимо тянет к еще и еще большему приему сладкого яда. Я ведь знаю, что теперь совершается в вашей милой головке: тысячная публика, слезы восторга, оглушительный рев толпы и слава, слава, слава... Ох, тернист, тернист этот путь! Что стесняться? Я не без чести прошел по нему, но дайте мне начать снова жизнь, я предпочту стать купцом или ремесленником. Верьте мне, я уже старик, и, наконец, лгать нет для меня никакого расчета. Через мои руки прошло много молодого народа, так же окрыленного надеждами, как и вы. Но спросите, где они теперь? Десять, пятнадцать человек приобрели кое-какую известность. О большинстве нет ни слуху ни духу. Крупный процент пошел по торной дороге пьянства, двусмысленного балаганного успеха, закулисных интриг и сплетен! Я ведь, голубчик, ни слова не говорю, когда лезут ко мне офицеры отставные, или купеческие сынки, или безнадежные, в смысле Гименя, девицы. Видали у меня в гостиной парочку? Это мой крест, за который мне, вероятно, многое простится. Но зато каждый раз, когда судьба приведет в мою гостиную молодое, стремительное существо, – мне все кажет-

ся, что я его толкаю собственными руками в глубокий и грязный омут. Вы и представить себе не можете, что это за клоака – провинциальная сцена...

Славинский говорил еще долго и убедительно. Не помню всех его слов, но, по-моему, трудно было не поверить его горячей речи.

Лидочка встала и, не поднимая глаз, начала суетливым, нервным движением надевать перчатки.

Славинский бросился к ней. Он по ее сердитому лицу убедился, что его слова были, яко кимвал бряцающий, и стал извиняться. Он сознался, что увлекся, что ему не следовало бы всего этого говорить и что в конце концов он согласен давать уроки. Бог знает, что им руководило в его страстной речи: расчетливая игра на искренность или настоящее сердечное сочувствие?

– Что вы знаете наизусть? – спросил Славинский, когда мы уселись.

Оказалось, что Лидочка ничего, кроме басен, не знает, и те не решается говорить без книжки. Профессор достал с этажерки одну из книг в сафьяновых красных переплетах и, развернув ее наугад, подал Лидочке.

– Потрудитесь, – говорит, – прочитайте.

Я заглянул через Лидочкино плечо и узнал не сравнимую ни с чем по красоте сцену прощания Ромео с Джульеттой, когда Ромео спускается утром по лестнице из окна своей возлюбленной. Лидочка начала очень неуверенно, путалась, немного торопилась – сцена была ей незнакома, – но все-таки, мне кажется, прочла очень и очень недурно. Профессор следил за ней с большим вниманием, хмурия слегка брови при ее ошибках.

– Хорошо, очень хорошо, – сказал он, когда Лидочка кончила и робко подняла на него глаза. – У вас есть способности, не беру на себя смелости сказать – талант. Во всяком случае, вы можете быть полезной работницей на сцене. Только надо учиться, учиться и учиться. Вот, потрудитесь послушать, как я прочту вам то же самое.

Ну и прочел же!

Вышли мы от Славинского порядком-таки сконфуженные, хотя профессор с нами был чрезвычайно любезен. По выражению Лидочкина лица я видел, что она осталась непреклонной.

Это было наше последнее свидание. Затем как-то сразу потерял я Лидочку из виду, потому что судьба меня вскоре опять бросила в захолустье. Я, господа, захватил еще доисторические времена, так сказать. Не только нашего клуба не было, или фонарей на улицах, или любительских спектаклей, но и лавок на весь город было только две. Зато, чего теперь нет, стоял целый полк Энэнских гусар. Если бы их теперь сюда, то-то наши девицы запрыгали бы! А в те отдаленные и невежественные времена присутствие Энэнских гусар в городе не только никого не радовало, но благочестивые старушки, ложась ночью в постель и заслыша на улице шпоры, творили, крестясь, молитву про царя Давида и всю кротость его. Да и у меня иной раз до сих пор волос становится дыбом при тех приятных воспоминаниях, которые связаны с энэнцами.

Впрочем, между ними были славные ребята и, главное, редкостные питухи. С одним – корнетом Алферовым – я жил вместе на квартире. Что нас связало, всегда оставалось для меня загадкой; мы жили в теснейшей дружбе, хотя по неделям не говорили друг другу ни слова. Правда, корнет Алферов с первого взгляда не порадовал умом, но чем ближе приходилось его узнавать, тем он казался глупее. Говорил он мало или, вернее, не говорил, а выпаливал, и всегда с примесью собственных словечек: кобылячья голова, дамеша – вместо дама, бекалия тен-терь-вентерь и тому подобное. Когда он бывал дома (что, впрочем, случалось редко), я его всегда заставал в неизменной позе лежащим на диване: длинные ноги, закинутае вверх одна на другую, расстегнутая цветная рубашка, гитара в руках и папироса в углу рта. Весь его музыкальный репертуар, исполняемый необыкновенно фальшивым басом, состоял только из двух пьес. Одна, мажорная, пелась в антрактах между кутежами, в денежную полосу, приблизительно таким образом:

Бе-сются кони, брещат мундштука-ами,  
Пе-нются, рвутся, храпя-я-ят.  
Барыни, барышни взорами отчаянными  
Вслед уходящим глядят.



Минорная пьеса отличалась самыми нелепыми словами. Помню только, что там говорилось о том,

Как приятно  
Умирать в горячке,  
Когда сердце бьется, как  
У молодой собачки.

Словом, как видите, был отличный малый во всех отношениях. Однажды, когда я предавался сладостному послеобеденному ничегонеделанью, влетает Алферов в мою комнату, делая на ходу воздушные пируэты. В руках у него большой лист красной бумаги. Я смотрю на него с недоумением.

– У нас, черт возьми, через три дня будет в городе драматическая труппа, – кричит Алферов. – Труп-па, труп-па, труп-па-па! – И, напевая польку, которая бросила бы в пот последнего тапера, он начинает носиться взад и вперед по комнате.

Так как я достаточно хорошо знал Алферова с его эстетической стороны, то, не переставая удивляться, спрашиваю:

– Что же тут такого радостного?

– Как радостного? – изумляется, в свою очередь, Алферов. – А актрисы? Ура, да здравствует драматическая труппа!

Я беру из рук Алферова афишу и читаю следующее:

«Русско-малорусское товарищество драматических артистов, под управлением г. Максименка и при участии артистов Императорских театров г. Южина и г-жи Веринной, будет иметь честь дать в самое непродолжительное время в доме г. Соловейчика ряд блестящих представлений, в которые войдут выдающиеся пьесы как русских, так и прочих зарубежных авторов.

Между прочим, в среду, 22 сентября, поставлена будет:

### **ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ**

#### **Драма в 5-ти действиях**

Эта драма, с успехом исполнявшаяся на европейских столичных сценах и многих провинциальных знаменитостей. В заключение будет всеми артистами труппы поставлен разнохарактерный дивертисмент».

Помню я, поразили меня фамилии актеров. Тут были и Сапега-Никольский, и Малинин-Анчарский, и Смельская, и Андреева-Дольская, даже, наконец, Гнедич-Баратынская.

Среди нашей глухой, монотонной жизни даже учение местной инвалидной команды было зрелищем, собиравшим весь город. Нечего и говорить, что все места на первый спектакль доставались чуть не с бою, хотя театр, перестроенный на живую руку из яичного склада, отличался поместительностью. Мой корнет в этот вечер оделся особенно тщательно и крепко надушился духами пачули. Входя в театр, он так гремел саблей и шпорами, что сразу обратил на себя общее внимание.

Громадная зрительная зала (состоявшая из одного только партера) освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь. Театр быстро наполнялся. Из задних рядов, где, стоя за барьером, помещалась толпа еврейчиков и солдат, привлеченная низкой входной платой, все громче и громче слышались разговоры, кашлянье и смех. Из-за занавеси, изображавшей двух гусей и торчащую из воды башню, доносились торопливые удары молотка, топанье ног и невнятные быстрые фразы. Между сценой и зрительной залой сидели, оборотясь лицом к публике, пять или шесть музыкантов с двумя скрипками, флейтой, тромбоном и турецким барабаном: в полном составе оркестр Гершки Шпильмана, игравший обыкновенно на еврейских свадьбах.

Чей-то здоровенный голос закричал с галерки: «Пора! Начинайте!» Его поддержали еще несколько голосов: «Время! Времечко-о!» Гершко постучал два раза нотами о пюпитр и, крикнув: «Ша!», оглянул музыкантов, разбиравших инструменты. Когда все успокоились, он взмах-

нул одновременно и головой и флейтой, приложенной к губам. Таким образом Шпильман играл и вместе с тем дирижировал флейтой, а оркестр играл «Маюфес» – национальный еврейский танец. Наконец за сценой зазвонили, и занавес поднялся.

Кажется, пьеса была переводная, с сюжетом, заимствованным из средневековой жизни, но в чем заключалось ее содержание, я так и не мог понять. Что действительно произвело в публике неожиданный, но великолепный эффект, так это – иностранные фамилии. Выходит, например, на сцену молодой человек, подходит к героине и, прикладывая руку к сердцу, рекомендует: «Маркиза, я – Фернандо де ла Капо ди Монте, племянник вашего старого друга графа д'Аргентюеля». Галерка приходит в неописанный восторг. «Так, так, валяй его, – слышатся оттуда голоса, – кат-тай его на все корки!»

Был в пьесе, я помню, иезуитский патер, тайная пружина всей драмы. Он говорил искусственно дребезжащим голосом и все смеялся шипящим смехом театрального злодея. Затем был молодой и благородный потомок древней фамилии. Эту роль исполнял актер, одетый в ботфорты со шпорами и в серую фуфайку, запрятанную в рейтузы Энэнского полка (как я потом узнал, все бутафорские и костюмерные принадлежности собирались за несколько дней до спектакля у доверчивых почитателей искусства). По наущению коварного патера, кто-то в чем-то оклеветал благородного потомка в болотных сапогах и навлек на него проклятие матери. Потомок прощается со своей возлюбленной, идет из города и, удрученный горем, скитается в лесах. Там он мимоходом убивает патера. Наконец, тоскуя по возлюбленной, он опять идет в город и на этот раз появляется перед публикой обросший волосами, в длинной блузе, подпоясанной веревкой, с кухонным ножом в руках. Застав возлюбленную в объятиях вероломного друга, он убивает обоих на месте преступления. Его ведут в тюрьму; он по дороге говорит еще один монолог и, вырвавшись из рук стражи, кидается в реку, куда за ним немедленно стремится и его мать, слишком поздно узнавшая о своей ошибке. Масса крови, длинные монологи с проклятиями, иностранные имена, – словом, раздирательная драма во вкусе провинциальных трупп.

Чем дальше я слушал, тем сильнее возрастало во мне какое-то напряженное, гнетущее чувство не то стыда за этих ломающихся людей, не то жалости. Взглянул я на соседей – и у них у всех тоже болезненно сморщенные лица. Кричит человек, кривляется, бьет себя в грудь, и чувствуешь, сам он не понимает, как неприятно и жалко на него смотреть. Так бы, кажется, и закричал ему: «Добрый человек, зачем вы избрали такой неблагоприятный и тяжелый труд; если вы уж ни к чему больше не способны, наймитесь гранить булыжник: это занятие и легче, и почетнее, и прибыльнее, чем кривляние, возбуждающее только болезненную жалость».

Всего больше меня поразила тот самый актер, который играл благородного потомка. Судя по голосу, это был человек уже преклонного возраста. Вероятно, когда-нибудь он хоть мельком видел чью-то игру и твердо запечатлел в памяти пять-шесть артистических приемов, преувеличив их до последней крайности. Так, например, в минуты особенно трагические он уже не ходил, как ходят обыкновенно все люди, хотя бы и удрученные большим горем, а все падал. Опустит голову на грудь и начинает наклоняться вперед телом, точно падающая статуя, вот-вот, кажется, грохнется на землю. Но внезапно его ноги делают два быстрых шага вперед, голова взбрасывается вверх, глаза вращаются, и руки с растопыренными и скрюченными пальцами вытягиваются в пространство. А между тем, боже мой, сколько рвения влагал он в свою роль! Он играл без парика, и, верите ли, я сам видел, как он действительно рвал на себе волосы. Когда он бил себя кулаками по впалой груди, удары эти раздавались по всему театру и заставляли галерку ржать.

Когда кончилось первое действие, я вышел в холодные сени покурить. Ко мне подбежал сияющий и гремющий Алферов.

– Был! Видел! – крикнул он еще издалека. – Одна – прехорошенькая.

– Кого видел-то?

– Актрис. Три – рожи, а одна – прелесть.

– Что же, ты познакомился?

– Нет еще. Я покамест – в щелку. Знаешь, неловко как-то. Я думаю ротмистра попросить, он этим ничем не смущается. Вон он стоит, курит. Подойдем к нему.

Этот ротмистр, последний отпрыск знаменитого гусарства времен партизанских войн и Дениса Давыдова, уже и в то отдаленное время являлся в наших глазах почтенным и немного странным анахронизмом. Он мог выпить колоссальное количество всяких водок и вин, обладал

знаменитым в дивизии голосом, рыцарски вежливо обращался с женщинами и деспотически с мужчинами. Мы подошли к нему.

– Голубчик, ротмистр, – не то смеясь, не то робея, не то заискивая, сказал Алферов, – я хочу с актрисами познакомиться. Можно это?

Ротмистр скосил на него глаза.

– Ну, а я-то здесь при чем?

– Знаете, неловко как-то. Не умею я предлога найти. И вообще... неловко.

– Не умеешь? А нос-то свой ты сам вытираешь? – пустил ротмистр густым басом. – Иди прямо за кулисы и говори: вот, мол, я такой-то и такой, корнет, и меня, мол, по правде сказать, надо еще в пеленках держать. Глуп ты, Алферушка, молод и глуп. Пойдем.

Осчастливленный Алферов побежал за ротмистром, а я вернулся в душную залу на свое место; Гершко опять сыграл «Маюфес», занавес медленно и неуклюже поднялся. В глубине сцены жестикулировали два актера, в стороне от них, близко к рампе, сидела молодая женщина, оборотясь лицом к публике. В первом действии она не выходила, иначе я бы сразу ее заметил. Сначала я сам не сознавал, почему она так приковала к себе мое внимание. Потом лицо ее показалось мне до такой степени знакомым, что я ждал только ее голоса. «Если она заговорит, – думал я, – я, наверное, вспомню». И когда она заговорила, я тотчас же узнал Лидочку. Как она изменилась за эти три года! Ничего еще, если бы она только осунулась и постарела; нет, она еще была настолько молода и красива, чтобы сразу пленить веселого корнета. Но в ее лице, в усталых движениях, в нервном, измученном голосе сказывалось давнишнее затаенное страдание, сказывалось даже сквозь привычную ложь театральной напыщенности. Я оставил Лидочку шаловливой, грациозной девушкой, чуть не ребенком, а теперь с удивлением и глубокой жалостью смотрел на женщину, уставшую жить. Видно было, что этот страдальческий оттенок приобретен не на сцене, а за кулисами. В памяти моей невольно возник первый театральный дебют Лидочки, – теперь и следа не оставалось ее прежней наивно-пленительной простоты. Теперь она держалась перед глазами публики свободно, я сказал бы, даже слишком свободно; теперь она только улыбалась, неестественно показывая зубы, как и все до одной актрисы, так же напряженно и деревянно хохотала, так же ломала руки с вывертыванием наружу локтей. Я поглядел в афишку: оказалось, что по сцене Лидочка называется Вериной.

Едва кончилось третье действие, как я увидел Алферова, который торопливо пробирался ко мне, наступая на чужие ноги и звякая оружием по чужим коленям.

– Пойдем, голубчик, за кулисы, там все наши. Только тебя и дожидаемся. Видал Верину? Мамочка! Сейчас меня с ней обещали познакомиться. Разве букет закатить? А? Как ты думаешь?

Мы пошли кругом всего театра узким неосвещенным коридором, несколько раз опускаясь и поднимаясь в совершенной темноте по каким-то лестницам. Алферов, уже знакомый с расположением театра, вел меня за руку. Мы вошли в уборную, большую сырую комнату с земляным полом и с узкой лестницей прямо на сцену. Два угла, отгороженные досками, служили мужчинам и женщинам для одевания. В облаках табачного дыма, при коптящем мерцании двух ламп, сначала трудно было что-нибудь разобрать. Народа в уборной толкалось чрезвычайно много. Из наших сюда, кроме меня, Алферова и ротмистра, забрался еще земский доктор, большой, грязный, приторный и болтливый циник. На столе, посередине комнаты, в беспорядке были разбросаны сардинки, яблоки, сыр, водка, красное вино и пирожное.

Общество было еще недостаточно знакомо и недостаточно пьяно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Поэтому нашему приходу все очень шумно и преувеличенно обрадовались. Алферов подвел меня сначала к трем актрисам, которые подозрительно чинно сидели рядом, стеснившись на узком плетеном диванчике.

Первая – старая, очень полная женщина с добрым и смешным лицом – мне очень понравилась. Алферов сказал, что это madame Венельская, а она сама, крепко потрянув мою руку, прибавила с улыбкой: «Комическая старуха». Другая очень бойко и отчетливо назвала себя: «Андрева-Дольская». Лицо этой особы, с курчавыми и жесткими черными волосами, с наглым взглядом больших серых глаз, с негритянским ртом, красноречиво говорило о низменных инстинктах. Третья оказалась вялой, нервной и болезненной блондинкой, немного косоватой, но недурненькой. Ее тонкая и длинная рука была холодна и влажна.

Мужской персонал отличался затасканными костюмами и полным отсутствием белья, jeune

premier<sup>28</sup>, не в меру развязный и единственный франтоватый человек во всей труппе, назывался Южиным. По-видимому, он страдал хроническим воспалением самолюбия: физиономия его ни на минуту не теряла выражения готовности немедленно обидеться.

– Вы не родственник тому, знаменитому Южину? – спросил я, желая сказать ему приятное. Jeune premier тотчас же обиделся, заложил руки в карманы и отставил правую ногу вперед.

– То есть почему же это: знаменитому? Что он на императорской сцене? Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются!

– Но позвольте, зачем же так строго? – спросил я как можно мягче. – Там же все средства есть, чтобы вполне изучить дело. По крайней мере, так мне кажется.

Я еще не договорил, а Южин уже начал смеяться горьким смехом.

– Вам так кажется? – воскликнул он с оскорбленным и ироническим видом. – Вам так кажется! И так будет казаться всякому, кто к делу близко не стоит, а берется судить. Вы говорите: изучить! А я вам скажу, что изучение погубило чистое искусство. Разве я могу играть на нервах зрителей, если у меня каждый жест, каждая поза вызубрена? Знаменитость! Техника, и – ни на грош чувства.

– Но как же... без разработки?

– А так же-с, – отрезал Jeune premier, – очень просто. Я – например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Потому что я – артист нервный, я играю, как скажется. Эх, да разве эта публика что-нибудь понимает? Вот когда я играл в Торжке с Ивановым-Козельским – меня оценили, меня принимала публика. Это я могу сказать.

– Что вы там говорите про Козельского, – вмешался чей-то женский голос. – Ваш Козельский давным-давно выдохся. Нет, вот когда я служила с Новиковым... Это – артист, я понимаю.

– А я вам доложу, что ваш Новиков – марионетка, – окрысился грубо jeune premier, побледнев и сразу теряя наигранный апломб. – И никогда вы с ним не играли!

– А я вам доложу, что вы – нахал. Вас в Торжке гнилыми яблоками закидали, а вы говорите, что вас принимала публика!

Вскипевшая ссора с трудом была потушена антрепренером, добродушным и плутоватым толстяком.

– Арсений Петрович! Марья Яковлевна! – вопил он, кидаясь то к jeune premier'у, то к артистке, между тем как спорящие с злыми лицами порывались друг к другу. – Ради бога! Рад-ди бога, я вас прошу. Ну разве можно? Ведь опять, как в Ряжске, полиция прикажет опустить занавес. Послушайте, господин, не имею чести знать вашего святого имечка (он подбежал ко мне и взял меня за рукав), может быть, вы повлияете? Скажите им-с! И ведь главное, не со зла все это. А знаете, вот тут, – он потер кулаком кругообразно по груди, – вот тут... кровь, знаете, горячая. Художник! Ведь умнейший человек-с. Почти всю гимназию кончил. Впрочем, сами сейчас изволили слышать, как они насчет искусства-то...

Потом этот милый импрессарио весь вечер сновал между нами и шепотом упрашивал, чтобы не давали водки актерам. Особенно беспокоился он за трагика, игравшего роль благородного потомка.

– Анчарский, душечка моя, – упрашивал он, – ведь вы же меня зарежете. Прошлый раз вас в «Лире» насилу за ноги выволокли. Для чего вам пить-с? Не пей вы этой проклятой водчищи, вы бы украшением русской сцены могли сделаться.

Трагик, старый человек с слезящимися глазами, сидел перед зеркалом и, с хрустом пережевывая огурец, расписывал себя коричневым карандашом.

– Не бойся, Иван Иванович, – успокоил он антрепренера, – Анчарский не выдаст, Анчарский знает границу! А без этого нам, трагикам, жить невозможно. Сильные ощущения!

В это время его позвали на сцену, и он неверными шагами поднялся по лестнице. Навстречу ему спускалась, держа в одной руке сумку на длинном шнурке и придерживая другою платье, Лидочка.

Не могу я вам передать, что сказало ее лицо, когда она меня увидела (я бросился к ней навстречу). На нем выразилось и усилие воспоминания, и недоумение, и тревога, и радость,

<sup>28</sup> Первый любовник (фр.) — театральное амплуа.

мгновенно вспыхнувшая и так же мгновенно погасшая, заменившаяся сухой суровостью.

– Лидия Михайловна, – сказал я, волнуясь и заглядывая ей в глаза, – Лидия Михайловна, при каких странных условиях нам приходится встречаться!

Лидочка совсем враждебно нахмурила властные брови.

– Да, мы с вами, кажется, немного знакомы, – сказала она. – Только странного в нашей встрече я ничего не вижу.

И, отвернувшись от меня, она пошла к сидящим на диване артистам. Я в то время был слаб в знании жизни, и ее сухость глубоко меня уязвила, тем более что вся эта сцена произошла перед многочисленными зрителями и вызвала полузадушенный смешок. «За что она меня так обрезала? – думал я в замешательстве. – Я, кажется, кроме радости видеть ее, ничего не высказал».

Между тем Алферов, звякая шпорами, уже давно нес Лидочке страшную чепуху: «То высокое наслаждение, которое испытали все зрители, которые при виде той, которая сумела воплотить...» Наконец он так запутался в роковых «которых», что сконфузился и неожиданно-негаданно закончил речь громогласным требованием шампанского.

Пробки захлопали, стулья придвинулись к столу, уборная сразу наполнилась гулом мужских и женских голосов. Доктор, точно с цепи сорвавшись, начал налево и направо сыпать анекдотами, ротмистр потрясал своим могучим хохотом дощатые стены. Алферов суетился восторженно и бессмысленно, женщины быстро покраснелись, закурили папиросы и приняли свободные позы. Говорили все сразу, и никто никого не слушал. Оставалась серьезной и все время молчала одна только Лидочка. Напрасно я искал встретиться с ней глазами – мне так много хотелось сказать ей, – ее взгляд скользил по мне, как по неодоушевленному предмету. На любезности Алферова она даже не считала нужным и отвечать.

Чем больше шумели «таланты и поклонники», тем больше волновался антрепренер: «Господа, прошу вас, тише, пожалуйста, потише, господа. Ведь последнее действие, самое трагическое место!.. Ради бога! Вы весь эффект испортите, господа! Вас слышно из залы...»

Но неожиданно, в самом трагическом месте драмы, из зрительной залы донесся до нас бешеный взрыв хохота и аплодисментов. Все изумленно переглянулись. Увы! Это означало только то, что Анчарский, «знавший границу», не мог подняться со стула, несмотря на усилия двух сопровождавших его тюремщиков. Когда он появился наконец на верху лестницы, ведущей в уборную, антрепренер кинулся на него с бранью, с упреками, задыхаясь от бешенства.

– Несчастный человек! Пьяница! Что вы со мной делаете! – вопил он, потрясая кулаком. – Вы ведь с голоду без меня подошли бы, я вас из грязи поднял, а вы... Как это подло, как это низко! Пропойца!..

– Друг мой! – прервал его Анчарский растроганным голосом. – Я изнемог под сладкой тяжестью лавров. Оставь меня...

Оглянувшись вокруг, он бессильно пал рядом со мною на свободный стул и вдруг, опустив лицо в ладони, горько заплакал.

– Никто меня не понимает, – услышал я сквозь рыдания, а чей-то голос с другого конца стола запел что есть мочи:

И никому меня не жаль.

– Знаете, о чем он убивается? – вмешалась черноволосая актриса – по-видимому, неугомонная и неуживчивая особа. – У него на прошлой неделе жена сбежала.

– Жена? Неужели? – спросил я участливо.

– Ну да, жена. Театральная жена.

– То есть как это – театральная?

– Ах, какой вы странный. Господа, посмотрите, какой он наивный. Он не знает, что такое театральная жена!

Некоторые с любопытством на меня обернулись. Я неизвестно отчего сконфузился.

– Это вас удивляет? – высокомерно обратился ко мне *Jeune premier* (мне кажется, он даже назвал меня молодым человеком). – Мы – свободные художники, а не чиновники консистории, и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена – только термин. Я так называю женщину,

с которой меня, кроме известных физиологических уз, связывают сценические интересы...

Он долго говорил в этом роде, но я уже не слушал его, меня беспокоило то, что под общий шум и хохот происходило на другом конце стола между Алферовым и Лидочкой. По ее сдвинутым бровям и гневно сжатому рту я заметил, что она оскорблена. Алферов был уже на третьем взводе. Он беспомощно качался взад и вперед на стуле, силясь поднять закрывающиеся веки.

– Послушайте, – донесся до меня возбужденный, но сдержанный голос Лидочки, – вы меня не можете оскорбить. Я и не такую гадость слышала. Но неужели вы не понимаете, что я с вами не хочу даже говорить.

Алферов качнулся на стуле.

– К-да я не м-гу? Нас все равно не слышат. Я же от чистого сердца! Квартира, лошади и все такое... Понимаете? И чтобы что-нибудь?... Н-ни-ни! Ни боже мой! потом разве когда-нибудь за хорошее поведение, а теперь н-ни-ни! *L'appetit vient en mangeant*<sup>29</sup>. Ты чего нас подслушиваешь? – погрозились он с пьяной улыбкой, заметя мой взгляд.

Тогда и Лидочка на меня посмотрела. Глаза ее засверкали негодованием.

– Скажите, пожалуйста, – воскликнула она, умышленно возвышая голос, так, чтобы ее все слышали, – вы так обращаетесь со всеми незнакомыми женщинами или только с теми, за которых не может вступить мужчина?

Алферов опешил. Со всех сторон посыпались вопросы:

– Что такое случилось? В чем дело? Кто кого обидел?

– Какие нежности, подумаешь, – язвительно хихикнула через стол черноволосая актриса, – точно ее от этого убудет!

Лидочка перевела на нее сверкающие глаза. Щеки ее мгновенно побледнели и так же мгновенно вспыхнули ярким и неровным румянцем.

– Меня от этого не убудет, *madame* Дольская, – крикнула она, – а прибудет только скандальной славы про наши бродячие трупы... Вы видите: этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей идти на содержание. Какой же вам нужно еще обиды, если вы этого не понимаете?

Внезапно в уборной поднялся невообразимый гвалт. Актрисы закричали все разом, мужчины принялись ругаться между собою, припоминая друг другу старые счеты в виде каких-то разовых и бенефисных, упрекали друг друга в воровстве и неспособности к сцене. Земский доктор пригнулся к столу и, приставив ко рту руки в виде рупора, кричал пронзительным голосом: «Вззы его, куси его! Вззы, вз-зы!» Анчарский, заснувший было на стуле, поднялся и подошел косвенными шагами к Лидочке, стоявшей посреди кричащей группы актеров.

– Дитя мое! – завопил Анчарский, расставляя широко руки. – Божественная Офелия! Преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь, и будем плакать вместе!..

Но Лидочка была близка к обмороку. Я подбежал к ней, оттолкнул трагика и схватил ее за руку. Она невольно пошла за мною, вся дрожа от волнения. Чьи-то услужливые руки накинули на нее ротонду и платок, и мы вышли на улицу. Не знаю, слышала ли она, но вслед нам из уборной вылетел целый поток ругани.

– Как будто бы мы не знаем, что за дрянь эта Верина, – визжала громче всех Дольская, – прикидывается угнетенной невинностью, а у самой в Тифлисе ребенок был!

Крупные хлопья снега бесшумно валились на землю, мелькая, точно белые звезды, в ночной тьме. Нога ступала, как по пушистому ковру, по слою молодого, мягкого снега.

– Что же вы молчите? – раздражительно обратилась ко мне Лидочка, когда мы отошли шагов сто от театра.

– Что же здесь говорить? – пожал я плечами.

Она насильственно рассмеялась.

– А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Давеча вы так трагически меня приветствовали! «При каких странных условиях нам приходится встречаться». О!! Я отлично поняла смысл вашего восклицания, хотя, может быть, оно даже невольно у вас вырвалось. «Прежде ты была женщиной моего общества, –

<sup>29</sup> Аппетит приходит во время еды (фр.)

хотели вы сказать, – и я относился к тебе с тем условным почтением, на которое меня обязывало наше знакомство. Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным».

Я понимал, что Лидочке нужен был предлог, на который она могла бы излить вскипевшую в ней злобу, и потому продолжал молчать. Это ее, по-видимому, еще более раздражало.

– И вот вы являетесь за кулисы. «Актрисы – это интересно! Легкие нравы, веселые разговоры и дешевые амуры!» Любопытно взглянуть поближе. У вас еще сравнительно довольно приличная цель. Тот пошляк прямо явился, как... А знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли как на диковинный сброд полюбоваться, а, по-моему, этот сброд чище и лучше, чем все вы, приглашенные, прилизанные и развратные. Вы видели сейчас, как мы скандалничаем, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что же? Зато вы не видали, как те же бродячие голодные актеры, все – целой труппой, закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу! Зато вы не видали, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер! Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. О, как я ненавижу вас, покровители искусства, закулисные меценаты! Сто раз лучше тонуть в нашей грязи, чем пользоваться вашими гнусными милостями. Прощайте. Вот моя калитка. Благодарю вас за вашу любезность, хотя я и сама нашла бы дорогу. Она отворила калитку и пошла вперед, не оборачиваясь.

– Лидия Михайловна! – воскликнул я, простирая к ней руки. – Неужели мы так и простимся? Вспомните, ведь мы никогда не были врагами.

Она остановилась.

– О чем же нам еще говорить? Разве у вас есть теперь что-нибудь общее с странствующей комедианткой? А впрочем, если уже вы хотите составить целое впечатление, то зайдите. По крайней мере, увидите, как мы живем. Что же вы остановились? Не бойтесь – у меня театрального мужа нет.

Слова ее еще продолжали быть язвительными, но тон смягчился. Должно быть, улеглась острая потребность оскорблять и чувствовать себя оскорбленной, а моя кротость еще более ее обезоружила.

Я вошел в дом. Лидочка занимала одну комнату. Что это была за комната! Крошечные окна, низкий, кривой потолок с балками внутрь, известковые стены, синие от сырости, узенькая железная кровать и стол с зеркалом, завешенным шитым полотенцем. Лидочка зажгла грязную лампу без абажура и опустила на стул совершенно изнеможенная. Руки ее бессильно легли по коленам, усталые и грустные глаза неподвижно устремились на огонь лампы. Теперь меня еще больше, чем в театре, поразило страдальческое выражение ее лица. Повинуясь безотчетному влечению жалости, я приблизился, осторожно взял одну из ее бледных, тоненьких ручек и прижал к губам. И вдруг – ласка ли моя подействовала, нервы ли усталые не выдержали – Лидочка порывисто прижала лицо к моей груди, охватила рукой шею и, вся сотрясаясь, зарыдала. Знаете, всегда так: таится-таится в человеке давнее неразделенное горе, а потом как прорвется, то и удержи нет слезам. И тут Лидочка с истерическим плачем, целуя мои руки, передала мне печальную повесть своей жизни.

После нашего московского визита к Славинскому она благополучно воротилась домой. Может быть, ее сценическое увлечение так и кончилось бы без гибельных последствий, если бы она не встретила со своей бывшей гимназической подругой – провинциальной артисткой. Бог знает, что эту артистку заставило расхваливать свою жизнь: природная ли тупость, нечувствительность и неразборчивость, или женское хвастовство, или злой, мстительный умысел неудачницы, но встреча с подругой решила Лидочкину участь. Она поступила на сцену. Сначала она все видала в розовом свете. Внешняя сторона дела, то есть бедность, голод, долги, жалкая театральная обстановка – для нее не существовали. Но вскоре к искусству примешалась любовь. Судьба столкнула ее с артистом – его имя и теперь еще довольно известно, я не буду его называть: это красивый лгун с горячими словами и холодным сердцем. Он записал себя в российские Кины, у него были художественные странности и капризы, а Лидочка должна была восхищаться им и находить проблески гения в проявлениях его животной натуры. Когда Лидочка сказала ему, что через три месяца она должна родить, он по-воровски, тайком бросил ее на произвол судьбы.

Ребенок умер. Что было потом? Целая вереница скучных дней, жалких аплодисментов по вечерам, ночных оргий... Она приучилась пить. По крайней мере, не сосет за сердце всегдашняя тоска. Родные раньше преследовали ее письмами, и она не прочь была бы возвратиться, но после ребенка в ней заговорила ее собственная, своеобразная гордость. Если она раньше не пришла, когда еще было время, то как же она могла бы прийти, вынужденная крайностью. И в этой странной гордости я узнал прежнюю Лидочку.

– Вы мне, родной мой, простите, что я вам дорогой наговорила, – просила она, глядя на меня прекрасными, умоляющими глазами. – Уж очень больно мне было. Как я вас увидела, так мне все мое прошлое и кинулось в память, хорошее такое, ничем не загрязненное. И тому, что об артистах говорила, не верьте. Уколоть мне вас хотелось, злобу свою сорвать. Помните, как мы вместе были в Москве у Славинского? Тысячу, тысячу раз он был прав. Хотя и он тоже хорош, нечего сказать!.. Только тут не тернии даже, а сплошная мерзость. Ведь нет дня, чтобы меня не оскорбляли чем-нибудь! И бросила бы я сейчас же эту проклятую сцену, да разве можно? Я обо всем, понимаете, обо всем своих известила; корабли нарочно за собой сожгла. С какими глазами я теперь явлюсь? Ну разве об этом можно думать! Разве можно? Ради бога, скажите: разве можно?

Столько настойчивости было в этих торопливых вопросах, так жадно они ждали моего ответа, что мне стало понятно, как часто мучила ее мысль о возвращении домой. Я по возможности простыми и искренними словами старался ее успокоить: сказал, что она не только может, но даже должна возвратиться к своим старикам, что она теперь, больная и замученная, вдвое им дороже, как матери дороже больной ребенок, что никогда не поздно отдохнуть физически и нравственно от этой тяжелой жизни.

Лидочка очень внимательно меня слушала, не выпуская моей руки и изредка глубоко и прерывисто вздыхая, как ребенок после долгого плача. Ее еще не высохшие от слез глаза заблестели радостной надеждой. Незаметно для нас самих мы перешли к нашим общим воспоминаниям и долго сидели рядом, тесно составив стулья, позабыв о приключениях этого вечера, не уставая спрашивать и отвечать, точно брат и сестра после долгой разлуки. Лидочка и смеялась каким-то стыдливым, детским смехом, и вздыхала, и как будто сама не верила тому, что в ней в эти минуты происходило. Наконец, когда огонь начал потухать в лампе, я спохватился и стал прощаться.

– Я жду вас завтра, – сказала Лидочка, крепко пожимая мою руку. – Помните: как вы скажете, так и будет. Я вам так верю, что даже принять от вас помощь для меня будет легко.

И опять в эту ночь, так же как несколько лет тому назад, после моего прощания с Лидочкой, я долго не мог заснуть, и опять мне пришло в голову сделать ей предложение. Меня растрогал рассказ о ее скитальческой жизни, и мне всеми силами хотелось дать ей отдохнуть, приласкать ее и успокоить. «Женщина, много страдавшая, должна уметь и много любить, – думал я, ворочаясь с боку на бок, – она будет самой нежной женой и матерью. И уж, конечно, если она станет моей женой, никто не посмеет упрекнуть ее позором прежней жизни».

Так я рассуждал, потому что до сих пор не встречал еще людей, похожих на Лидочку. Но вышло на другой день нечто неожиданное, странное, на мой тогдашний взгляд, даже нелепое. Вам приходилось, господа, слышать, как в церкви возглашают моление: «О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, чающей Христова утешения»? Вот Лидочка-то именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди. Трепет-трепет их судьба и так в конце концов изуродует и ожесточит, что и узнать трудно. Много в них чуткости, нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны – гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение и в себе и в людях, склонность во всех своих ощущениях копаться и, главное, какой-то чрезмерный, дикий стыд. Нашла минута – отдаст он вам душу, самое дорогое и неприкосновенное перед вами выложит, а прошла минута – и он вас сам за свою откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Позднее я догадался, что и Лидочка была из числа этих загнанных судьбою. Утром меня разбудил денщик Алферова (самого корнета так всю ночь и не было дома). Подает мне Кирилл записку, у меня и сердце екнуло.

– От кого? – спрашиваю.

– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Какой-то жидочек приносил. Сказывает, ответа



не нужно, а сам убог.

Записка была от Лидочки.

«Милостивый государь Николай Аркадьевич, – писала Лидочка, – я думаю, вам не менее меня стыдно за вчерашнее. Все, что я вам говорила, – следствие минутной слабости нервов. Как вы ни великолепны с вашим благородием, я предпочитаю свою свободу и любимое дело, которому я буду служить так же, как и другие, не мудрствуя и не осуждая. Пишу вам второпях, потому что меня дожидают лошади Алферова. Повторяю еще раз, что, кроме взаимного стыда, между нами ничего быть не может».

Я посмотрел на часы – было уже далеко за полдень, – поспешно оделся и кинулся на поиски за Лидочкой. На ее квартире старая и грязная еврейка сказала мне, что «барышня только что уехали». «Таких было хороших двоих коней ув коляска, точно у габирнатора». Я долго находился бы в затруднении, куда отправиться дальше, если бы меня не осенила мысль заехать в театр. Действительно, не доходя еще до уборной, я услышал в ней шум многочисленной компании. Я отворил дверь, и моим глазам представилась следующая сцена.

Посреди комнаты, на столе, уставленном пустыми и целыми бутылками от шампанского, стояла Лидочка, растрепанная, раскрасневшаяся, с бокалом в высоко поднятой руке. Кругом нее, стоя и сидя, толпились: Алферов, доктор, ротмистр и еще человек пять-шесть наших городских шалопаев. В глубине комнаты, глядя с недоумением и некоторой тревогой на происходившее, стояла группа артистов. Моего появления никто не заметил, потому что внимание всех было поглощено тем, что в эту минуту Лидочка с выразительной жестикуляцией пела с своего возвышения:

Какой обед нам подавали!  
 Каким вином нас угощали!  
 Уж я пила, пила, пила  
 И до того теперь дошла,  
 Что, право, готова... готова...  
 Ха-ха-ха-ха-ха...  
 Тсс... об этом ни слова!

И вдруг наши глаза встретились. Она мгновенно побледнела, пошатнулась, и бокал со звоном и дребезгом покатился по полу. Все обернулись на меня.

– Господа, – закричала Лидочка, злобно блеснув глазами, – кто хочет пить вино из моей туфли?

– Я, я, я! – раздалось сразу несколько голосов.

– Всем сразу нельзя. Алферов, сними!.. И она протянула свою маленькую ножку Алферову. Тот снял туфлю и поставил в нее бокал.

– Выпьем за здоровье Николая Аркадьевича, – продолжала возбужденно Лидочка.

– Он вчера ночью обращал меня на путь спасения. Да здравствуют добродетельные молодые люди!

– Уррра! – заорала громогласно подкутившая компания.

– У него, однако, губа не дура, – перекричал всех доктор, – дайте ему за это вина!

Меня охватила злоба.

– Поздравляю вас, Лидия Михайловна, – сказал я с насмешливо низким поклоном. – Вы действительно превосходная артистка, но я теперь только понял, какие побуждения влекли вас на сцену.

Я вышел из уборной, сопровождаемый общим хохотом. Впрочем, не все ли мне было равно? Настоящей подкладки этой дурацкой сцены никто не знал, хотя смешная-то роль, во всяком случае, выпала на мою долю... Да и что говорить: злая роль, мстительная и несправедливая...

<1894>

Панихида кончилась. Последний стройный и печальный аккорд «вечной памяти» растаял в мягком воздухе. Четверо факельщиков с красными опухшими лицами, в засаленных мантиях подошли к белому глазетовому гробу и начали суетливо обвязывать его веревками.

Присутствующие молча глядели на их сосредоточенную и молчаливую работу, изредка прерываемую замечаниями, произносимыми отрывисто и вполголоса:

– Заходите с той стороны. Вот так. Легче, легче... Тяни конец на себя... ну, разом. Навались!

Веревки вытягивались и скрипели от тяжести дубового гроба. Факельщики с преувеличенно напряженными лицами топтались вокруг зияющей ямы, сырой, глубокой и страшной. Блестящий белый гроб медленно опускался в могилу, исчезая постепенно из глаз...

Потом факельщики выпростили веревки и отошли в сторону... Священник взял заступ и бросил в могилу груды земли, которая глухо и грузно ударилась об крышку гроба... Присутствующие с боязливым любопытством приблизились и заглянули в страшную яму... Каждый взял в руки по горсточке земли и бросил в могилу. Женщины тихо и прилично плакали, закрыв глаза кружевными платками.

В стороне, шагах в пяти от могилы, стоял господин средних лет в трауре с длинными седеющими волосами... Ни во время панихиды, ни во время тяжелой сцены засыпания могилы он ни разу не шевельнулся, не приподнял низко опущенной головы...

При взгляде на него казалось, что он об чем-то глубоко задумался или старается припомнить что-то забытое и очень важное... Но странное производили впечатление эти глаза, неподвижно устремленные в одну точку и ничего не видящие, эта глубокая, суровая складка, неожиданно за две ночи прорезавшаяся между бровями... По той любопытной и осторожной внимательности, с какой приглашенные на похороны относились к господину в трауре, можно было заключить, что после покойницы в белом глазетовом гробу он является вторым лицом в мрачной церемонии погребения.

– Это что ж? Брат, что ли, ейный или муж? – слышалось в толпе зрителей, больше всего, конечно, женщин, собравшихся на кладбище благодаря празднику и светлому весеннему дню.

– Муж, говорят. Очень уж он покойницу любил. Душа в душу, говорят, жили...

– Ишь ты... Чего же он стоит, словно идол какой бесчувственный?... Хоть бы поголосил маленько... А то стал и стоит...

– Много ты понимаешь... Видишь, окостенел человек... Он теперь, значит, вроде как спит... Ты ему хоть из пушки стреляй – не услышит...

– Тес!.. Скажите...

А господин в трауре действительно окостенел... Все привычки обыденной жизни не утратили, по-видимому, над ним своей давнишней силы... Всю эту ужасную неделю он с прежней методической аккуратностью исполнял тысячи давно заведенных жизненных мелочей... Но в его душе, в его нравственной жизни произошло какое-то странное оскудение, точно в сложном механизме, где целы и хорошо действуют все части и пружины и только одно самое главное колесо отказывается вертеться, потому что у него стерлись зубцы... Он ясно помнил тот ужасный момент, когда она сидела в глубоком кресле, вся обложенная подушками, а он стоял, нагнувшись над ней, и нажимал большой гуттаперчевый мешок с кислородом. В комнате пахло едким запахом какой-то красной микстуры и еще чем-то тяжелым и ужасным, чему он избегал дать настоящее название. При каждом дыхании ее голова то поднималась, то опять падала на грудь, глаза с неестественно громадными зрачками, влажные и блестящие, блуждали бессмысленно и в то же время тоскливо... Порой она вся вздрагивала, телом и руками, точно подстреленная насмерть птица...

А затем? Затем именно и наступило то состояние, когда в его душе что-то окаменело и перестало действовать. Если бы его спросили: «Что с вашей женой?» – он отвечал бы: «Она была больна чахоткой, умерла, и теперь ее хоронят». Но сам он, в глубине своей души, не только не верил тому, что жена умерла, – он отлично знал, что она жива. В то же время он что-то важное позабыл, и благодаря этому пропала внутренняя связь между ним и тем, что вокруг него делалось.

Маня лежала на столе в белом платье со строгим лицом, точно из матового воска, а над ней

стоял незнакомый мужчина в коричневом пальто с оборванными кантиками на рукавах и что-то быстро в нос читал, растягивая и повышая на полтона концы фраз. «Что он читает? – начинал туго, с ощущением боли в голове, соображать Барсов. – Что он читает? «Умяхнуша словесо их паче еляя и ти суть стрелы». Ах да, псалтырь! Псалтырь – это ведь над покойниками читают, а у нас в гимназической церкви читали за всеобщей гимназисты... Еще слова там такие попадают-ся хорошие... Да, да, псалтырь... Какую же он связь со мной имеет? Ах, какую же связь, какую?» – твердил мысленно, мучаясь и напрягая всю силу памяти. Но связь ускользала, а внимание Барсова опять привлекали новые предметы, и опять начинали одна за другую цепляться странные, мелочные, тяжелые, как кошмар, мысли... Потом ее положили в гроб и пели панихиду сначала дома, а затем в церкви... Запах можжевельника и ладана... в руках у всех свечи, и у него в руках свеча. Но он не понимает значения этого торжественного пения, не понимает этих великих слов, обещающих праведникам обитель, «иде же несть болезни, печали и въздыхания». Свечи напоминают ему двенадцать Евангелий, когда он еще ребенком отмечал прочтенные Евангелия восковыми катышками, прилепленными сбоку свечи, и он уносится мыслью к далекому милому детству, и его лицо озаряется неожиданно светлой и ясной улыбкой...

Могила сровнялась с почвой, и на ней вырос маленький холмик из рыхлой земли. Могильщики стали его уравнивать, и каждый удар лопаты оставлял ровный гладкий след. Толпа зрителей постепенно без слов расходилась; зрелище смерти навяло на всех торжественное молчание...

А весне как будто бы и дела не было до смерти... Здесь, в царстве ее, на кладбище, весна особенно пышно, даже, пожалуй, дерзко развернулась во всей своей душистой красоте. В поле едва-едва начинала пробиваться узенькая бледная молодая трава, а здесь она уже ложилась как свежий шелк, качаясь под ветром. Смерть шла рядом с жизнью. Молодые побеги жадно вбирали жизненные соки из жирной, удобренной разложившимися организмами земли. Березы, липы, кусты жимолости и сирени уже покрылись серовато-зеленым нежным пухом, шиповник и акация еще чернели голыми ветвями на белом фоне крестов и памятников, клейкие тополевы почки распространяли свое терпкое, весеннее благоухание...

– Ах ты, господи, бла-адать какая! – послышалось сзади чье-то наивное замечание. – Так бы, кажись, и не ушел отсюда...

«А! Это они про весну, – подумал Барсов. – «Как грустно мне твоё явление, весна, весна, пора любви...» А как дальше... Ну, будто не все равно... А хорошо было весной в Кунцево. Когда это? Год, два, да, два года тому назад, когда я был еще Маниным женихом».

И Барсову вспомнилось ярко это блаженное время. Они пошли втроем в рощу: она, он и ее маленький брат, кадет, который относился к Барсову с тем чувством обожания, с которым относятся мальчики лет десяти – пятнадцати к сильным и самостоятельным мужчинам. Они долго собирали фиалки, бледно-голубенькие такие и ароматные. Потом им обоим, ей и ему, захотелось остаться одним. То есть они об этом не сказали ни слова, но он чувствовал. Кадету сказали, что на опушке много цветов, что он их очень удачно ищет и что они его подождут здесь. Мальчику очень не хотелось уходить. Он, должно быть, понял, что его присутствие мешает, но в то же время он был счастлив, что имел возможность доставить удовольствие предмету своего обожания... Он набрал громадный букет и все-таки пришел слишком рано и все-таки застал их целующимися, отчего все трое сконфузились.

«...Да, да, фиалки, – думал Барсов, – почему фиалки? Как я пришел к фиалкам? Ах да, я начал думать про весну... А раньше? Кажется, я раньше думал об этом в церкви... Я думал о том, что мухи уже оживают, значит, наступила весна, и скоро будет лето. Но зачем, зачем я думал о мухах? Смешной вопрос и совсем не подходящий ни к месту, ни к времени».

Суровая складка глубже легла между его бровями. Тягучие ненужные мысли опять начали лениво цепляться одна за другую. Наконец он вспомнил. Это было сегодня же утром в церкви. Он стоял и глядел машинально на строгое восковое лицо лежащей в гробу знакомой, дорогой и в то же время чуждой женщины... А по ее спокойному лбу в это время ползла муха... Запыленная такая, маленькая, вялая – должно быть, она только что ожила после зимнего сна... И первый раз за эту длинную, как вечность, неделю Барсов испытал на мгновение одно яркое ощущение – ощущение страшного, леденящего ужаса, в котором он ни тогда, ни теперь не мог дать себе отчета.

Могильщики между тем совершенно окончили дело и отошли в сторону. Один из них провёл ребром заступа крест на убитой поверхности могильного холмика. Все присутствовавшие с самого утра при погребении, утомленные телом и нервами, сидели молча на ближайших плитах и скамеечках. Наступил момент грустного и томительного затишья. Мужчины один за другим перекрестились и надели шляпы. Только один Барсов все так же неподвижно стоял, опустив голову и устремив в одну точку невидящие глаза.

Священник снял свою черную ризу и епитрахиль, надетые поверх теплого пальто, и, выпрастывая сзади из-под воротника волосы, подошел к Барсову. Он считал своим долгом сказать несколько утешительных слов, и хотя не знал, что именно скажет, но надеялся на тот запас общих фраз, который у него накопился долголетним опытом.

– Ну что? – сказал священник, взяв Барсова за руку и стараясь заглянуть ему в глаза. – Все это воля господа. Не ропщите. Самый великий грех – ропот на волю создателя. Думайте о том, что ей лучше там, – и он показал указательным пальцем на голубое радостное небо, – там, в месте злачнем, в месте покойном. Это вас утешит. Правда, что многие из теперешних интеллигентных людей своим критическим умом дерзают отрицать божественный промысел... Но и они, – священник при этом глубоко вздохнул, – но и они должны знать, что все мы бранные гости в земной юдоли... Все мы смертны. Так-то...

– Да, да, Serge, батюшка правду говорит, – вмешалась дама в плерезах, подвижная и маленькая, с энергичным заплаканным лицом. – Если она умерла, то уж судьба так сделала, этого, значит, нельзя было избежать. Ну, тяжело тебе, ну, я понимаю, ну, поплачь немного. Слезы всегда облегчают. Ты не думай, что мужчине совестно плакать. Ты погляди на меня, Serge. Ведь Маня моя сестра, мне ведь тоже очень тяжело... Однако я не отчаиваюсь, я не теряю рассудка. Посмотри на меня, я женщина, и все-таки тверда. А ведь ты мужчина! Я...

Барсов неожиданно повернул к ней голову и с трудом раскрыл спекшиеся губы.

– Благодарю, благодарю вас, – прохрипел он, – но только... только... почему же муха? Почему, я вас спрашиваю?

И батюшка и дама в плерезах отступили от Барсова на два шага. Все присутствующие с тревогой на него поглядели. Казалось, что вот-вот этот окаменевший человек обернется к ним и разразится безумным хохотом.

А он уже позабыл и о батюшке, и о belle-soeur<sup>30</sup>, и о своих словах. Он опять возвратился упорною мыслью к мучившей его связи между ним и внешними событиями. Лицо его все более и более принимало выражение мучительного напряжения. Муха, которая так вяло ползла по восковому лбу жены, особенно болезненно не поддавалась его мышлению. Минутами ему казалось, что он начинает понимать, но мысли опять рассеялись, и опять лезли в голову ненужные и пустые мелочи.

Сидящие на могилах с тревогой глядели на неподвижного, застывшего в одном положении Барсова. Несколько мгновений длилась тяжелая, мертвая тишина. Введенный ею в обман худой, общипанный, но бойкий воробей скатился откуда-то с верхушки тополя, уселся на могиле и тотчас же испугался. Он повернул свою маленькую головку налево, направо, вверх и вдруг, весь взъерошившись, блестя кругленькими черными глазками, широко раскрыл рот и закричал что-то – громко и с отчаяньем испуга...

И столько в его фигуре, движениях и голосе было жизни и молодого задора, что Барсов неожиданно понял все, и неуловимая связь между ним и миром мгновенно восстала со всей своей ужасающей правдой. Он понял и церковь, и белый глазетовый гроб, и могилу, и запыленную муху, которая ползла по спокойному лицу, не дрогнувшему ни одним мускулом...

«Смерть, смерть, смерть», – вихрем пронеслось у него ярко и выпукло в сознании, и он, внезапно закрыв лицо руками, с криком горя упал на свежую землю могилы, обливаясь жаркими слезами.

<1895>

<sup>30</sup> свояченице — фр.

## В зверинце

В походном, наскоро сколоченном из досок зверинце Иоганна Миллера сторожа еще не успели зажечь ламп для вечернего представления. На всем лежит тяжелая полумгла. Железные решетки, клетки, барьеры, скамейки, столбы, поддерживающие крышу, кадки с водой и ящики для песка кажутся при этом умирающем мерцании осеннего вечера нагроможденными в беспорядке. Воздух насыщен острым запахом мелких хищников: лис, куниц и рысей, смешанным с запахом испортившегося сырого мяса и птичьего помета.

Вздрагивая от холода и тесно прижавшись друг к другу, пленники тяжело дремлют в своих клетках. В этот час они отдыхают от назойливого любопытства публики.

Желтые, серые, краснохвостые попугаи нахохлились на своих жердочках, привязанные к ним тонкими цепочками за ноги. Большой старый слон, который в темноте кажется издали безобразной громадой, дремлет, перекачиваясь на своей площадке с ноги на ногу, и то развивает, то свивает гибкий хобот. Обезьяны сбились в тесную кучу в самом дальнем углу своего помещения. Некоторые нежно обняли друг дружку за шею; одна приложила голову на колени соседке. Выражения лиц у них у всех печально-покорные, и теперь они больше, чем когда-либо, похожи на людей. В самом конце зверинца, на низкой насести, сидит старый орел, общипанный, облезлый и сгорбленный. Он не спит. Его неподвижные глаза смотрят в темноту со всегдашней непримиримой и гордой ненавистью.

Тяжелая, угнетающая тишина изредка прерывается странными звуками: то будто вздох продолжительный вырвется из чьей-то громадной груди, то стон послышится, то отрывистый хохот сумасшедшей гиены, которая недавно заболела и теперь целыми часами кружится с необыкновенной быстротой на одном месте, пока не упадет без сил.

Цезарь спит и тихо, точно бредящая собака, взвизгивает во сне. Одна из его могучих желтых лап высунулась в ту щель внизу решетки, куда просовывают пищу, и небрежно свесилась наружу. Голову он спрятал в другую лапу, согнутую в колене, и сверху видна только густая темная грива. Рядом с ним свернулась в клубок, точно спящая кошечка, его львица. Цезарь спит спокойно и иногда вздрагивает. Дыхание клубами горячего пара вылетает из его широких ноздрей.

Тревожный, но блаженный сон снится Цезарю. Над хладающей после дневного жара пустыней всплыл громадный, блестящий диск месяца, и пустыня ожила, и проснулась, и заговорила миллионами голосов. Проснулся и он, властелин пустыни, и медленными шагами выходит из зарослей, куда загнало его в полдень солнце и где он после кровавого пира, утолив из ручья, жажду, спал в тени до наступления ночи. Какой простор пред его расширенными очами! Только и видно, что синее небо да безбрежная пустыня. Всей своей могучей грудью вдыхает лев свежий воздух и вдруг оглушительным, царственным ревом потрясает воздух пустыни. И все смолкает, объятное ужасом. С фырканием и топотом вскакивают и мчатся через пустыню испуганные стада антилоп и зебров...

Лев крадется к тому ручью, куда каждый день ходят пить воду стада буйволов, и прячется между камнями. Ни один мускул его бархатного тела не шевелится, но весь он уже сжался и приготовился для огромного прыжка. Вдали раздается грузный топот, земля гудит и вздрагивает под тяжелыми копытами. Это идут на водопой буйволы. Передовые тревожно и громко обнюхивают землю и бьют себя хвостами по бокам. Лев не шевелится, но задние ноги его, точно две стальные сжатые пружины, готовы каждую секунду выпрямиться со страшною быстротою.

Наконец стадо напилось и возвращается обратно. Цезарь уже выбрал свою жертву, молодого черного бычка с мускулистой шеей и железным затылком. Легким, беззвучным движением взвивается лев в воздухе. Один прыжок и он уже на спине у буйвола, задние лапы вонзились в круп, передние ушли глубоко в мускулы шеи. Животное в ужасе и бешенстве мчится вперед, прыгает, тщетно стараясь сбросить с себя страшную ношу, и мгновенно падает на песок с перегрызенным позвонком. Пасть Цезаря дымится от горячей крови животного, и опять оглашает он своим победным царственным ревом пустыню.

Взвизгивает в своей клетке спящий Цезарь и видит другой сон.

Перед ним возвышается утыканная острыми гвоздями страшно высокая и крепкая загородка крааля. Лев приседает чуть-чуть к земле, мгновение и он уже внутри загородки; под наве-

сом, сбившись в круг и дрожа атласной кожей, стоят лошади. Лев устремляется к ним, но в это мгновение просыпается весь крааль. Вспыхивает ружейный огонь, гремят выстрелы, с криком, свистом, гиканьем сбегаются люди. Но Цезарь не хочет упустить добычу; он уже схватил за загривок жеребенка и влечет его по земле к загородке. Гнев и вкус горячей лошадиной крови придают ему чрезмерную силу. Взмахом могучей головы он закидывает животное на спину, вместе с ним высоко над загородкой перелетает на другую сторону и скрывается в темноте ночи.

Сторож зажег лампу. Свет ее упал на глаза Цезарю, и он проснулся. Сначала лев долго не мог прийти в себя; он даже чувствовал до сих пор на языке вкус свежей крови. Но как только он понял, где он находится, то быстро вскочил на ноги и заревел таким гневным голосом, какого еще никогда не слышали вздрагивающие постоянно при львином реве обезьяны, ламы и зебры. Львица проснулась и, лежа, присоединила к нему свой голос.

Цезарь уже не помнил своего сна, но никогда еще эта тесная клетка с решеткой, эти ненавистные лампы, эти человеческие фигуры так его не раздражали. Он метался из угла в угол, злобно рычал на львицу, когда она попадалась на дороге, и останавливался только для того, чтобы в бешеном реве выразить весь бессильный, но страшный гнев Цезаря, запертого в тюрьме.

– Пож-жалуйте, господа! Нач-чинается объяснение зверей. Пож-жалуйте! – закричал у входа сторож-немец.

Господа, в числе которых было десять-двенадцать дам с детьми и няньками, несколько гимназистов и юнкеров и человек тридцать хорошо одетых мужчин, подошли и окружили сторожа. Остальная публика глазела сзади, из-за барьера. Сторож стал спиной к первой клетке и, постукивая за спиной палочкой по решетке, начал объяснение:

– А вот-с ам-мериканский дико-образ. Тело его снабжено длинными колючими иглами, которые он бросает в преследующих его врагов...

Объяснение свое он проговорил заученным тоном, с полнейшим равнодушием к самому дикобразу, и перешел к следующему номеру.

– А вот-с черная пантера, или черная смерть, называется иначе гробокопательница. Разрывает могилы и пожирает трупы с кожей, с костями и даже с волосами. Пос-сторонитесь, господа. Детям не видно...

Публика наклонялась к решетке, но ничего не видала, кроме двух зеленых горящих глаз в самом углу клетки.

– Може там никакой пантеры нема? – заметил с галереи чей-то голос.

Потом сторож объяснял гамадрила, который «ходит гулять на люна, а если нет люна, то без люна, и кушает яйца крокодила». Затем он показывал находящегося в ящике «змея Кейлон с острова Цейлон». Этот змеи не ядовит, только мускулом давит, а самого его видеть нельзя, потому, что «если ящик открывают, змей быстро убегайт».

Наконец толпа остановилась перед клеткой льва.

– А вот африканский лев. Называется Цезарь. Стоит двадцать пять тысяч марок. И со своей львицей, стоящей одиннадцать тысяч марок, – запел сторож.

Затем в его руках очутилась неизвестно откуда появившаяся жестяная кружка, и он, потряхивая находящимися в ней медяками, протягивая ее публике, сказал:

– Сейчас начнется блестящее представление: укрощение львов и кормление диких зверей. Пожертвуйте, господа, кто что может, в пользу служащих зверинца. И в это время свободной рукой он зазвонил в колокольчик, возвещающий начало представления. Десять евреев-музыкантов грянули веселый марш.

– Карльхен, звонят, – сказала чистенькая старая немка, выходя из-за своей кассы и отворяя дверь в уборную, где одевался укротитель.

– Сейчас, – ответил Карльхен. – Затворите, мама, дверь. Холодно.

Карл Миллер, брат хозяина зверинца, стоял в крошечной дощатой уборной, перед зеркалом, уже одетый в розовое трико с малиновым бархатным перехватом ниже живота. Старший брат, Иоганн, сидел рядом и зоркими глазами следил за туалетом Карла, подавая ему нужные предметы. Сам Иоганн был сильно хром (ему ручной лев исковеркал правую ногу) и никогда не выходил в качестве укротителя, а только подавал брату в клетку обручи, бенгальский огонь и

пистолеты.

– Вот румяна, – сказал Иоганн, протягивая брату коробку, положи немного.

Карл действительно был бледен. При первых же звуках музыки он почувствовал, как кровь сбежала с его лица и горячей волной прихлынула к сердцу и как руки его похолодели и приобрели какую-то особенную цепкость. Но это волнение не было волнением трусости. Уже два года Карл укрощал львов и каждый день испытывал одно и то же чувство подъема нервов.

Музыка, трико, боязливое и почтительное любопытство толпы, бенгальский огонь, наконец, прилив воли и отваги во время представления в клетке и страшная нравственная сила, которую он в это время чувствовал во всем своем существе и особенно во взоре, заставлявшем льва робко пятиться в угол, все это заранее, еще при одевании, волновало его. Положив на щеки слой румян и подведя карандашом нижние и верхние веки, отчего глаза стали громадными и заблестели, Карл надел на шею малиновый воротник, украшенный аграмантом с блестками, и посмотрел в зеркало. На него глянуло смелое и взволнованное, очень красивое лицо; с крутым, упрямым подбородком, большими голубыми глазами, смотревшими с дерзкой улыбкой.

– Хлыст! – приказал отрывисто Карл, поправляясь перед зеркалом.

Старший брат поспешно подал ему длинный бич, а сам отошел к дверям, чтобы их широко отворить перед выходом Карла, и заботливо ощупал в кармане револьвер... Карл швырнул зеркало на комод и сделал руками и ногами несколько быстрых движений, чтобы размяться. Брат посмотрел на него вопросительно. Карл мотнул головой и из растворенной Иоганном двери вышел эластичной, поспешной походкой в зверинец. Иоганн шел сзади и звонил, а чистенькая старушка из-за кассы украдкой крестила молодого сына, красавца и своего любимчика.

За десять шагов до клетки Карла остановил сторож и сказал ему несколько слов на ухо. Это была дурная примета. Укротитель никогда не должен останавливаться ни на одну секунду, потому что зверь следит за ним глазами с самого выхода его из уборной.

– Цезарь беспокоится? Рычит? – переспросил Карл умышленно громко, играя перед публикой бесстрашием. – О! Это пустяки. Он сейчас будет у нас, как Овечка.

Цезарь стоял, прижавшись лицом к самой решетке. Его кошачьи рыжие глаза с громадными зрачками блестели жадно и пугливо в то же время. Бешенство, не проходившее у него до сих пор, внезапно разрослось при виде знакомой фигуры в розовом трико, на которую он нарочно не смотрел, но за всеми движениями которой следил с напряженным вниманием хищника.

Карл быстро прошел среди расступившихся зрителей, ловко вспрыгнул на три ступеньки приставной лестницы и очутился в предохранительной клеточке, из которой железная дверца отворялась внутрь большой клетки. Но едва он взялся за ручку, как Цезарь одним прыжком очутился у дверцы, налег на нее головой и заревел, обдавая Карла горячим дыханием и запахом гнилого мяса.

– Цезарь, назад!.. – крикнул Карл и, нарочно приблизив к решетке лицо, устремил на зверя пристальный взгляд. Но лев выдержал взгляд, не отступал и скалил зубы. Тогда Карл просунул сквозь решетку хлыст и стал бить Цезаря по голове и по лапам.

Цезарь ревел, но не отступал и не отводил глаз.

– Довольно! – крикнул кто-то из глубины публики.

– Довольно! – подхватила единодушно вся толпа.

– Оставь! – сказал Иоганн тихим и тревожным голосом и под плащом, незаметно, вытащил из кармана револьвер.

– Нет! – отрезал сердито Карл и опять ударил изо всей силы льва по голове. – Цезарь, назад!

Но Цезарь внезапно взвился во весь рост и ударил лапой в решетку с такой силой, что вся клетка задрожала.

– Довольно! Перестаньте! – кричали зрители и оставались в то же время, точно прикованные, не трогаясь с места.

– Огня! – крикнул Карл.

Минутный припадок нерешительности, который он испытал было сначала при непослушании льва, уступил теперь место озлоблению, и он решил во что бы то ни стало заставить зверя повиноваться.

Иоганн выхватил из жаровни, принесенной сторожем, раскаленный железный прут и пере-

дал его брату вместе с зажженной палочкой искристого бенгальского огня. Ослепленные огнем зрители не заметили быстрого движения Карла, но увидели, как Цезарь с громким стоном боли отскочил от двери, и в ту же секунду укротитель очутился в клетке.

В зверинце сделалось совсем тихо, слышно было только, как шипел бенгальский огонь в руке у Карла да стонал и ворчал Цезарь в углу клетки.

Что затем произошло – никто не мог дать себе отчета. Послышался потрясающий крик Карла, ужасный рев Цезаря и львицы, три оглушительных выстрела, испуганные крики зрителей и безумный, отчаянный старческий вопль: «Карльхен! Карльхен! Карльхен!..»

На полу клетки лежал Карл, весь истерзанный, с переломанными руками, ногами и ребрами, но еще живой; сзади него львица, которой пуля Иоганна попала в череп, и рядом с ней в последней агонии Цезарь.

Бледные, перепуганные зрители стояли вокруг клетки в немом ужасе и не трогались с места, несмотря на упрощивания сторожа оставить зверинец.

<1895 >

## Игрушка

– Вот как на горку выедем, барин, так сейчас и город будет видно, – сказал извозчик, обернувшись назад и показывая лицо, все белое от снега. – Ишь огни-то. Ровно зарево.

Над горой, на темном звездном небе стояла длинная сияющая полоса, отблеск уличных фонарей. И опять у Жданова сердце сжалось от сладостного волнения, вроде того, которое он испытал полчаса тому назад, выходя после двухдневной дороги на С-ой вокзал. В его памяти жадно и стремительно теснились проснувшиеся с новой силой милые воспоминания прошлого, связанные тесными узами с тем городом, к которому он теперь подъезжал после двухлетнего отсутствия.

Когда его, в новую эпоху его жизни, знакомые женщины спрашивали об этом прошлом, он всегда говорил с несколько разочарованным и усталым видом, что в его прошлом была любовь, на которую он отдал всю молодость и все лучшие силы души. Шесть лет тому назад он приехал в К., только что окончив университет, и поступил на службу по акцизу. В провинциальном городке между танцами в общественном собрании, загородными пикниками, для которых ездили все в одну и ту же деревню Дубовую, и любительскими спектаклями адюльтер создается очень скоро и на семейных началах. Однажды во время зимнего катанья в санях ему пришлось сидеть рядом с женой своего сослуживца и начальника. Он ее много раз видел раньше, танцевал с ней, находил ее хорошенькой, но ему никогда еще не приходила в голову мысль о возможности близости между ними. Это была пышная и томная блондинка с ленивой грацией избалованной кошечки, с маленькими белыми ручками, смешливая и дерзкая.

Взволнованный выпитым вином и сумасшедшей ездой, он, сидя совсем близко около нее, не отрывал глаз от ее лица, раскрасневшегося и счастливого... Затаив дыхание и робея, он нашел ногою под полостью кончик ее ботинка и пожал его. Она закрыла глаза и не отодвинула своей ноги, а на второе пожатие и сама, как будто бы нечаянно, ответила. Потом он нашел под ротондой ее теплую руку, потом обнял ее, и она покорно, с слабой улыбкой на губах положила ему на плечо голову... Эта любовь, начало которой носило такой случайный характер, продолжалась почти четыре года. Роман со Ждановым был для Антонины Васильевны не первым романом в жизни. Она принадлежала к числу тех женщин-кошек, которые не ищут сами приключений, но зато без всякой борьбы принадлежат тому, кто умеет их взять и удержать при себе. Для Жданова же обладание красивой замужней женщиной из общества было целым громадным событием, и любовь Антонины Васильевны навсегда осталась для него мерилom для сравнения со всеми встречавшимися ему впоследствии женщинами.

Муж, толстый флегматик, любивший хорошо поесть, поспать и поиграть в винт, не мешал им. Как и все обманутые мужья, он первый догадался о новой связи своей жены, так же как догадывался и о предшествующих. Но так же, как и все мужья, он, по примеру страуса, прячущего голову в песок, старался себя уверить, что ничего нет и что поэтому и другим ничего не заметно. Это, конечно, не помогало. В глухих городишках, когда минет первое горячее время злословия, к



адюльтеру начинают относиться с удивительным добродушием, считая его, в силу давности, законным между тремя людьми отношением.

На четвертый год любовь сделалась тяжелой и для Жданова и для Антонины Васильевны. Собственно, прежней-то любви, неудержимого влечения двух молодых и красивых людей друг к другу давно уже и не было. Оставалась только привычка, неудобная обоим благодаря необходимости притворяться и обманывать, и, кроме того, оставалось затруднение сказать последнее разрывающее слово. Антонина Васильевна, конечно, сама бы порвала тягостные отношения, если бы кто-нибудь опять завладел ею. Но, вероятно, физические и умственные шансы Жданова настолько высоко стояли в мнении к-ских кавалеров, что никто из них не решался выступить его открытым соперником.

Наконец на помощь им пришло неожиданное назначение Жданова в Петербург, и они простились без слез и без ненависти, каждый радуясь своей свободе. И только много времени спустя воспоминания о прошлой любви окрасились для Жданова в поэтический, грустный и сладкий колорит. Чтение ее записочек, оставшихся у него, всегда немного его волновало, и он на конверте, заключавшем их, сделал надпись из своего любимого поэта: «Что прошло, то будет мило».

Подъем в гору кончился. Лошади, почуяв близость конюшни, сами прибавляли ходу. Левая пристяжная, косматая, крепконогая кобылка, тонко и радостно заржала и схватила коренника зубами за шею.

– Балуй, балуй! – крикнул на нее преувеличенно сердитым басом ямщик и потом, вдруг приподнявшись на козлах и поправив под собою сиденье, добавил необыкновенно тонким фальцетом: – Я т-те побалую.

– Не лошади, а звери, – обратился он к Жданову с той любовной хвастливостью, с какой говорят о своих лошадях русские ямщики. – Прямо душегубы. Ну теперь только держись, барин. Сам дам на водку. И просить не стану. Эх вы! Каракорые! Ну вы, голубчики! Да еще миленькие!

Все лицо Жданова обдало мелкой снежной пылью, и он на минуту невольно зажмурился. Когда же он открыл глаза, то увидел, внизу веселые огоньки города, разбросавшегося по громадной, широкой долине.

Жданов взял недавно двухмесячный отпуск, чтобы привести в порядок доставшееся ему неожиданно по наследству имение. Он узнал, что его путь лежит мимо К., и это с самого начала взволновало его. Не доезжая Москвы, он решил хоть на день заехать в К., чтобы навестить Ленарских, посмотреть на Антонину Васильевну, послушать ее голос, узнать подробности ее настоящей жизни. Он вспомнил также и об ее сынишке Вите. Когда Жданов только что познакомился с Ленарскими, ему было около двух лет. Жданов решил, что необходимо в Москве купить Вите какую-нибудь очень хорошую игрушку. Это всегда подкупает матерей и делает их нежнее.

За три станции от К. Жданов, разнеженный воспоминаниями, которые все сильнее и назойливее волновали его, подумал, что времени для устройства дел у него еще достаточно много и ничто не мешает ему провести в К. целую неделю. Он ничего определенного не ждал, ни на что не надеялся, но его инстинктивно тянуло испытать острое наслаждение – «бередить старые раны».

Потянулись знакомые улицы, и Жданову вдруг показалось, что он только на день выехал из этого городка. Все осталось так же неподвижно, патриархально и широко.

– Знаешь дом Ленарских? – спросил он ямщика.

– Знаем-с. Туда прикажете?

– Да.

Чем ближе подвигался Жданов к знакомому дому, тем сильнее им овладевало нетерпение. Он даже невольно старался движениями тела ускорить бег лошадей. Какой он найдет Антонину Васильевну? Вероятно, она изменилась, может быть, даже похорошела той красотой, которую французы называют *la beaute de diable*<sup>31</sup>. Только бы не расплылась...

Жданову хотелось поскорее увидеть давно знакомую обстановку дома Ленарских, знакомую мебель, цветы, лампы, услышать знакомый запах в комнатах, особенно в ее спальне, про-

<sup>31</sup> Дьявольской красотой — фр.

питанной, как и все белье Антонины Васильевны, как и она сама, свежим запахом флорентийского ириса. Ирисом пахли и ее письма к нему, и этот аромат каждый раз, когда он читал ее строки, необыкновенно ярко воскрешал перед ним ее образ. Ему хотелось держать в руках ее руку, ощущение которой так было ему знакомо, смотреть на ее ловкие, ленивые движения, на ее томную улыбку с ямочками на щеках...

«А что, если она опять?.. – мелькнуло у него в голове. – Что, если эта мебель, этот запах ириса, эти ямочки так же знакомы и милы уже другому? У меня за это время были уже случаи... нет, не любви, конечно, – всю силу своей любви я истратил на Тоню, – но увлечения... отчего же у нее не могло быть! Нет, впрочем, женщины чище и лучше нас. То, что для нас приключение, то для них целое жизненное событие... Ну, а если бы и так?.. Все равно: *on revient toujours a sa premiere amour*<sup>32</sup>. Особенно для женщин. Если она и принадлежит другому, все-таки я ей буду очень, очень интересен именно в силу этого дразнящего желания растравить прошедшее, и она мне подарит несколько блаженных минут. Тогда... зачем же тогда оставаться только на неделю? Я и в один месяц успею устроить свои дела, стало быть, могу прожить в К. недели три, четыре. А там опять в Петербург. И как это будет хорошо. Длинная любовь годами ведет к скуке, привычке и утомлению. А здесь ярко, коротко и навсегда остается в памяти, как что-то чрезвычайно милое. Все равно что после обеда выпить одну только рюмку ликеру: и полезно и приятно, а выпить десять – и во рту прегадкое ощущение...»

Ямщик круто завернул по той улице, где жили Ленарские. Оставалось еще проехать саженой сто.

«Вот сейчас, сейчас, – волновался Жданов, слыша биение своего сердца. – Есть ли у них теперь кто-нибудь?»

И, чтобы не мешкаться долго у подъезда, он заранее начал собираться: достал из-под ног небольшой саквояж, заключавший только самые необходимые вещи и белье, перевесил через руку плед, вынул из кошелька деньги для ямщика. На коленях у него лежал еще небольшой ящик, обернутый в бумагу, с которым Жданов обращался особенно бережно. В ящике заключался дорогой и очень сложный аппарат камеры-люциды, с помощью которого можно было воспроизводить на экране световое изображение любой фотографической карточки, как в волшебном фонаре. Эта игрушка стоила очень дорого, и Жданов заранее предугадывал, с каким немым восторгом станет мальчик рассматривать невиданную игрушку и как мать будет польщена вниманием своего бывшего любовника. Жданов очень живо припомнил фигуру и лицо мальчика, как он его видел в последний раз. Худенький, тонкий, стройный, он с нежным цветом лица, с длинными льняными локонами, падающими по плечам, походил в своих изысканных бархатных и кружевных костюмчиках на миниатюрных пажей и инфантов исторических средневековых картин. Он всегда был привязан к дяде Ждану, заставлял его по вечерам импровизировать сказки и постоянно требовал новую.

Ямщик круто остановил тройку. «Слава богу, есть огонь», – подумал Жданов, радуясь тому, что застанет Антонину Васильевну дома, и считая это счастливой приметой. Он наскоро расплатился с ямщиком, легко взбежал на подъезд и позвонил. «Сейчас выбежит Дуняша, – думал, волнуясь, Жданов, – сначала-то она не узнает, а потом обрадуется. Славная девушка. Она всегда, бывало, радовалась, когда я приходил. Цела ли игрушка-то?» И он бережно ощупал ящик. «Обрадуется мальчик. Он всегда был такой любопытный. Ах, как хорошо. И толстяк Ленарский такой милый. Как он кричит всегда за винтом смешно... Наверно, я застану самовар, они всегда в это время чай пили. Тепло в комнатах-то, радушно так, все знакомо. А Тоня! Вся эта прелесть вторичного сближения, прелесть первых намеков и ласк, сначала робких, стыдливых, а потом все более и более жадных...» За дверью послышались шаги и щелкнула задвижка. Отворила двери все та же Дуняша.

– Здравствуй, Дуняша. Не узнаешь меня? – воскликнул Жданов приветливо молодцеватым голосом.

Но Дуняша как будто даже не особенно обрадовалась и отвечала точно нехотя:

– Пожалуйте. Барыня в гостиной.

И добавила вполголоса:

<sup>32</sup> Всегда возвращаются к своей первой любви — фр.

– Только вы нынче не успели... Завтра в десять часов назначена опять.

Но Жданов так был занят собой и предстоящей встречей, что не сумел заметить ни равнодушия Дуняши к его приезду, ни некоторой странности последних слов. Сбросив наскоро пальто и шляпу и захватив под мышку камеру, он быстро вошел в длинный, неосвещенный зал. Дуняша шла за ним, вероятно, для того, чтобы доложить о его приезде.

Дверь в гостиную была отворена, и из нее падал косо на паркет свет от лампы в гостиной. Из гостиной слышалось странное, монотонное и тягучее, бормотанье. Но и на это обстоятельство Жданов почти не обратил внимания. Тяжело переводя дух от сладостного волнения, он на цыпочках перешел длинный зал и заглянул в гостиную... и окаменел на месте...

Посреди комнаты по диагонали стоял на возвышении маленький нарядный гробик, и в нем лежал ребенок с нежным личиком и длинными льняными локонами. Выражение этого личика было такое, как будто мальчик только что заснул под импровизированную сказку, с улыбкой, застывшей на губах, совсем так, как, бывало, засыпал Витя на руках у Жданова два года тому назад. По одну сторону гроба, около анаоя, стоял дьячок и читал, водя концом зажженной свечи по строкам. По другую сторону, на коленях, припав лицом к обтянутому белой материей возвышению, застыла женщина в черном платье. Жданов видел только ее спину и плечи и завитки белокурых волос на белой прекрасной шее и тотчас же узнал Антонину Васильевну. Дуняша сделала было движение войти в гостиную, но Жданов остановил ее жестом. Он постоял еще минут пять и так же тихо, как и пришел, на цыпочках вышел в переднюю. Машинально, Подавленный каким-то огромным недоумением, он оделся, взял свои вещи, вышел на улицу и остановился.

В это время его взгляд упал на камеру-люциду, висевшую у него на руке, и Жданов сразу, мучительно, до ощущения физической боли покраснел краской жгучего стыда. В одно мгновение припомнились ему его мысли во всю дорогу от Петербурга, его желание обладать женщиной в черном платье, застывшей от горя, его расчеты подкупить подарком этого худенького ребенка в льняных локонах, который с улыбкой лежал в гробике.

И внезапно, с озлоблением на себя, со слезами стыда на глазах, он высоко поднял над головой дорожную игрушку и с силой бросил ее о плиты тротуара.

<1895>

## Столетник

Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень странному человеку – миллионеру и нелюдиму, тратившему все свои несметные доходы на редкие и красивые цветы. Оранжерея эта по своему устройству, по величине помещений и по богатству собранных в ней растений превосходила знаменитейшие оранжереи в мире. Самые разнообразные, самые капризные растения, начиная от тропических пальм и кончая бледными полярными мхами, росли в ней так же свободно, как и у себя на родине. Тут были: гигантские латании и финиксы с их широкими зонтичными листьями; фиговые и банановые, саговые и кокосовые пальмы возвышались к стеклянному потолку длинные голые стволы, увенчанные пышными пучками раскидистых листьев. Здесь же росли многие диковинные экземпляры, вроде эбенового дерева с черным стволом, крепким, как железо, кусты хищной мимозы, у которой листья и цветы при одном прикосновении к ним мелкого насекомого быстро сжимаются и высасывают из него соки; драцены, из стеблей которых вытекает густой, красный, как кровь, ядовитый сок. В круглом, необычайно большом бассейне плавала царственная Виктория, каждый лист которой может удержать на себе ребенка, и здесь же выглядывали белые венчики индийского лотоса, распускающего только ночью свои нежные цветы. Сплошными стенами стояли темные, пахучие кипарисы, олеандры с бледно-розовыми цветами, мирты, апельсиновые и миндальные деревья, благоухающие китайские померанцы, твердолистые фикусы, кусты южной акации и лавровые деревья.

Тысячи различных цветов наполняли воздух оранжереи своими ароматами: пестрые с терпким запахом гвоздики; яркие японские хризантемы; задумчивые нарциссы, опускающие перед ночью вниз свои тонкие белые лепестки; гиацинты и левкои – украшающие гробницы; серебристые колокольчики девственных ландышей; белые с одуряющим запахом панкрации; лиловые и красные шапки гортензий; скромные ароматные фиалки; восковые, нестерпимо

благоуханные туберозы, ведущие свой род с острова Явы; душистый горошек; пеонии, напоминающие запахом розу; вервена, цветам которой римские красавицы приписывали свойство придавать коже особенную свежесть и нежность и потому клали их в свои ванны, и наконец, великолепные сорта роз всевозможных оттенков: пурпурного, ярко-красного, пунцового, коричневого, розового, темно-желтого, нежно-желтого, палевого и ослепительно-белого.

Другие цветы, лишенные аромата, отличались зато пышною красотой, как, например, холодные красавицы камелии, разноцветные азалии, китайские лилии, голландские тюльпаны, огромные яркие георгины и тяжелые астры.

Но было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому, ничем не могло бы обратить на себя внимание, кроме разве своей уродливости. Прямо из корня выходили у него длинные, аршина в два, листья, узкие, мясистые и покрытые острыми колючками. Листья эти, числом около десяти, не поднимались кверху, а стлались по земле. Днем они были холодны, а ночью становились теплыми. Цветы никогда не показывались между ними, но зато торчал вверх длинный, прямой зеленый стержень. Это растение называлось Столетником.

Цветы в оранжерее жили своей особенной, для людей непонятной жизнью. Конечно, у них не было языка для того, чтобы разговаривать, но все-таки они друг друга понимали. Может быть, им для этого служил их аромат, ветер, который переносил цветочную пыль из одной чашечки в другую, или теплые солнечные лучи, заливавшие всю оранжерею сквозь ее стеклянные стены и стеклянный потолок. Если так изумительно понимают друг друга пчелы и муравьи, почему не предположить, что, хоть в малой степени, это возможно и для цветов?

Между некоторыми цветами была вражда, между другими – нежная любовь и дружба. Многие соперничали между собою в красоте, аромате и высоте роста. Иные гордились древностью рода. Случалось иногда, что в яркое весеннее утро, когда вся оранжерея казалась наполненной золотой пылью и в распустившихся чашечках дрожали алмазы росы, между цветами начинался общий несмолкаемый разговор. Рассказывались чудные благоухающие истории о далеких жарких пустынях, о тенистых и сырых лесных уголках, о диковинных пестрых насекомых, светящихся ночью, о вольном, голубом небе родины и о свободном воздухе далеких полей и лесов.

Один только урод Столетник был изгнанником в этой семье. Он не знал никогда ни дружбы, ни участия, ни сострадания, ни разу в продолжение многих длинных лет ничья любовь не согрела его своим теплом. И он так привык к общему презрению, что давно уже переносил его молча, затаив в глубине души острое страдание. Так же привык он быть и постоянным предметом общих насмешек. Цветы никогда не прощают своим собратьям уродливости.

Однажды июльским утром в теплице распустился цветок редкой кашемирской розы, темно-карминного цвета, с черным бархатным отливом на сгибах, удивительной красоты и чудного запаха. Когда первые лучи солнца заглянули сквозь стекла и цветы, проснувшись один за другим от легкой ночной дремоты, увидели распустившуюся розу, то со всех сторон послышались шумные возгласы восхищения:

– Как хороша эта молодая Роза! Как она свежа и ароматна! Она будет лучшим украшением нашего общества! Это наша царица.

И она слушала эти похвалы, стыдливая, вся рдеющая, вся облитая золотом солнца, точно настоящая царица. И все цветы в виде привета наклоняли перед ней свои волшебные венчики.

Проснулся и несчастный Столетник, взглянул – и затрепетал от восторга.

– О, как ты прекрасна, Царица! – прошептал он. И когда он это сказал, вся оранжерея наполнилась неудержимым смехом. Закачались от хохота надутые чванные тюльпаны, вздрогнули листья стройных пальм, зазвенели белые колокольчики ландышей, даже скромные фиалки улыбнулись сострадательно из своих темных кругленьких листьев.

– Чудовище! – закричал, задыхаясь от смеха, толстый Пион, привязанный к палке. – Как у тебя достало дерзости говорить комплименты? Неужели ты не понимаешь, что даже твой восторг отвратителен?

– Кто это? – спросила, улыбаясь, молодая Царица.

– Этот урод? – воскликнул Пион. – Никто из нас не знает, кто он и откуда. Он носит очень глупое имя – Столетника.

– Меня сюда привезли совсем маленьким деревцем, но он и тогда был так же велик и так

же гадов, – сказала высокая старая Пальма.

– Он никогда не цветет, – сказал Олеандр.

– Но зато весь покрыт колючками, – добавил Мирт. – Мы только удивляемся тем людям, которые к нам приставлены. Они ухаживают за ним гораздо больше, чем за нами. Точно это какое-нибудь сокровище!

– Я вполне понимаю, отчего за ним так ухаживают, – сказал Пион. – Подобные чудовища так редки, что их можно отыскать только раз в сто лет. Вероятно, он за это и называется Столетником.

Так до самого полудня насмехались цветы над бедным Столетником, а он молчал, прижав к земле холодные листья.

После полудня стало нестерпимо душно. В воздухе чуялось приближение грозы. Тучи, плывшие по небу, делались все темнее и темнее. Становилось трудно дышать. Цветы в истоме поникли нежными головками и затихли в неподвижном ожидании дождя.

Наконец вдали, точно рычание приближающегося зверя, послышался первый глухой раскат грома. Наступило мгновение томительного затишья, и в доски, которыми садовники быстро прикрывали стекла оранжереи, глухо забарабанил дождь. В оранжерее стало темно, как ночью. И вдруг Роза услышала около себя слабый шепот:

– Выслушай меня, Царица. Это я, несчастный Столетник, восторг которого перед твоей красотой вызвал у тебя утром улыбку. Ночная темнота и гроза делают меня смелее. Я полюбил тебя, красавица. Не отвергай меня!

Но Роза молчала, томясь от духоты и ужаса перед грозой.

– Послушай, красавица, я уродлив, листья мои колючи и некрасивы, но я открою тебе мою тайну. В девственных лесах Америки, там, где непроницаемые сети лиан обвивают стволы тысячелетних баобабов, куда не ступала до сих пор человеческая нога, – там моя родина. Раз в сто лет я расцветаю только на три часа и тотчас же погибаю. От моих корней вырастают новые побеги, для того чтобы опять погибнуть через сто лет. И вот я чувствую, что через несколько минут я должен расцвести. Не отвергай меня, красавица! Для тебя, для тебя одной я буду цвести и для тебя умру!

Но Роза, поникнув головкой, не отвечала ни слова.

– Роза! За один только миг счастья я отдам тебе целую жизнь. Неужели этого мало твоей царственной гордости? Утром, когда взойдут первые лучи солнца...

Но в это мгновение гроза разразилась с такой страшной силой, что Столетник должен был замолчать. Когда же перед утром кончилась гроза, то в оранжерее раздался громкий треск, точно от нескольких ружейных выстрелов.

– Это расцвел Столетник, – сказал главный садовник и побежал будить владельца оранжереи, который уже две недели дожидался с нетерпением этого события.

Доски со стеклянных стен были сняты. Вокруг Столетника молча стояли люди, и все цветы с испугом и восхищением обернули к нему свои головы.

На высоком зеленом стержне Столетника расцвели пышные гроздья белоснежных цветов невиданной красоты, которые издавали чудный, неопиcуемый аромат, сразу наполнивший всю оранжерею. Но не прошло и получаса, как цветы начали незаметно розоветь, потом они покраснели, сделались пурпурными и, наконец, почти черными.

Когда же взошло солнце, цветы Столетника один за другим завяли. Вслед за ними завяли и свернулись уродливые листья, и редкое растение погибло, чтобы опять возродиться через сто лет.

И Царица поникла своей благоухающей головой.

<1895>

## Просительница

Константин Петрович доканчивал свой утренний туалет. Сегодня он проснулся в отличнейшем расположении духа. Он сидел перед дорогим зеркалом, в котором отражалось его выхоленное, правда, несколько обрюзглое лицо; но ведь и не мудрено – ему под пятьдесят, и он лю-

бит пожить. Кое-где пробивается седина, в общем, вид очень внушительный, а главное, особенно сегодня, он чувствует себя молодым назло годам. Константин Петрович человек богатый, с положением, со связями; от него зависят судьбы других маленьких людей, и все блага жизни к его услугам, он это сознает и очень ценит. О, он давно уже отлично понял, что за хорошая штука жизнь и как хорошо можно устроиться в этом лучшем из миров! Надо только уметь пользоваться тем, что посылает судьба.

И Константин Петрович пользовался: на службе он с самым внушительным видом подписывал бумаги; если же у кого-нибудь из его друзей оказывались родственники, для которых нужна была вакансия, Константин Петрович всегда умел как-то особенно ловко создавать ее, помня, что всякая услуга обязывает друзей и что рука руку моет. Затем Константин Петрович любил комфортно жить, вкусно кушать и еще любил этих милых грациозных созданий, называемых женщинами, и в этой области он так удачно устраивал свои дела, что его доверчивая, добросердечная жена ничего не знала наверно, хотя, кажется, кое-что подозревала и, может быть, страдала от этого; но о страданиях других людей Константин Петрович не привык думать – это мешает жить.

Рассматривая себя в зеркале, Константин Петрович напевал какой-то веселенький мотив и игриво улыбался. Кстати он вспомнил, что у них в доме семейная радость: вчера молодой Н., к которому его дочь равнодушна, просил ее руки и получил согласие. Еще бы – такая прекрасная партия! – молодой человек со средствами и с блестящей будущностью. А у него тоже есть вкус к жизни! Константин Петрович усмехнулся: и собою не дурен, недаром у девочки закружилась головка! Слава богу, это дело устроено! Ведь дочерей нелегко выдавать замуж, подыскивать хорошую партию, а с ним девочка будет счастлива.

Окончив туалет, Константин Петрович в том же игривом настроении направился в столовую, где жена и дочь ожидали его к утреннему завтраку. Лакей широко распахнул двери столовой, и не успел он войти, как его дочь Лида весело подбежала к нему. Отец приподнял за подбородок ее хорошенькое личико и поцеловал в розовые губки.

– Итак, мы невеста! – проговорил он шутливо. Сияющее личико молодой девушки слегка вспыхнуло, и она засмеялась.

Константин Петрович поцеловал руку жены и солидно уселся за завтрак, продолжая шутить с дочерью.

«Да, – думал он про себя, глядя на дочь, – совесть моя может быть покойна, я сделал для Лиды все, что нужно: она прекрасно воспитана, она прожила весело и беззаботно свои восемнадцать лет и пользовалась всеми удовольствиями, доступными для молодой девушки. Теперь она делает прекрасную партию, и я дам ей приданое, которое навсегда обеспечит ее».

Впрочем, Константин Петрович вообще чувствовал полное спокойствие совести, относясь очень снисходительно к своим грешкам.

Окончив завтрак, Константин Петрович отправился к себе в кабинет, намереваясь заняться делами. В это время лакей доложил ему, что его хочет видеть по делу какая-то просительница. Константин Петрович слегка поморщился; просители довольно часто являлись к нему, да и не мудрено: мало ли бедного люда, нуждающегося в покровительстве влиятельного лица? Константин Петрович терпеть не мог этих визитов, но сегодня он был в таком благодушном настроении, что велел просить посетительницу. Через минуту в кабинет робко вошла молодая, очень хорошенькая девушка; она казалась сильно смущенной, очевидно, роль просительницы была ей непривычна. Увидав прелестное, нежное личико молодой девушки, Константин Петрович весь просиял и уже не раскаивался, что принял ее.

– Садитесь, пожалуйста, – заторопился он, придвигая ей кресло и садясь против нее у своего роскошного письменного стола, заваленного бумагами. – Чем могу служить? – проговорил он, впиваясь в посетительницу загоревшимся взглядом. Девушка робко оглядывала роскошный кабинет, тяжелые, дубовые шкафы, наполненные книгами, и стыдливо отводила глаза от соблазнительной картины, висевшей на стене. Ласковый голос хозяина немного ободрил ее. «Я расскажу ему все; когда он узнает, в каком мы безвыходном положении, неужели он не пожалеет нас? Не может быть!» – подумала молодая девушка и, все более ободряясь, начала свой рассказ, не подымая, впрочем, глаз на Константина Петровича. Она пришла просить места в правлении; там открывается вакансия, и от него зависит дать ей это место; а они так нуждаются – большая

слабая мать и младший брат, за которого надо платить в гимназию; мать шьет, но много ли заработаешь этим? А она все время тщетно искала уроков, и это место осчастливило бы их всех.

Константин Петрович рассматривал в лорнет молодую девушку и думал: «Так, так... бедна и красива, черт возьми!.. А какая дурочка – да это же прелесть!.. Мне положительно везет!.. И как родеет... с такой-то красотой!.. А ресницы?.. В жизни не видал таких ресниц!»

В это время молодая девушка окончила свой рассказ и подняла на Константина Петровича свои большие глаза, полные мольбы и надежды. Константин Петрович как-то заерзал на стуле.

– О, я готов, сударыня! – заговорил он необыкновенно слащаво и даже пришепетывая от волнения. – Мало того, место, вы говорите, у вас есть маленький брат; его можно на казенный счет; все это я устрою.

Он на минуту приостановился, любуясь на засиявшее благодарностью личико молодой девушки.

– Только вот что, – промямлил он еще слаще, – зачем вам все это? Ну, место можно... для виду. А только с вашей наружностью – это вздор! Вы можете быть богатой!

Он замолчал, внимательно следя за тем впечатлением, какое произведут его слова на молодую девушку.

– То есть как это? – спросила она удивленно.

– А очень просто, mademoiselle! Вы так прелестны... у вас будет хорошенькая квартирка, ну и все такое прочее... а я буду навещать вас... и вашего брата мы пристроим... хе, хе, хе!

Молодая девушка, казалось, все еще не понимала и глядела на Константина Петровича, широко раскрыв глаза, с каким-то растерянным видом.

– Право, так будет лучше! – проговорил он, придвигая свое кресло и намереваясь взять ее за руку.

Но она наконец поняла и вскочила, как ужаленная; лицо ее покрылось ярким румянцем, а в глазах заблистали слезы гнева и обиды.

– Что вы сказали? Боже мой! как вы могли?.. – голос ее оборвался, губы задрожали.

– Ну, ну, полно! – заговорил Константин Петрович взволнованно, едва владея собой и любуясь ее растрепавшимися локонами. – Никто не узнает... и что ж тут дурного? Разве меня нельзя полюбить? Разве я уж так стар? или ваше сердечко занято? Какой-нибудь студентик... С милым рай и в шалаше! Но ведь со мною лучше, право! И меня еще можно полюбить!

В это время за дверью послышался звонкий голосок:

– К тебе можно, папа? Он пришел и принес мне подарок; я хочу показать тебе. Дверь немного приотворилась, и в ней показалась головка Лиды.

– Извините! – проговорила она, кидая мимолетный, но любопытный взгляд на другую такую же, как она, молодую девушку и инстинктивно дружески, весело улыбаясь ей.

Дверь снова затворилась, шаги замолкли. Константин Петрович был сильно смущен и сердито нахмурился.

– Послушайте, – проговорила, задыхаясь, юная просительница, – это ваша дочь! Помните, ведь я такая же девушка, как она, если бы ей кто осмелился сказать это? А вы оскорбили меня.

И она быстро направилась к дверям.

– Ну, моя дочь... тоже... вот вздор! – проворчал Константин Петрович. – Однако, mademoiselle, позвольте! Я вовсе не хотел оскорбить вас! – прокричал он ей вслед. – Вы подумайте, я все-таки буду ждать вас!

Но молодая девушка уже скрылась в дверях.

– Как, однако, Лида некстати; надо сделать замечание. А та – просто прелесть!.. Как разгневалась, и это очень ей идет... Надо будет для нее что-нибудь сделать. Константин Петрович с улыбкой развалился в кресле и закурил душистую гаванку.

Молодая девушка (звали ее Леля) быстро шла, не замечая ни улиц, ни прохожих, взволнованная и глубоко оскорбленная. Слезы стояли в ее прекрасных глазах, а лицо то бледнело, то вспыхивало. Она была еще молода и очень неопытна; как надеялась она на свой гимназический диплом по окончании курса, с какою самоуверенностью вступила она в жизнь, как мечтала помогать матери! «Лишь бы была охота, а работа всегда найдется!» – думала она. Но в последние

месяцы ей пришлось пережить много горьких разочарований – уроков нигде не было; предложение всегда превышало спрос; все места были заняты, и, несмотря на полную готовность трудиться до упаду, работы не было. Сегодня исчезла последняя надежда. Правда, Леля привыкла уже получать отказ, но ее еще ни разу не оскорбляли.

«Что скажу я маме? – думала она с тоскою. – Где теперь взять денег заплатить за брата? Пожалуй, исключат! А теплая одежда к зиме? Господи, да что же это такое?»

В этих грустных размышлениях, с тяжестью на сердце, Леля не заметила, как дошла до дому. Еще в прихожей услышала она стук машины, на которой с утра до вечера шила ее мать, зарабатывая гроши. Когда она вошла в комнату, мать, взглянув на ее бледное, убитое лицо, не сказала ни слова.

Леля села возле матери и тихо, горько заплакала; бедная женщина оставила работу, но не пыталась утешить дочери – тяжелые думы одолевали и ее.

«Да, средств нет! Младший сын дурно учится, и его не хотят освободить от платы за учение. Нанять репетитора нет средств, а ведь тоже хочется вывести сына в люди. Вот и дочь молодая, а сколько у бедняжки заботы».

– Ну, полно плакать, голубка! – попыталась она утешить молодую девушку. – Перебьемся как-нибудь, авось бог даст! я схожу тут к одной даме, она знала меня еще в девушках, давно это, правда, было, но бог не оставит нас!

Леля прильнула к плечу матери, удерживая слезы. «Нет, я ни за что не скажу ей, как он оскорбил меня! – думала Леля. – К чему прибавлять бедной маме еще это горе? все равно!»

Мать и дочь молча задумались о том, отчего так тяжело жить на свете? Отчего никому не нужен их труд? И плохо верилось им в помощь и сочувствие той дамы, которая знала Лелину мать еще в девушках. Что-то будет с ними впереди?

<1895>

## Картина

### I

На вечере у одного известного литератора, после ужина, между собравшимися гостями загорелся неожиданно горячий спор о том, бывает ли в наше, скудное высокими чувствами, время настоящая, непоколебимая дружба? Все единогласно высказались, что – нет, такой дружбы не бывает и что теперешняя дружба многих испытаний совсем не может выдержать. В определении же причин, расторгающих дружбу, спорщики разошлись. Один говорил, что дружбе мешают деньги, другой – женщина, третий – сходство характеров, четвертый – бремя и заботы семейной жизни, и все в таком роде.

Когда же спорщики, накричавшись вдоволь и ничего не выяснив, устали, тогда один почтенный человек, до сих пор в прения не вступавший, сказал:

– Все, господа, сказанное вами, очень веско и замечательно. Однако я знаю в жизни пример, когда дружба прошла сквозь все перечисленные препятствия и осталась неприкосновенною.

– И что же, – спросил хозяин, – эта дружба так до гроба и продолжалась?

– Нет, не до гроба. А тому, что она пресеклась, была особая причина.

– Какая же? – спросил хозяин.

– Причина очень простая и в то же время удивительная. Дружбу эту расторгнула святая Варвара.

Так как из гостей никто не понял, как это святая Варвара могла в наш меркантильный век разорвать дружбу, то все просили Афанасия Силыча (так звали почтенного человека) объяснить свои загадочные слова.

Афанасий Силыч на это улыбнулся и ответил:

– Тут загадочного ничего нет. История эта простая и печальная, история страданий большого сердца. И если вам действительно угодно будет послушать, то я сейчас ее с удовольствием и расскажу.



Все приготовились слушать, и Афанасий Силыч начал свой рассказ.

## II

В начале девятнадцатого столетия была известна богатством, знатностью рода и большою гордостью фамилия князей Белоконь-Белоноговых. Но сама судьба эту фамилию осудила на вымирание, так что теперь об ней уже нет и помину. Последний ее боковой отпрыск – не в осуждение говорю – кончил недавно свое земное поприще в аржановском доме (есть такой известный ночлежный вертеп в Москве) среди золоторотцев, пьяниц и разбойников. Но до него мой рассказ не коснется, потому что предметом его будет князь Андрей Львович, с которым и прекратилась прямая линия.

При жизни отца – а это было еще во время крепостной зависимости – князь Андрей служил в гвардии и считался одним из самых блестящих офицеров. Деньгам счету не знал, танцор, красавец, женский любимец, дуэлист, – ну, чего еще, кажется? Однако, когда папаша скончался, князь Андрей службу бросил, как его ни уговаривали остаться. «Я, говорит, с вами пропаду здесь, а мне любопытно узнать все, что мне от судьбы определено».

Странный он был человек, своеобразный и, так сказать, фантастический. Лестно ему казалось всякую свою мечту сейчас же и на деле доказать. Как только схоронил он князя Льва Андреевича, так сейчас и закатился по заграницам. Удивительно, где его ни носило! Высылались ему деньги через всякие агентства и банкирские дома, то в Париж, то в Калькутту, то в Нью-Йорк, то в Сидней. Это все, опять повторяю, мне доподлинно известно, так как мой отец был у него главным управляющим над всеми его двумястами тысяч десятин.

Через четыре года воротился князь Андрей, исхудалый, бородищей оброс, сам от загара коричневый, – и узнать трудно. Как приехал, да засел в своей пнищевской усадьбе, да надел халат, только его и видели. Заскучал.

А я в то время к князю очень сделался вхож, потому что он меня полюбил за мой характер веселый, и все-таки я кое-какое образование получил, так что мог ему собеседником служить. Опять же я свободный человек был: отец меня еще при князе Льве Андреевиче откупил.

Всегда князь Андрей встречал меня ласково и садиться велел. Даже сигарами потчевал. Сидеть я при нем скоро привык, а к сигарам никак притерпеться не мог – все у меня от них вроде морской болезни делалось.

Любопытно мне было все эти вещи рассматривать, какие князь из путешествия с собою привез. Шкуры тигровые и львиные, сабли кривые, божков, чучела зверей разных, дорогие камни и материи. А князь, бывало, лежит на диване своем огромном, курит и хоть над моим любопытством смеется, однако все это сейчас же объяснит. А потом, как увлечется сам да начнет свои приключения рассказывать, так, поверите ли, у меня от восторга мураши по спине бегали. Только он говорит-говорит, да вдруг сморщится и замолкнет. Ну и я молчу. Тогда князь вдруг и скажет:

– Скучно мне, Афанасий. Ну вот я весь свет объехал, все видел, в Мексике лошадей диких ловил, в Индии на тигров охотился, и тонул, и песком меня засыпало – ну, а дальше что же? Нет, – говорит, – ничего на свете нового.

А я ему на это, знаете, по простоте отвечаю:

– Вам бы жениться, князь.

Он на это только засмеется.

– Я бы, – говорит, – женился, когда бы нашел женщину такую, чтобы я ею дорожил и уважал бы ее. Я вот всех наций и сословий женщин видел, и все-таки я не урод, и не глуп, и богат, так что они мне знаки своего внимания очень оказывали, а такой женщины, какую мне нужно, я не видел. Все они либо продажны, либо развратны, либо глупы, либо уж чересчур добродетельны, и с ними одна тоска. А мне все-таки скучно. Вот другое дело, если бы у меня какой-нибудь талант или дар был...

Я на это обыкновенно говорю:

– Да какого же вам еще, князь, таланта надобно? Слава богу, из себя красавец, земли, сами говорите, больше, чем у иного немецкого принца, силищей этакой бог наградил. Я бы и никакого таланта не желал.

А князь усмехнется на это и скажет:

– Глуп ты, Афанасий, и еще чересчур молод. Поживешь и, коли не исподличаешься, вспомнишь мои эти самые слова.

### III

Впрочем, у князя Андрея был свой талант и, на мой взгляд, даже очень большой, а именно – живописный, к чему он еще в детстве оказывал склонности. Будучи за границей, князь почти с год провел в Риме, учился рисовать картины и даже, как он сам рассказывал, одно время думал сделаться настоящим художником, но почему-то раздумал или заленился. Сидя у себя в Пнищах, он про свои занятия вспомнил и опять принялся рисовать красками. Нарисовал реку, мельницу, образ святителя Николая для церкви – очень хорошо нарисовал.

А кроме этого занятия, было у князя еще одно развлечение – ходить на медведя. В наших местах этого зверя – страсть сколько. И ходил всегда по-мужицки, с рогатиной и с ножом, а с собой брал только охотника Никиту Драного. «Драным» его называли за то, что ему медведь с черепа кожу своротил, так он навеки и остался.

С народом был прост и приветлив. Так прост, что если понадобится мужику лесу на избу или лошадь пала, сейчас так прямо к князю и идет, – знает, что отказу не будет. Только рабства и лакейства не любил и, вот тоже, лжи никогда не прощал никому.

За что его еще крепостные обожали, так это за то, что озорства по части женской за ним не водилось, – извините за грубое слово. Девки в нашей стороне на всю Россию красавицы, и другие господа помещики целые гаремы держали, так что и для себя и для гостей. А у нас ни-ни. То есть, конечно, без этого не обходилось, по человеческой слабости, впрочем, тихо и скромно, на стороне, и никому обиды не выходило из этого.

Однако как ни был князь Андрей с низшими прост и пленителен, а с равными и с начальством был горд и дерзок, даже и без надобности. Особенно не любил чиновников. Бывало, приедет какой-нибудь по откупной части, или по полицейской, или по акцизной (а тогда дворяне еще службу для себя почитали, кроме военной, унижительной), приедет, да как иногда человек еще новый и начнет петушиться. «Почему *то* не так да *то* не этак!» Управляющий ему вежливо докладывает, что, мол, князево распоряжение, и отменять никак нельзя. Значит, понятно: получай свою положенную мзду и удаляйся. А тот все храбрится: «Да что мне ваш князь, я сам здесь закона представитель!» И сейчас, чтобы его до самого князя вели. Отец, бывало, уж из жалости остерегает: «Князь, дескать, у нас на руку тяжеленек». Куда! И слушать не хочет. Ну, таким манером, он и к князю Андрею наскоком является. «Помилуйте, что это за беспорядки? Да где это видано? Да я, да мы!» Князь все молчит-молчит, да вдруг как побагровеет да глазами сверкнет – страшный был во гневе человек. «На конюшню, каналью!» – крикнет. Ну, сейчас, натурально, расправа. В то время многие помещики это одобряли и почему-то все на конюшне. По обычаю предков. А потом, через дня два, отец тайно от князя едет в город и наказанному везет пакетик с радужными. Я, бывало, уж осмелею, да и скажу ему: «Князь, а ведь чиновник-то жаловаться будет, как бы вам в ответе быть не пришлось». А он мне на это: «Ну, так что же? Пусть с меня взыскивает бог и мой великий государь, а я за продерзость наказан обязан».

Да на что же лучше, помилуйте, ведь он раз такую шутку губернатору отлил. Прибегает к князю Андрею однажды рабочий с паромом и докладывает, что на той стороне реки губернатор. Князь и говорит:

– Ну так что же из этого?

– Да он, говорит, паром требует, ваше сиятельство. Умный был мужик, знал Князев характер.

– Как это он требует паромом?

– Исправник послал сказать, чтобы немедленно паром был.

Князь сейчас же распорядился:

– Не давать паромом.

Так и не дали. Тогда губернатор догадался и присылает записку, что, мол, так и так, дорогой Андрей Львович (а они были между собою троюродные кузены), окажи твою любезность, дай мне паром. И подписал имя и фамилию. Ну, уж тут сам князь его любезно на берегу встре-

тил и такой банкет ему задал, что целую неделю губернатор выехать из Пнищей не мог.

А дворянам, даже самым захудалым, князь в случае недоразумений не отказывал в сатисфакции. Однако его остерегались, потому что знали его характер неукротимый и знали, что он в восемнадцати дуэлях на своем веку участвовал. Дуэли в ту же пору между дворянами были даже очень обыкновенным делом.

#### IV

Так и прожил князь Андрей в пнищевской усадьбе года два с лишком. А тут как раз подошел царский освободительный манифест, и начался среди господ помещиков переполох. Многие даже очень недовольны были, засели у себя в глуши и принялись докладные записки писать. Другие, которые поскупее и подальновиднее, норовили как бы со своими выкупными свидетельствами да с землей какую ни на есть выгоду соблюсти. А были и такие, что в ту пору очень опасались бунта крестьянского и просили для ихнего ограждения у начальства хоть каких-нибудь местных инвалидов.

Князь Андрей, когда пришел манифест, собрал своих мужиков и очень простыми словами, однако без искательств, им объяснил: «Вы, мол, теперь свободны, так же как и я. Это так и должно было случиться. А вы свободу свою во зло не обращайтесь, потому что начальство вам всегда может заглянуть туда, откуда ноги растут. Да помните, что как был я вам раньше помещиком, так и теперь буду. А землю берите на выкуп, какой сможете поднять».

И с этими словами уехал внезапно в Петербург.

А вам, господа, я думаю, хорошо известно, что в то время в обеих столицах делалось. Сразу тогда у дворян очутились в руках целые вороха деньжищ, и пошла катавасия. На что уж удивляли всю Россию откупщики да концессионеры с банкирами, однако перед господами помещиками оказались они мальчишками и щенками. Ужас, что творилось! Иной раз за одним ужином целые состояния пускались на ветер.

Вот так князь Андрей в самый водоворот и попал и закрутился. Да еще вдобавок с товарищами полковыми встретился и потом уж никакого удержу знать не хотел. Однако прожуировал недолго, потому что вскоре не своей охотой должен был Петербург оставить. И все из-за лошадей.

#### V

Ужинал он в компании большой со своими офицерами в самом что ни на есть модном ресторане. Пили очень много и все больше шампанское. Только вдруг зашла у них речь о лошадях, – известно, постоянный разговор офицерский, – у кого в Петербурге лошади самые резвые. Один казак – фамилии его не помню, только знаю, что был он из кавказских владетельных князей, – этот казак и скажи в ту пору, что резвее всех пара вороных жеребцов у..., - и назвал чрезвычайно высокопоставленную особу.

– Это, – говорит, – не кони, а варвары. С ними один только Илья и может управиться, и никому тех злодеев не обогнать.

А князь Андрей засмеялся на это.

– Да я, – говорит, – их на своих соловых обгоню. А казак говорит:

– Нет, не обгонишь.

– Ан нет, обгоню.

– Не обгонишь.

– Обгоню.

– Ну, в таком разе, – говорит казак, – мы с тобой об заклад сейчас пойдем.

И пошли об заклад. Поставили условие, что ежели князь Андрей осрамится, то он казаку пару соловых отдает и к ним сани и карету с серебряной сбруей, а если князь Илью обгонит, то казак должен все билеты в театре оперном купить, когда госпожи Барбы представление пойдет, и самому казаку чтобы забраться на галерею и никого в театр не пускать. А в то время госпожой

Барбо весь бомонд<sup>33</sup> сильно пленялся.

Ну-с, прекрасно. На другой день князь просыпается и велит лошадей соловых закладывать. Коньки на вид были неважные, так себе – степнячки косматенькие, однако довольно прыткие, а главное – угонистые и в скачке имели чрезвычайно долгий дух.

Тут уже товарищи видят, что дело не на шутку идет, стали князя отговаривать: «Брось ты это самое пари, потому что как бы тебя не упекли за твою фантазию куда-нибудь». Однако князь их не послушал и велел позвать кучера Варфоломея.

Кучер Варфоломей был человек мрачный и, так сказать, отвлеченный. Силищей его господь наградил ни с чем не соразмерной, так что он мог тройку на всем скаку остановить. Аж лошади на задние ноги падут. Пил ужасно, разговаривать ни с кем не любил, а князя своего хоть и обожал всей душой, но был с ним груб и заносчив, за что иногда свою порцию березовой каши и получал. Призвал князь Варфоломея и говорит ему:

– Можешь ты, Варфоломей, нынче одну пару на наших соловых обогнать? Варфоломей спрашивает:

– Какую?

Князь ему рассказал, как и что. Варфоломей затылок почесал.

– Знаю я, – говорит, – эту пару, да и Илья довольно мне хорошо известен. Человек опасный. Однако, ежели вашему сиятельству угодно, обогнать можем. Только в случае соловые пропадут – не гневайтесь.

– Хорошо. Сколько же тебе теперь надо водки в твое горло влить?

Но Варфоломей от водки отказался.

– Меня, – говорит, – пьяного лошади не уважают.

Сели и поехали. Стали на конце Невского проспекта. Дожидаются. Заранее было известно, что особа в полдень должна была проехать. Так и случилось. В полдень показалась пара вороных, Илья кучером, и в санях – особа.

Только дал им князь маленько отъехать и говорит:

– Валяй!

Пустил Варфоломей соловых. Как услышал Илья за собой топ конский – обернулся; обернулась и особа. Илья дал коням вожжи, и Варфоломей тоже надбавил ходу. А хозяин тех вороных был человек пламенный, бесстрашный и до лошадей большой охотник. Он Илье и говорит:

– Чтобы этот нахал нас обогнать не смел.

Что тут началось, я и сказать не умею. И кучера и кони точно сбесились: снег прямо тучей над ними. Сначала-то вороные как будто и обогнали, однако долго выдержать не могли, приустиали. Князь Андрей около самого вокзала вперед выскочил, а особа ему этак гневно пальцем погрозила.

А на другой день князя вызвал к себе петербургский губернатор, господин светлейший князь Суворов, и сказал ему так:

– Уезжайте-ка вы, князь, скорее из Петербурга. Если вас не наказали примерно, то это потому только, что особа, которой вы вчера дерзость оказали, имеет большое пристрастие к людям отчаянным и смелым. И об вашем пари ей также все известно. Но уж больше в Петербург ни ногой, и то благодарите господу, что дешево отделались.

Однако, господа, я о князе Андрее заболтался, а к тому, что обещал доказать, еще и не приступал. Впрочем, скоро и конец моему повествованию. А главное, я, хоть и разбросанно, но все-таки личность князя Андрея описал, как мог.

## VI

После знаменитой своей скачки поехал князь в Москву и там продолжал вести петербургскую линию, только в увеличенном размере. Одно время только об его причудах и было по всему городу разговоров. Вот тут-то и случилось с ним то, над чем он в Пнищах издевался. Стала на его пути женщина.

<sup>33</sup> высший свет (от франц. beau monde)

Да какая же, я вам доложу, женщина! Королева! Теперь и нет таких больше. Красоты самой удивительной... Была она прежде актрисой, потом вышла замуж за купца-миллионера, а когда купец умер, то она ни за кого замуж выйти не пожелала, говорила, что ей свобода дорога.

И чем она прельстила особенно князя, так это своею небрежностью. Никого она знать не хотела, ни богатых, ни знатных, и своим большим деньгам никакого внимания не оказывала. Как увидел ее князь Андрей, так сразу и влюбился. Привык он к тому, чтобы ему сразу на шею вешались, и потому женщин мало уважал. А тут вдруг точно его и не замечают. Весела, приветлива, букеты и подарки принимает, а чуть он о чувствах – она сейчас же в смех. Это князя и уязвило. Прямо даже до затмения рассудка.

Вот как-то раз поехал князь с Марьей Гавриловной – королеву-то звали Марьей Гавриловной – в Яр, слушать цыган, и с ними – большая компания, человек в пятнадцать. Тогда вокруг князя целая толпа прихвостней вѣтшалась, так ее и звали белоноговским штабом. Сидят они все за столом, пьют вино, цыгане им поют и пляшут. Вдруг Марье Гавриловне курить захотелось. Взяла она пахитоску – курили тогда из соломы вертушки такие – и ищет огня. Князь это увидел и моментально – хватить билет банковый в тысячу рублей, зажег об свечу и подает. Все кругом так и ахнули, фараоны даже петь перестали, и глаза у них от жадности блестят. В это время кто-то за соседним столом не очень громко, однако довольно явственно, сказал:

– Дурак!

Князь вскочил, точно его шилом кольнули. А за соседним столом сидит этакий маленький, тщедушный человечек и на князя глядит прямо в упор самым спокойным образом. Князь сейчас к нему:

– Как вы осмелились мне сказать «дурак»? Кто вы такой?

Маленький человечек ему на это очень хладнокровно:

– Я, – говорит, – художник Розанов. А дураком назвал вас потому, что на эти деньги, что вы сожгли из фанфаронства, можно было бы четырех больных целый год в больнице содержать.

Все сидят, ждут, что будет. Характер-то князя неудержимый хорошо был известен. Или он этого маленького человечка сейчас бить начнет, или на дуэль вызовет, или даже просто прикажет посечь.

И вдруг князь, мало помолчавши, обращается к художнику с такими неожиданными словами:

– Вы, господин Розанов, совершенно правы. Я действительно дураком себя перед хамами показал, и теперь, ежели вы мне руки не протянете и от меня не возьмете сейчас пяти тысяч для Мариинской больницы, то этим мне тяжкую нанесете обиду.

А Розанов отвечает:

– И деньги возьму, и руку вам протяну с одинаковым удовольствием.

В это время Марья Гавриловна князю тихонько шепчет:

– Позовите художника к нам, а штабу своему велите убраться.

Князь учтиво обратился к господину Розанову и попросил к ним подсесть, а потом повернулся к штабу и сказал:

– Чтобы я вас здесь больше не видел.

## VII

И завязалась с той поры между князем и Розановым теснейшая дружба. Друг без друга дня провести не могут. Либо художник у князя, либо князь Андрей у художника. А Розанов жил тогда на Третьей Мещанской, на четвертом этаже, занимал две комнаты: одна мастерская, другая спальная. Звал его все князь к себе переехать, но художник отказывался. «Ты мне, говорит, и так очень дорог, а кроме того, я в богатстве заленюсь и свое искусство позабуду». Так и не переехал.

Все им друг в друге интересно было. Начнет Розанов говорить о живописи, о картинах разных, о жизни великих художников, – князь слушает, слова не проронит. А потом князь примется про свои приключения в диких странах рассказывать, – у художника и глаза заблестят.

– Постой, – скажет, – вот я скоро думаю одну большую картину написать. Тогда у меня хорошие деньги будут, и мы вместе за границу поедем.

– Да зачем тебе деньги? – спросил князь. – Хочешь завтра поедем? Все, что у меня есть, я с

тобой могу поделить.

Но художник стоял на своем.

– Нет, подожди, я картину напишу, а тогда уже и будем говорить.

Настоящая была между ними дружба. И даже удивительно: такое влияние Розанов над князем имел, что удерживал его от многих горячих и необдуманных поступков, к которым князь по своей пылкой натуре был весьма склонен.

## VIII

Любовь князя к Марье Гавриловне не только не уменьшалась, но еще более распалась, только все ему не было успеха. Он у нее сколько раз руки и сердца на коленях просил, но она ему все одно отвечает: «Что же я, говорит, сделаю, если я вас не люблю?» – «Ну, не любите, – говорит князь, – может, потом слюбится, а без вас я несчастный человек». А она ему на это отвечает: «Мне очень вас жаль, но вашей беде я помочь не могу». – «Да вы, может быть, кого-нибудь уже любите?» – «Может быть, и люблю». И сама смеется. Затосковал князь. Лежит у себя дома на диване лицом к стене, хмурый, молчит, от еды его даже отбило. В доме все на цыпочках ходят... В одну из таких минут как-то приезжает Розанов, тоже лица на нем нет. Вошел в князев кабинет, поздоровался и молчит. И оба молчат. Наконец художник с духом собрался и говорит:

– Послушай, Андрей Львович, мне больно, что я тебе сейчас дружеской рукой удар нанесу.

Князь, лежа лицом к стенке, отзывается:

– Пожалуйста, без прелюдий, говори прямо. Тогда художник прямо и объяснился:

– Теперь мне Марья Гавриловна вроде как жена.

Князь спрашивает:

– Может быть, ты с ума сошел?

– Нет, – говорит художник, – я с ума не сошел. Марью Гавриловну я давно любил, но не смел ей своих чувств открыть. А сегодня утром она мне сказала: «Что нам друг от друга прятаться? Я давно вижу, что вы меня любите, и сама я также вас люблю. Только замуж за вас не выйду, а будем так...»

Рассказал художник всю эту историю, а князь лежит, не шевелится и ни слова в ответ. Розанов посидел, поглядел, да и вышел тихонько из кабинета.

## IX

Однако через неделю переломил себя князь Андрей, хотя ему это много стоило, потому что он даже сединой пошел. Приехал он к Розанову и объявил ему:

– Я вижу, насильно мил не будешь, а только я из-за бабы не хочу единственного друга терять.

Розанов его обнял и заплакал. А Марья Гавриловна ему руку протянула (она тут же была) и говорит:

– Я вас очень уважаю, Андрей Львович, и тоже хочу быть вашим другом.

Тогда князь совсем повеселел, и лицо у него сделалось ясное.

– А ведь признайтесь, – говорит, – не назови меня Розанов тогда в Яре дураком, вы бы его не полюбили?

Она только улыбается.

– Очень даже вероятно, – говорит.

А через неделю вот что случилось. Приехал к ним князь Андрей скучный, рассеянный. Говорил о том, о другом, а у самого как будто мысль какая-то в голове гвоздем сидит. Художник, зная натуру князя, спрашивает, что с ним.

– Да так, пустяки, – говорит князь.

– Ну, а все-таки?

– Да говорю, пустяки. Предприятие это, банк дурацкий, где мои деньги лежали...

– Ну?

- Лопнул. И теперь у меня всего имущества только то, что на мне есть.
- Это действительно пустяки, – сказал Розанов и сейчас же позвал Марью Гавриловну и приказал ей очистить верх дома для помещения князя.

## X

Так и поселился князь Андрей у Розанова. Целый день лежит на диване, читает романы французские и ногти шлифует. Но это ему скоро наскучило, и он однажды сказал Розанову:

– А ты знаешь, я ведь тоже рисовать-то учился.

Розанов удивился.

– Не может быть?

– Нет, учился. Я тебе даже и картины свои покажу.

Посмотрел Розанов и говорит:

– У тебя очень большие способности, только ты дурацкую школу прошел. Князь так и обрадовался.

– Ну, а что, – спрашивает, – ежели я теперь заниматься буду, могу я что-нибудь путное написать?

– И даже очень можешь.

– А если я до сих пор баклуши бил?

– Это ничего не значит. Трудом одолеешь.

– А голова моя седая?

– Тоже ничего. Другие поздней начинали. Если хочешь, я и сам с тобой займусь.

И начали вдвоем заниматься. Розанов только удивляется, какой у князя развертывается громадный дар к живописи. А князь в работу так и вьелся, отходить не хочет, так что уж художник силком его отрывал.

Прошло месяцев с пять. Раз приходит Розанов к князю Андрею и говорит ему:

– Ну, коллега, теперь ты созрел и уже понимаешь, что такое рисунок и школа. Прежде ты был дикарем, а теперь у тебя и вкус тонкий вырабатывается. Пойдем со мною, я тебе покажу ту картину, о которой уже не раз намекал. До сих пор она для всех была тайной, а тебе я ее покажу, и ты мне свое мнение скажешь.

Повел он князя в мастерскую, поставил его в надлежащий угол зрения и открыл занавес, опущенный над картиной. А на картине была изображена святая Варвара, омывающая прокаженному на ноге язвы.

Долго стоял князь перед картиной, и лицо у него сделалось мрачное, точно потемнело.

– Ну, как же ты находишь? – спрашивает Розанов. А князь отвечает со злобой:

– Так нахожу, что я теперь больше к кистям никогда и притрагиваться не буду.

## XI

Картина художника Розанова была произведением высокого вдохновения и труда. Представляла она, как святая Варвара стоит на коленях перед прокаженным и омывает его ужасную ногу, а лицо у нее светлое, радостное и красоты неземной. А прокаженный смотрит на нее с молитвенным восторгом и неизъяснимою благодарностью. Удивительная была картина! Розанов готовил ее для выставки, но об ней заранее прокричали газеты и молва. Повалила в мастерскую Розанова публика. Придут, взглянут на святую Варвару да на прокаженного, да так и стоят по часу и более. И тех, которые ничего в искусстве не понимали, слеза прошибала. Один англичанин был тогда в Москве, мистер Бродлей, так он с первого раза предложил Розанову за картину пятнадцать тысяч. Однако Розанов не согласился.

А с князем в то время что-то странное приключилось. Ходит пасмурный, исхудалый, ни с кем не говорит. Запивать начал. Розанов пробовал его разговорить – отвечает дерзостями. А когда публика из мастерской уходила, сядет князь Андрей перед мольбертом со святой Варварой и сидит целыми часами неподвижно, смотрит...

Так это продолжалось недели две с лишком, а там и случилось неожиданное и, поистине,

скажу, ужасное дело. Приходит однажды Розанов домой и спрашивает, дома ли князь Андрей Львович. Слуга ему докладывает, что князь спозаранку ушел, а самому Розанову записку оставил.

Взял Розанов записку и прочел. А в записке вот что стояло:

«Прости мой ужасный поступок. Я был в безумии и через минуту уже раскаялся. Я уйду совсем, потому что у меня не хватает сил убить себя». И затем подпись.

Тогда Розанов все понял. Кинулся он в мастерскую и увидел, что его божественное произведение лежит на полу истерзанное, растоптанное, искрошенное ножом...

Тогда он заплакал и сказал:

– Мне не жаль картины, а мне жаль его. Зачем он мне не сказал, что у него в душе было. Я бы сам тогда поскорее картину продал или подарил кому-нибудь.

А об князе Андрее с той поры нет ни слуху ни духу, и никому не известно, что он пережил после своего безумного поступка.

<1895 >

## Страшная минута

Просторная новая терраса дачи была очень ярко освещена лампой и четырьмя канделябрами, расставленными на длинном чайном столе. Июльский вечер быстро темнел. Старый липовый сад, густо обступивший со всех сторон дачу, потонул в теплом мраке. Только листья сирени, в упор освещаемые лампой, резко и странно выступали из темноты, неподвижные, гладкие и блестящие, точно вырезанные из зеленой жести. Ни шороха, ни звука не доносилось из заснувшего сада. Несмотря на раздвинутые полотняные занавеси, свечи горели ровным, немигающим пламенем. Было душно, и чувствовалось, что в нагретом наэлектризованном воздухе медленно надвигается ночная гроза. Пахло медом, цветущей липой и бузиной.

Варвара Михайловна Рязанцева приготавливала на террасе с помощью горничной чай для собравшихся гостей. Перебравшись на дачу, она и ее муж не прекратили по вторникам своих интимных вечеров, которые сделались только малолюднее и теснее, потому что собирались на них исключительно дачные знакомые. Городским было неудобно ездить за пятнадцать верст на какие-нибудь три-четыре часа.

Варвара Михайловна веселыми, возбужденными глазами оглядывала стол, покрытый новой, нигде не смятой скатертью, на снежной белизне которого так приятно веселили глаз серебряные сахарницы, молочники, и ложки, и блестящие хрустальные вазы с вареньем, конфетами и фруктами. В продолжение всех четырех лет замужества она интересовалась своим небольшим хозяйством с живой и искренней любовью, свойственной молодым женщинам, привыкшим окружать мужа нежной заботливостью.

Она обожала своего мужа, несмотря на двадцатилетнюю разницу в их годах. Этот человек, известный всему ученому миру крупными работами в области бактериологии, был в частной жизни большим ребенком, болезненным, хилым, бесконечно добрым, рассеянным до анекдотической степени и деликатным до робости. Варвара Михайловна гордилась честью носить его славную фамилию неутомимого ученого и безукоризненно честного человека, но еще больше гордилась тем, что она создала для него и постоянно поддерживала комфорт и порядок семейной жизни и что сумела незаметно сделаться во всем ему необходимою: его нянькою, его памятной книжкой, его другом. И теперь, занятая хлопотливыми обязанностями хозяйки, часто с заботливой любовью поглядывала через двери в гостиную, где в углу над шахматным столиком склонилась большая, характерная голова Рязанцева с открытым шишковатым лбом мыслителя и с детскими глазами, голубыми и ясными.

Когда чай был готов, Варвара Михайловна пригласила гостей на террасу. В гостиной остались только ее муж и его всегдашний партнер, старый профессор Ильченко, оканчивавшие партию. Она подошла к ним и, облокотившись сзади на стул мужа, спросила, где они будут пить чай. Ильченко, проигравший уже две партии и теперь видевший, что никак не может защитить своего короля от ладьи Рязанцева, встал из-за стола.

– Я положительно не в состоянии сегодня скомбинировать двух самых простых ходов, –



сказал он с досадою. – Голова – точно свинцовая. Вероятно, ночью будет гроза.

Он вышел на террасу. Рязанцев, весь вечер не видавший жены, взял ее за руку и слегка притянул к себе.

– Какая ты сегодня красавица, моя девочка, – сказал он, ласково ей улыбаясь.

Она стояла перед мужем, легкая и грациозная, во всем пышном расцвете своей двадцативосьмилетней красоты, с высокою грудью и гибкой талией. Легкая кофточка из тонкого белого крепа, лежавшая на ней свободными складками и не скрывавшая стройных очертаний ее молодого тела, оставляла открытыми по локоть круглые и крепкие, чуть пушистые руки. У нее было нежное, матовое лицо темной шатенки; губы маленькие, полные и круто изогнутые, какие встречаются только у женщин на картинах Рубенса; большие глаза, казавшиеся вечером совсем черными благодаря расширившимся зрачкам; пышные, немного жесткие, черно-рыжеватые волосы, вьющиеся мелкими завитками на висках и на затылке...

– Ты мной доволен, папа? – спросила она, нежно притрагиваясь пальцами к его маленькой жилистой руке.

– Знаешь, – сказал Рязанцев, любуясь женой, – мне иногда начинает казаться, что ты чересчур хороша для такого старого гриба, как я.

Варвара Михайловна покраснела. Ей было больно и неприятно слышать такие слова от него, которого она обожала до самозабвения. Ей часто казалось, что она еще слишком мало платит ему за его трогательную и доверчивую любовь к ней. У нее вдруг явилось неудержимое желание стать перед ним на колени и обнять руками его ноги.

– Не смей так никогда говорить, – прошептала она.

И жестом ребенка, берущего что-нибудь украдкой, она быстро поднесла к губам его руку и поцеловала ее два раза – сверху и снизу ладони.

Потом она вышла на террасу и принялась разливать чай, прислушиваясь к общему разговору, готовая поддержать его, если он ослабеет. Но разговор не клеился. Все жаловались на жару и истому перед грозой. Некоторые поговаривали уже о том, как бы попасть домой до дождя.

– А что же вашего Андрея Лукича сегодня нет? – спросила у Варвары Михайловны жена Ильченки, полная, суровая на вид дама, любившая винт и сплетни и державшая своего мужа под башмаком.

– Я не знаю, отчего его нет до сих пор, – ответила Варвара Михайловна. – Он обещал быть, и даже не один. С ним придет его приятель... Позвольте, как его фамилия?.. Он еще так известен своим голосом. Ах да, вспомнила: Ржевский.

– Разве вы до сих пор не были с ним знакомы? – спросила удивленно Ильченко.

– Нет. Но зато я об нем очень много слышала. Ильченко сделала лукавое лицо и погрозила Рязанцевой пальцем.

– Смотрите, не влюбитесь. Этот господин очень опасен для молодых жен и старых мужей.

Госпожа Ильченко принадлежала к числу тех привилегированных сплетниц, которые под предлогом «высказывания всей правды в глаза» говорят повсюду дерзости и гадости, рассеивая за собою грязь, смуту и ненависть. Ее никто не любил, большинство терпеть не могло, и все побаивались.

Варвара Михайловна ничего не ответила на это циничное предостережение и только улыбнулась немного свысока и презрительно, с сознанием чистоты и ничем не запятнанной репутации. Зато словами Ильченко очень заинтересовалась Мария Федоровна Тиль, гимназическая подруга Рязанцевой, красивая, глупая и сентиментальная вдовушка, за которой считались уже три-четыре всем известных связи.

– А он очень хорош, этот Ржевский? – спросила она.

Многие из гостей улыбнулись. Репутация Ржевского была очень хорошо известна в некоторых отношениях. Ильченко обязательно сообщила все, что о нем знала. Хорош ли он? Это как кому нравится, но, по ее мнению, у него лицо слишком выставочное, так сказать, парикмахерское. Нравственности у него нет никакой, и это-то, кажется, и привлекает к нему искательниц приключений, как бабочек на огонь, хотя в то же время, надо ему отдать справедливость, он очень молчалив относительно своих связей. Что касается до его пения, то правда, поет он изумительно хорошо. Его с удовольствием приняли бы на любую сцену, если бы только он выразил желание. Но он предпочитает вести свою праздную и легкомысленную жизнь, потому что не

нуждается в средствах и не желает себя стеснять никакими условиями...

Варвара Михайловна не дослушала окончания характеристики Ржевского. Ее чуткое ухо заботливой матери уловило за две комнаты возню, всегда сопровождавшую укладывание ее четырехлетней дочери в постель. Она извинилась перед гостями и поспешила в детскую.

В полутемной детской, слабо освещаемой трепетным мерцанием лампы перед образом, Аля стояла на коленях в своей постели, обнесенной вокруг высокой сеткой, в одной нижней рубашке, с голой шеей и голыми, милыми детскими ручонками. Старая няня, когда-то носившая на руках Рязанцева, со старческим кротким терпением уже целых полчаса добивалась, чтобы Аля прочла как следует «Богородицу». Аля не хотела молиться и барахталась в руках няни, закидывая назад голову и звонко смеясь. Увидев входящую мать, она быстро вскочила на ноги и протянула ей навстречу руки с растопыренными пальчиками.

– Молись, Аля, молись... Боженька будет сердиться, если узнает, что ты не слушаешься няни, – сказала притворно строгим голосом Варвара Михайловна, освобождая свою шею от объятий девочки.

– А ты, мама, мне сказку расскажешь? – спросила Аля, лукаво заглядывая снизу в глаза матери и не выпуская ее шеи.

– Расскажу, расскажу, если ты только будешь умницей.

Варвара Михайловна начала вполголоса, тщательно выговаривая слова, читать молитву, Аля повторяла за ней громко, тоненьким голосом, забавно коверкая слова и быстро махая рукой все в одном направлении, от плеча к животу. Окончив молитву, она сама добавила обычное: «Спаси, господи, папу, маму, няню, бабушку, младенца Елену и всех моих родных», – и сейчас же улеглась на правый бок, подложив ладони обеих рук под голову, «как спят умные девочки».

– Ну, мама, сказку, – потребовала она.

Варвара Михайловна никогда, рассказывая дочери сказки, не затруднялась выбором сюжета. Она начинала прямо: в некотором царстве, в некотором государстве жили-были... и затем вставляла первое попавшееся слово: старый-престарый король с большой седой бородою или – жил-был страшный волк, который бегал вокруг деревни и таскал белых овец.

Теперь ей почему-то пришла в голову волшебница, и она начала тягучим, немного таинственным голосом, глядя Алю по открытой теплой грудке:

– Однажды жила-была волшебница. Она была такая большая-большая... выше колокольни, и во рту у нее было два ряда острых белых зубов и длинный-предлинный красный язык со стрелюю на конце...

– Мама, значит, она кушала девочек? – спросила озабоченно Аля.

– Кушала, только не всех, а непослушных и замарашек. И у нее была еще сова, большая такая птица с круглыми глазами, которая днем ничего не видит и сидит на дереве, а ночью все летает, и кричит, и достает себе пищу. Потом у нее была еще черная кошка, а сама волшебница была одноглазая. Только она была не злая, и кто к ней приходил за добрым делом, тому она всегда помогала. Вот однажды сидит эта волшебница в своей избушке на курьих ножках и слышит, что кто-то выходит из лесу...

Она продолжала еще несколько минут говорить, что приходило на ум, пока не услышала ровного, глубокого дыхания заснувшей девочки. Тогда она ее перекрестила, подтыкала под ее размякшее тельце осунувшееся одеяло и вышла из детской той мягкой, неслышной походкой, какой умеют ходить одни только матери.

Одновременно с ее возвращением двое мужчин всходили на террасу со стороны сада. Первым поднимался Андрей Лукич Норич, двоюродный брат Рязанцева, старый, услужливый и хлопотливый холостяк, преподававший в гимназии греческий язык. Следом за ним шел легкой самоуверенной походкой очень высокий, стройный и сильный на вид господин лет тридцати с лишком. Он был красив эффектной, сразу бросающейся в глаза красотой смуглого брюнета, выхоленного, здорового, самонадеянного, с темными глазами, влажными и дерзкими, с яркими чувственными губами под небольшими красивыми черными усами: трафарет итальянского красавца.

Варвара Михайловна невольно с любопытством остановила на нем глаза. Ей первый раз в жизни приходилось видеть человека с такой дурной, опасной и всегда необъяснимо привлекательной для женщины репутацией, как Ржевский. Но она сейчас же поймала себя на этом любо-

пытстве и сконфузилась и рассердилась на себя. Что ей за дело до этого дачного донжуана? Неужели она позволит себе спуститься до мелкого и дурного любопытства, как Ильченко или неразборчивая Марья Федоровна? И сейчас же ей пришло в голову сравнение между Ржевским и ее мужем. Тот – фат, – это сразу видно, – дюжинный, ограниченный человек, правда, красивый, но именно в парикмахерском стиле, между тем как ее муж такой интеллигентный, такой простой, широкий и великодушный. Наконец эта репутация... Разве она в ее глазах может иметь другое значение, чем ряд грязненьких, «дешевых амуров», как называет этот сорт любви какой-то писатель?

Поэтому, когда Андрей Лукич подвел к ней и представил Ржевского, она поздоровалась с ним довольно холодно. Ржевский поклонился ей почтительно, но все с той же самоуверенной улыбкой красавца, знающего, что он безукоризнен с внешней стороны, прекрасно одет и любим женщинами.

Потом Варвара Михайловна нашла, что все сразу, даже как-то неприлично, почти льстиво накинулись на Ржевского, хотя он разговаривал гораздо скромнее, чем можно было предполагать, судя по его улыбке и победоносной манере держать себя. Кто-то спросил, правда ли, что он знаком лично с Мазини, и Ржевский очень просто и занимательно рассказал о своем знакомстве с знаменитым певцом.

– Мне довелось, – говорил он, – познакомиться с ним перед одним частным спектаклем, который устраивал для очень ограниченного кружка меломанов известный Мейеровский, отличающийся, кстати сказать, в музыкальном отношении колоссальным невежеством. Я тоже был приглашен участвовать и потому явился на репетицию, назначенную в доме Мейеровского. Мне пришлось петь последним, так как я немного опоздал. Артистов собралось человек десять, все люди мне незнакомые. Пою я, право, теперь уж не помню что, кажется, арию из «Ренегата» Доницетти. Пропел свое и отхожу от рояля. В это время подходит ко мне какой-то господин, так среднего роста, крепыш, брюнет, волосы и борода черные, в живописном беспорядке. Вообще лицо энергичное и красивое – разбойничье, под глазами складки, вроде мешков. Одет небрежно. Подходит он ко мне, – заметьте, я его в первый раз вижу, – берет меня под руку и начинает делать на ломаном французском языке замечания относительно моего пения. Замечания самого резкого свойства, хотя, правда, очень точные и выразительные. Мне это показалось немного неуместным, и, кроме того, вы, конечно, знаете, что у каждого артиста есть свое самолюбие. Я его перебиваю: «Извините, но прежде всего я не имею чести вас знать». Он улыбается и самым уверенным тоном отвечает: «Напротив, я убежден, что вы меня знаете. Я – Мазини». И действительно, он мне дал много очень метких указаний, каких я никогда не слышал ни от одного профессора пения. По-моему, рассказы, существующие в публике, о дерзости и грубости Мазини, совершенно неосновательны. Он на меня произвел самое приятное впечатление. Язык у него очень живой, образный, и все, что он говорит, он пересыпает характерными итальянскими проклятиями и восклицаниями: «*Poche misere!*»<sup>34</sup>. С публикой, в особенности со своими назойливыми поклонницами, он, правда, немного заносчив и небрежен, но этот недостаток можно ему извинить, если принять во внимание его громадную известность, избалованность и не менее громадное самолюбие.

Ржевский рассказал еще несколько своих воспоминаний из мира оперных знаменитостей. Как ни пристрастно отнеслась к нему с первого раза Варвара Михайловна, однако она не могла не оценить, что, рассказывая, он все время оставлял себя в тени, что совсем не вязалось с его самоуверенным видом. И рассказывал он очень интересно, умело передавая из своеобразного закулисного быта такие мелкие, но характерные стороны, для него самого давно уже ставшие обыденными и скучными, которые, однако (он это знал), должны были увлечь слушателей своею для них новизной.

Но Варвару Михайловну тревожил и волновал взгляд Ржевского, неотступно обращенный на нее, как будто бы он рассказывал только для нее одной. Она, не оборачиваясь, чувствовала этот внимательный, нежный, любующийся взгляд на своем лице, на руках, на теле, чувствовала тем особым, тонким инстинктом, которым одарено большинство женщин и который всегда безошибочно им говорит, насколько они нравятся мужчине. Несмотря на беспричинное враждебное

<sup>34</sup> Свиньи несчастные! — ит.

чувство к Ржевскому, она все-таки два или три раза, увлеченная тем, что он говорил, встретила с ним глазами, и оба раза быстро опустила их в замешательстве.

«Надо постараться, чтобы он у нас больше не бывал, – вдруг неожиданно мелькнуло в голове Варвары Михайловны, но она тотчас же спохватилась. – Да неужели я в самом деле боюсь этого «неотразимого»? Он и в самом деле может это подумать, если я буду сидеть как в воду опущенная. Надо быть естественнее и хоть что-нибудь из простой вежливости сказать ему».

В это время госпожа Ильченко выразила уверенность, что Ржевский, конечно, доставит обществу удовольствие своим пением.

– Я всегда охотно пою, – сказал просто Ржевский, – но, право, я не уверен, всем ли мое пение доставит удовольствие?

При этом он совсем уже повернулся в сторону Варвары Михайловны, вызывая ее на ответ.

– Вы слишком скромны, – сказала Рязанцева, стараясь казаться непринужденной и безотчетно робея. – Я так много слышала рассказов о вашем пении, что вам было бы совестно отказываться.

Когда она говорила эти незначачие слова, глаза их опять встретились. Это был один из тех странных, непонятных для психолога, неуловимых для присутствующих, взглядов, которые говорят гораздо больше слов и которые между людьми, в первый раз встречающимися, внезапно, помимо их воли, устанавливают взаимную близость, разрывая условную завесу приличий. Такой взгляд иногда незнакомым еще между собою мужчине и женщине смутно, но безошибочно предсказывает, что рано или поздно они будут принадлежать друг другу.

– Хорошо, но я надеюсь, что вы мне будете аккомпанировать? – спросил Ржевский.

– Боюсь, вы останетесь мною недовольны. Но я все-таки попытаюсь...

– О, вы слишком скромны. В таком случае, если вы окончили свой чай, то начнемте.

Они пошли в гостиную к роялю, на котором грудями лежали ноты.

– Вы знакомы с романсами Чайковского? – спросила Варвара Михайловна, перебирая тетради и чувствуя очень близко за своей спиной присутствие Ржевского.

– О, конечно.

– Вы их любите?

– А вы?

– А вы?

Она засмеялась, достала толстый том в шагреновом переплете, положила его на пюпитр и села перед роялем.

– Откройте наугад, – посоветовал Ржевский. – Чайковский во всем одинаково прекрасен.

Она развернула тетрадь на середине и сразу узнала романс «Страшная минута», который на нее всегда производил сильное впечатление своей оригинальной мелодией, страстной и робкой в одно и то же время.

– Вы это знаете? – спросила она, поднимая кверху голову, чтобы взглянуть на Ржевского, и поправляя под собою стул.

– Да. Начнемте.

Она легко и выразительно сыграла трудную интродукцию и слегка остановилась перед вступительным тактом. Разговоры в гостиной и на террасе сразу притихли.

Ты внимаешь, вниз склонив головку,

Очи опустив... –

раздались в гостиной, точно сразу наполнив ее, сильные и нежные звуки прекрасного свежего баритона.

И, тихо вздыхая,

Ты не знаешь, как мгновенья эти

Страшны для меня...

Опять Варвара Михайловна почувствовала, что горячий взгляд Ржевского не отрывается от

ее лица и что поет он только для нее одной, как за чаем для нее одной рассказывал. «Зачем он это делает? Ведь всем в глаза бросается», – подумала она с испугом. В то же время она с напряженным вниманием следила за аккомпанементом, и – странно – никогда еще под ее руками рояль не оттенял так красиво и послушно пения, как теперь.

Ею понемногу овладевало какое-то странное забытье. И комната, и гости, и муж, и Аля – все это отошло куда-то в глубокую даль, подернулось туманом, перестало существовать. На всем свете остались только двое; *он*, этот незнакомый красавец, странный и такой близкий к ней, и – она, взволнованная, испуганная, точно совершающая преступление.

Отчего же робкое признанье  
В сердце так тебе запало глубоко?  
Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь, –

пел Ржевский, и в голосе его звучала такая горячая, тоскливая мольба о взаимной любви, такой настойчивый призыв, которым, казалось, невозможно было противиться.

В это время они оба протянули руки, чтобы перевернуть страницу, и пальцы их встретились. Варвара Михайловна почувствовала нежное пожатие, ни для кого, кроме их двоих, не заметное. Она быстро отдернула задрожавшую руку и в замешательстве приблизила вспыхнувшее лицо к нотам. А над нею все настойчивее, гипнотизируя и призывая, лились прекрасные, чарующие звуки:

Иль слова любви в устах твоих немеют?  
Или ты меня жалеешь? Не любишь?

«Это оттого, что гроза приближается», – обманывала себя Варвара Михайловна, чувствуя, как жаркая истома разливается по всему ее телу и как трудно и прерывисто дышит ее грудь.

Последние слова романа:

Я приговор твой жду! Я жду решенья! –

Ржевский пропел с таким глубоким волнением и так умоляюще-властно, слегка даже протягивая к Варваре Михайловне руки, что она невольно закрыла глаза, чувствуя, как ее сердце забилося часто и тревожно. Окончив аккомпанемент, она, вся потрясенная, усталая, с блестящими глазами, откинулась на спинку стула. Гости стали настойчиво просить Ржевского еще что-нибудь спеть, но Рязанцева быстро встала из-за рояля.

– Я не могу больше аккомпанировать, – сказала она, – слишком душно. Ее упрашивали долго, но напрасно. Она не хотела, потому что боялась этих горячих глаз и этого чудного, властного голоса, и со стыдом сознавала, что эта боязнь уже не возмущает ее, как раньше. Наконец вызвалась аккомпанировать Марья Федоровна, но на первых же тактах рубинштейновской «Азры» она сбилась сама, сбила певца и сконфузилась. Второй романс она знала еще меньше и в конце концов заявила, что она сегодня не в расположении.

Ржевский сам сел за рояль. Некоторое время он с рассеянным видом перебирал клавиши, точно что-то припоминая. Варвара Михайловна, стоя в дверях террасы, видела, как на его губах блуждала неопределенная улыбка. Потом вдруг лицо его сделалось сразу серьезным, даже как будто бы побледнело. Он медленно поднял свои прекрасные глаза на Варвару Михайловну и, глядя на нее в упор, прямо обращаясь к ней, запел после бурной прелюдии, придавая своему голосу и фразировке яркий, своеобразный, цыганский колорит, известный романс Тарновского:

Чаруй меня! Чаруй меня!  
Дай счастье мне, дай жизни радость!  
Хотя на миг влюбись в меня,  
Твоей любви вкусить дай сладость.

Дикая, огненная, не знающая границ страсть зазвучала в его гибком голосе вместе с ис-

ступленной мольбой, и Варвара Михайловна, точно очарованная, не могла отвести глаз от пристального, говорящего взгляда Ржевского. Ее голова горела и тихо кружилась, кровь напряженно билась в висках, грудь дышала высоко и часто, мгновенно высохшие губы полуоткрылись. Она была точно во сне или в опьянении. Этот красивый человек, сильный и страстный, сразу, в продолжение одного вечера, с какой-то ужасной и пленительной дерзостью перешагнул через все препятствия, лежащие между ними, и с каждой минутой она себя чувствовала более и более охваченной его опасной, греховной властью, не имея сил сопротивляться.

А он между тем шел дальше, все ярче и смелее оттеняя слова:

Люби меня! Люби меня!  
Отдайся мне без размышленья;  
Твоя любовь полна огня...  
Люби меня для наслажденья!

Варвара Михайловна видела крупную, мужественную фигуру Ржевского, его выразительное лицо с нервно раздувающимися ноздрями и яркими чувственными губами, его широкую грудь, сильные плечи и руки, и волнующие слова романса проникали ее желанием той страсти, которую эти слова и эта наружность обещали. Жажда новых, бесстыдных поцелуев, долгих объятий, от которых захватывает дыхание, жажда всего того, что она встречала до сих пор только в романах и что ей казалось раньше выдуманным, приподнятым, даже смешным, проснулась в ней с бессознательной силой. Глаза ее увлажнились, и сердце ныло тем особенным, сладким, заморающим чувством, которое она испытывала только в детстве, когда, качаясь на качелях, летела вниз с четырехсаженной высоты.

Когда Ржевский окончил романс, из сада блеснула дальняя молния. Дамы испуганно разом поднялись со своих мест и принялись торопливо искать шляпы и накидки. Они не слушали приглашений Рязанцева поужинать, быстро одевались, целовали одна за другой Варвару Михайловну и поспешно уходили, с оханьем и выкрикиваниями, как всегда женщины перед грозой.

Варвара Михайловна рассеянно прощалась с гостями. Ее мучила и волновала мысль, что Ржевскому и Андрею Лукичу, приехавшим из Москвы, муж ее, по всей вероятности, предложит переночевать на даче. «Ни за что! Ни за что! – нетерпеливо повторяла она себе. – Если муж будет просить, я не скажу ни одного слова, и, я думаю, у него не хватит дерзости остаться». Смутное, зародившееся где-то в сокровенных тайниках души предчувствие говорило ей, что если только Ржевский проведет эту ночь под одной с ней кровлей, то все ее семейное счастье, накопленное четырьмя годами тихой, ничем не омраченной жизни, должно грубо рушиться и погибнуть.

Когда все гости разошлись, Ржевский, до сих пор медливший, взял с подоконника свою легкую соломенную шляпу. Но Рязанцев тотчас же запротестовал:

– Неужели вы хотите ехать в город? Да я вас ни за что не пущу. Вы даже извозчика теперь нигде не достанете.

Ржевский повернул голову к Варваре Михайловне. Она видела, что его глаза просят и в то же время выражают покорную готовность подчиниться ее решению. Она быстро отвернулась от него и, делая вид, будто не слышит слов мужа, вышла на террасу. Но, лицом к лицу с жутким молчанием деревьев, застывших в тягостном томлении, среди душной темноты, ей сделалось страшно, и вместе с тем она почувствовала жалость к Ржевскому. Варвара Михайловна ворочилась в комнату.

– Через полчаса разразится страшная гроза, – сказала она сухо и избегая глядеть на Ржевского. – Вам придется остаться.

Он молча поклонился ей и положил шляпу. Варвара Михайловна решила не оставаться больше с гостями ни одной минуты. Ей хотелось поскорее уйти в свою комнату, лечь, успокоиться, забыться сном.

– Разве ты не будешь ужинать? – спросил ее Рязанцев, когда она подошла к нему, чтобы поцеловать его в лоб, что она всегда делала, прощаясь с ним.

– Нет, – ответила она кротко, – я устала.

И, целуя мужа, она точно в первый раз заметила и его большую лысину, испещренную то-

ленькими красными жилками, и глубокие морщины на лице, и дряблую желтизну щек. «Я на него всегда смотрела только как на отца», – подумала с грустью Варвара Михайловна.

Придя к себе, в свою маленькую комнатку с веселыми обоями и узкой девичьей кроватью (Рязанцевы всегда спали в разных комнатах), она зажгла перед зеркалом две свечи и стала раздеваться. Медленными, ленивыми движениями она сняла верхнее платье, освободилась от корсета и, вынув из головы шпильки, быстрым, привычным движением руки распустила по плечам и спине волны густых темных волос.

Прижав крепко ладони к груди, закинув назад голову и полузакрыв глаза, она долго оглядывала в зеркале свою прекрасную полунагую фигуру, и смутное чувство жалости к себе закралось в первый раз в ее душу. Года через четыре, много через пять, думала она, завянет это упругое розовое тело, старость проведет на лице морщины, яркие губы побледнеют... А любила ли она хоть один час той соблазнительной любовью, к которой сейчас так пламенно призывал ее Ржевский? Знала ли она наслаждение отдать всю свою пышную расцветшую красоту, отдать всю себя сладким ласкам? Нет. Редкие минуты физической близости к мужу вспоминала с холодным отвращением. Она шла к нему, исполняя тяжелый долг, и ему всегда бывало потом неловко перед ней, и он робко уходил, прося извинения, догадываясь о том, что его жена испытывает в эти минуты.

– Пропадает молодость, пропадает красота, – шептала с горечью Варвара Михайловна, глядя на свое отражение глазами, затуманившимися тоской. – За что же? За что?

Внезапно ее охватил стыд. «Господи! Что со мною делается? – пронеслось у нее в голове. – Неужели я такая гадкая, безнравственная? Неужели я развратна и сама до сих пор не знала себя? О господи, научи меня! Господи, поддержи меня!»

Она опустила на колени перед маленьким образком, висевшим в изголовье ее кровати. Но губы ее машинально шептали привычные слова, а мысли упрямо бежали от молитвы. «Пропадают мои молодость и красота, – печально думала Варвара Михайловна, – и никто, никто не насладится ими».

Окончив молитву, она потушила свечи и легла. Холодное прикосновение простынь и подушек сначала несколько успокоило ее, но через пять минут она уже металась по постели с горячей головой, постоянно перевертывая подушки, чтобы найти холодное местечко. Сладкие и грешные мечты, которые она гнала прочь от себя вечером, теперь, в тишине и темноте, овладевали ее воображением и распалляли его – те фантастические мечты, которые хоть раз в жизни обуревали ночной порою каждого смертного, которые недоступны для признаний и которые утром кажутся чудовищным кошмаром. Теперь уже поведение Ржевского не возмущало, не оскорбляло чистоты Варвары Михайловны. Наоборот, она всеми силами души жаждала теперь, чтобы этот опьяняющий вечер продолжался без конца. Она сожалела о том, что Ржевский не был еще смелее, а она – еще уступчивее. В забытьи, задыхаясь среди душной и немой темноты, она охватывала руками подушку и тесно прижималась к ней. Порою ей казалось, что она слышит в комнате странные, крадущиеся звуки и чье-то осторожное дыхание; она прислушивалась, зажимая рот рукою, и убеждалась, что то стучит в ее груди сердце.

«Что, если он осмелится проникнуть ко мне? – спрашивала она себя в эти мгновения. – Что может помешать этому дерзкому и страстному человеку? Ну, а что же, если он и войдет? Одна ночь в жизни, одна только ночь, полная счастья... Разве за нее не стоит заплатить ценою долгого раскаянья, ценою самоотвержения в продолжение всей остальной жизни?»

Молния блистала все чаще и ярче, гром рокотал глухо и непрерывно, точно приближающийся голодный зверь, но дождь еще медлил, собираясь с силами, прежде чем обрушиться на землю. Вдруг Варвара Михайловна явственно услышала против своего окна в саду, шагах в десяти от дома, осторожное и нежное пение:

Отчего же робкое признание  
В сердце так тебе запало глубоко?

Чутким ухом она сразу узнала и слова и мотив и, быстро сев на кровати, прошептала, точно говоря кому-то на ухо:

– Он не знает моего окна. Я отворю. Но странная тяжесть так сковала все ее члены, что она

не шевельнулась и замерла, охватив колени руками.

Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь...  
Иль слова любви в устах твоих немеют?

– продолжал напевать голос за окном едва слышно, но неотразимо настойчиво.

– Я отворю, – опять прошептала Варвара Михайловна, глядя расширившимися глазами в темноту и слыша горячее биение сердца.

Или ты меня жалеешь? Не любишь?

Голос удалялся... «Он уйдет», – быстро подумала Варвара Михайловна и, поспешно перебежав босыми ногами от кровати к окну, откинула штору и, стараясь не шуметь, приотворила ставни.

Страшный порыв ветра вырвал ставни из ее дрожащих рук и с ожесточением хлопнул ими об стену. В то же время все небо мгновенно сделалось ослепительно-синим, и на нем резко вырисовались черные верхушки деревьев. Варвара Михайловна зажмурила глаза и, оглушенная раскатом грома, грянувшим вместе с молнией, отпрянула назад.

– Варвара Михайловна... *Varbe!*.. Ради бога... Только два слова... – услышала она из сада взволнованный шепот Ржевского.

Она, вся дрожащая, испуганная, с пересохшим ртом, стояла нерешительно среди комнаты и не отвечала на этот призыв.

– Прелестная, чудная!.. – умолял под самым окном осторожный шепот.

«Ах, все равно! – решила внезапно Варвара Михайловна, судорожно стиснув руками голову. – Это судьба».

Она сделала два шага к окну и вдруг остановилась на месте, объятая ужасом и стыдом.

– Мама! Мама! Мама! – услышала она из-за стены нетерпеливые, призывающие звуки детского голоса. – Мама, я боюсь! Мама, где ты?

Она бросилась в детскую, сразу позабыв и об открытом окне, и о стоявшем под ним Ржевском, и о своих ночных волнениях. В детской было темно, лампадка погасла, няня спала неслышным старческим сном, а Аля заливалась слезами, призывая мать.

Варвара Михайловна наклонилась над кроватью Али, обхватила руками ее маленькое тельце, теплое и душистое, и с горячей любовью крепко, как только могла, прижала к себе.

– Что с тобой, моя дочечка? Что, моя славная? – спрашивала она, осыпая поцелуями шею, руки и ноги ребенка.

– Мама, я боюсь... темно, страшно... бог на небе гремит... – жаловалась девочка, разом стихая и тесно прижимаясь к матери.

– Не бойся, не бойся, глупенькая. Я всегда с тобой, моя девочка, моя кошечка, моя звездочка. Хочешь, я сама с тобой лягу? Хочешь? Ну вот так, видишь, какая ты умница...

Она долго говорила ей нежные, простые фразы. Девочка перестала плакать и только изредка нервно, прерывисто вздыхала. Наконец она успокоилась совсем и заснула, слушая ласковые, баюкающие слова.

Варвара Михайловна долго еще называла заснувшую дочь нежными именами, между тем как из глаз ее лились чистые, радостные слезы, – первые слезы выздоровевшего от тяжелой болезни человека.

Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю.

Страшная минута прошла.

<1895>



## I

Борис Полубояринов, студент-медик, проснулся, как и всегда, в начале восьмого часа. На дворе было светло, хотя солнце еще не всходило; замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры – снежные елочки, кладбищенские кресты и пальмы – окрасились в розовый нежный цвет утренней зари. День обещал быть морозным и ясным.

Борис вскочил с постели и быстро, с ощущением здоровой свежести и молодой силы во всем теле, принялся за свой обычный туалет. Прежде всего – сильный холодный душ, заставивший его затрепетать и громко расхохотаться, затем – полчаса упражнений с гириями и каучуком, после того – тщательное занятие зубами и ногтями и в конце концов – десять минут перед зеркалом, посвященные прическе, галстуку и молодым, чуть темнеющим усикам.

Покончив с туалетом, Борис позвонил. По давно заведенному обыкновению, лакей принес ему четыре только что сваренных всмятку яйца, накрытых салфеткой, холодное мясо, полбутылки английского портера и чай. Борис, живо интересовавшийся гигиеной и читавший по этому вопросу все, что выходило у нас и за границей, уже целый год вел жизнь в пределах строгого и точного режима: аккуратность в распределении времени, спорт всех родов и видов, хорошее питание и отсутствие излишеств и волнений. По положению и связям своих родителей Борис принадлежал к замкнутому и весьма немногочисленному кружку М-ских студентов-аристократов. Этот кружок, взявший за образец аристократические кружки Кембриджа и Оксфорда, ничего не имел общего с теми студентами, которые белыми подкладками, исковерканным, расслабленным произношением, скандалами, лихачами и лжепатриотическими громкими чувствами приобрели себе такую некрасивую репутацию. Кружок Бориса требовал от членов прежде всего полной корректности и умения держать себя с той изящной и безукоризненной простотой, которая служит лучшим доказательством воспитания и хорошего тона. Князь Белый-Погорельский, высочайший тип истого джентльмена, первый показывал в этом отношении товарищам недостижимые примеры порядочности. Он пользовался уважением всего кружка, к нему обращались как к третейскому судье в щекотливых случаях, его выбирали делегатом во всех рискованных историях, где надо было пустить в ход громкое имя и связи. Тем не менее prince Pogorelsky<sup>35</sup> всегда оставался на значительном расстоянии от обыкновенных смертных. Борис втайне обожал князя и тщательно копировал и покррой его сюртуков, и его пленительную простоту в обращении; от него же он перенял себялюбивую страсть к гигиене тела и к физическим упражнениям. Но до высоты своего образца – он это чувствовал – Борис никогда не смог бы подняться. Князь Белый-Погорельский изумительно хорошо владел рапирой, плавал, как профессионал, греб, как матрос, считал за собою два велосипедных рекорда, «выбрасывал» двумя руками пятипудовую железную штангу, говорил по-французски, как парижанин, и ходил пешком без усталости, несмотря на то что отец недавно подарил ему пару отличных вороных рысаков. К князю Погорельскому никто из малознакомых не посмел бы подойти, взять его за талию и фамильярно сказать: «Ecoutez, cher ami<sup>36</sup>, как это сделал недавно в курилке по отношению к Борису Телегин – фатишка и скандалист из купеческих сынков. Но во всяком случае, Борису льстило, что он так радушно принят в кружке князя Белого.

Окончив завтрак, Борис посмотрел в свой календарь, где против каждого дня на белом листке он сам вписывал заранее, что в этот день надо предпринять. Сегодня день был не особенно занят: «Анатомический театр непременно», «Лекция Т.», «Вечером у В.К.». Первая отметка заставила Полубояринова брезгливо сморщить нос: посещение анатомического театра он давно уже откладывал со дня на день из какой-то странной нерешительности, так что в конце концов получил даже замечание от профессора. Зато последнее – «вечер у В. К.» – вызвало на губах Бориса довольную улыбку. Под этими инициалами подразумевалась жена одного из приятелей его отца. Борис недавно, всего месяца два тому назад сошелся с нею. Третьего дня он узнал, что муж ее сегодня должен отправиться в командировку, и таким образом целых двое суток были в распоряжении Бориса.

---

<sup>35</sup> Князь Погорельский — фр.

<sup>36</sup> Послушайте, милый друг. — фр.

## II

Утро было ясное, сверкающее. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами, розовыми на солнце, синеватыми в тени. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывавший при дыхании горло.

Борис шел по направлению к анатомическому театру большими гимнастическими шагами, засунув руки в карманы летнего пальто (обыкновение носить зимою летнее пальто он перенял у князя Белого, который в этом случае тоже подражал гвардейским офицерам). Его радовало и ясное утро, и чувство бодрости и здоровья во всех членах, и веселое, звонкое поскрипывание снега под ногами. В иных местах упругий снег так плотно слежался, что звенел под каблуком, точно чугунная плита. Порою Бориса обгоняли извозчицьи сани, визжа полозьями, но он не хотел садиться – на ходьбу Борис смотрел, как на физическое упражнение.

Но по мере приближения к анатомическому театру Борис почувствовал, что его мысли принимают неприятный оттенок. Конечно, пойти необходимо, нечего и говорить. И профессор на днях сказал, что, кажется, господин Полубояринов не посещает анатомического театра, и товарищи несколько раз спрашивали, отчего он не приходит? Могут подумать, что из трусости. Но эта пачкотня ужасно противна. Потом, наверное, целый день будет казаться, что руки пахнут. И, наконец, Борис питает решительное отвращение к покойникам. Тут не трусость, – это, конечно, было бы смешно, – нет, а просто чувство здорового, сильного человека при виде смерти и разрушения. Не будь желания отца, Борис непременно выбрал бы другой факультет, тем более что «наши» почти все на юридическом, кроме этого психопата Мельникова, помешавшегося на математике, и двух филологов, которые готовятся куда-то в китайские посланники. Отец держится того мнения, что медицинский факультет один только может приучить к постоянному и упорному труду. Странное мнение. Положим, ему простительно так думать, потому что он сам – медицинское светило.

Вдали показалось громадное серое здание анатомического театра. По дороге начали Борису попадаться студенты. Они шли туда же кучками по три, по четыре человека, с книгами под мышками. С некоторыми Борис был знаком и издали раскланялся. Один из студентов, Затонский, трудолюбивый и скромный молодой человек, отделился от своих товарищей и догнал Бориса.

– Здравствуйте, Полубояринов, – сказал Затонский, задыхаясь от быстрой ходьбы. – Вы знаете, что мы с вами в одной партии?

– Да, благодарю вас. – Борис пожал ему руку и, видя, что Затонский хочет уйти, задержал его и добавил: – Пожалуйста, пойдемте вместе. Вы знаете, я ведь в первый раз, так не согласитесь ли вы быть моим Вергилием?

– С удовольствием, – отвечал Затонский, широко улыбаясь. – Мне самому в первый-то раз жутко было.

Но Борис не хотел признаться в своей нерешительности.

– Мне не то чтобы жутко, – сказал он, – а просто я не знаю, куда там нужно идти, что делать, как держать инструмент.

– Э, пустяки! Вам и резать-то ничего не придется. Так, сначала только посмотрите, пока не привыкнете.

## III

Они вместе вошли в шинельную и разделись. Борису казалось, что он уже отсюда слышит тяжелый, гнилой запах. Он вздрогнул от какого-то ощущения, похожего на холод, и – странно – после этого уже никак не мог согреться и все дрожал мелкой нервной дрожью.

– Что вы такой бледный, Полубояринов? – окликнул его студент, товарищ Бориса по гимназии. – Не выспались?

В шинельной было тесно и шумно. Одни приходили, другие уходили; дверь поминутно открывалась и закрывалась, впуская каждый раз резкую холодную струю воздуха. Между молодыми, свежими, словно девическими лицами мелькали серьезные, бородатые физиономии сту-

дентов последнего курса. Эти пользовались правом носить штатское платье, и молодежь относилась к ним с оттенком некоторого почтения.

Полубояринов и Затонский из шинельной прошли в длинную анатомическую залу, освещенную с обеих сторон высокими окнами; целый поток яркого света лился сверху из громадного стеклянного купола. Вдоль обеих стен и посередине, саженях в двух один от другого, стояли три длинных ряда высоких столов, сверху обитых цинком. Затонский, в качестве опытного человека, давал пояснения.

– Видите по диагоналям желобки? – говорил он, указывая на поверхность одного незанятого столика. – Это – для стока всяких жидкостей. А посередине отверстие и трубка, проведенная внутрь стола. Вот поглядите. – Затонский выдвинул сбоку стола ящик, обитый изнутри металлом, – В этот ящик все и стекает. Цинковые столы – самые лучшие. Мраморные, пожалуй, и чище, но зато скользят: руку упереть негде. А всего хуже работать на деревянных – те прямо насквозь пропитываются.

Они шли дальше. Запах становился все гуще, тяжелее и невыносимее. Борису казалось, что он весь пропитывается этим ужасным запахом; голова его слегка кружилась от непривычки. Вокруг одного стола столпились кучкой студенты, и в просветах между их черными сюртуками Борис с содроганием замечал желтое оголенное тело. Он подошел ближе. На столе лицом вниз, весь голый и – что показалось всего ужаснее Борису – без подстилки («точно вещь какая», – подумал он) лежал плотный мужчина с синей шеей и приподнятыми плечами. Борису особенно бросились в глаза руки трупа, с грязными отеками пальцами, из которых большие были загнуты внутрь, к ладони. Один из студентов, в переднике, ловкими движениями подрезывал кожу на спине. От разрезанного свежего трупа пахло сырой говядиной, как из двери мясной лавки.

Оглянувшись кругом, Полубояринов заметил, что почти все столы заняты. Вокруг двух столов студентов не было – и трупы лежали совсем на виду, неподвижные, вытянутые, желтые, с высоко поднятыми грудными клетками. И Борис с невольной жадностью и с выражением брезгливого ужаса на лице приковывался глазами к трупам, мимо которых они с Затонским проходили. И опять его чуткое, повышенное обоняние различало новый оттенок запаха: от давнишних трупов, политых дезинфицирующими жидкостями, пахло жареным мясом – тем самым запахом, который до обеда дразнит аппетит, а после обеда так противен.

Голова его кружилась сильней и сильней. Его все более ужасала своей простотой та мысль, что вот эти люди, которые ходили, думали, говорили, надеялись, любили, точно так же как и он ходит, любит и думает, вдруг в какие-нибудь две-три минуты, в силу какого-то непостижимого, но, вероятно, очень простого закона, они стали тем, чем они теперь есть: холодными, отвратительными, гниющими предметами. Борис, благодаря своему тепличному воспитанию, в первый раз столкнулся так близко и так жестоко с ужасным лицом смерти и с мыслью о ее неизбежности. Конечно, он давно знал, что люди умирают, но знал это как-то неуверенно, поверхностно, теоретически, и теперь его привело в трепет то новое для него сознание, что и его тело, сильное и здоровое, когда-нибудь станет таким же холодным, страшным предметом, как и те, что лежат на цинковых столах. Когда прежде он видел мертвеца при сиянии свеч, в кадилном дыме, в парчовом гробу, – тогда ужас смерти смягчался торжественностью обряда и той надеждой на будущую жизнь, которую обещали слова печальных молитв. Теперь же Бориса в первый раз охватило мгновенно страшное значение смерти...

#### IV

– А вот наша партия. Что вы так задумались, Полубояринов? – сказал Затонский. Они подошли к четверем стоящим в конце залы студентам и поздоровались. Кто-то опять заметил Полубояринову про его бледность.

– Ну, теперь все в сборе, можно и за трупом идти, – сказал высокий и плечистый студент Дорошенко, занявший как-то невольно в партии роль руководителя. – Айда, братцы, в трупарню. У нас сто пятый номер. Помните?

Все тронулись за ним следом.

– Что это за сто пятый номер? – спросил Борис у своего путевода.

– Это номер трупа. Их всех здесь по номерам расписывают. Увидите сами.

Хорошо, если еще свежий труп попадется, а то иной раз... просто мочи нет...

У дверей трупарни студентов встретил Захарыч, старый севастопольский унтер, седой, пьяный и небритый, но с николаевской выправкой.

– Какой номер?

– Сто пятый, – ответил за всех Дорошенко. Захарыч отворил дверь и впустил партию. Тяжелый, жирный запах на несколько секунд заставил Бориса закрыть лицо руками. Вся комната сплошь была, точно дровами, завалена трупами, и тут действительно Борис увидел, что у каждого трупа на ноге была проставлена грубыми чернильными мазками цифра. В углу в беспорядке валялась куча грязного, частью кровавого тряпья. Все это были одежды, в которых привезли покойников.

Захарыч вместе со своим помощником, глуповатым, вечно улыбающимся гигантом, положили сто пятый номер на носилки и подняли. Борис видел, как заколыхалась стриженная голова и заколыхались опустившиеся с носилок бледные руки. Но когда несущим пришлось около двери сделать поворот, то в кучке студентов произошла давка. Кто-то нечаянно толкнул Бориса вперед, и он не успел отстраниться, как одна из болтающихся холодных каменных рук задела его по лицу. Борис дико вскрикнул, затрясся и упал без чувств.

## V

Переодевшись дома с ног до головы и надушившись крепкой эссенцией модных духов, чтобы заглушить преследовавший его трупный запах, Борис махнул рукой на лекцию и отправился в «гимнастическое общество», где в эту пору собирался спортсменский кружок князя Белого-Погорельского. Его инстинктивно тянуло туда, где было больше шума и движения.

Зала, когда в нее вошел Борис, была полна. Посредине пять или шесть пар гимнастов в проволочных масках, в замшевых нагрудниках, с уродливыми перчатками на руках, фехтовали, громко топая ногами при выпадах. Несколько человек в трико работали на трапециях и турниках. Пахло здоровым потом и деревом пола, только что сбрызнутого водой.

Борис прямо прошел в тот конец залы, где около пирамиды с тяжестями собралась густая кучка зрителей, тесно обступившая трех молодых людей в трико, с голыми мускулистыми руками и шеями.

– А! Борис Ильич! Боренька! – слышались навстречу Полубояринову дружеские приветствия. – Идите, идите сюда скорей! У нас здесь интересное состязание.

Борис подошел ближе и поздоровался с знакомыми. Состязались: князь Белый, известный местный силач податной инспектор Шахтин и профессиональный геркулес из цирка – Франц Ризенкампф. Ризенкампф внушал кружку серьезное опасение своими чугунными мышцами, вокруг которых чуть не лопалась обтягивавшая их кожа.

Состязание началось с пяти пудов. Каждый из трех брал, ладонями внутрь, длинную железную штангу с большими шарами на концах, взбрасывал ее на грудь, а с груди толчком всего тела выкидывал кверху. После каждого тура в шары всыпали горсть или две картечи. Князь отстал на пяти с половиной пудах. Ризенкампф, весь мокрый от усилий, еле справлялся со своей тяжестью, пыхтя и багровея. Шахтин работал удивительно чисто и только все более и более бледнел, – он, как и все почти силачи, злоупотребляющие гирями, страдал пороком сердца. Видно было, что победа останется за Шахтиным.

Но Борис на этот раз вяло следил за состязанием. Мысли его упорно и однообразно возвращались к утренним впечатлениям. Он глядел остановившимися глазами, как шарами перекачивались упругие мышцы Ризенкампфа под тонкой глянцевитой кожей, и думал о том, как в этой массе, состоящей из мяса и костей, когда-нибудь угаснет жизнь, точно пламя свечи от дунувения, провалятся эти маленькие, голубые немецкие глаза, разлезутся и сгниют страшные мускулы. И для чего стараться устраивать свою жизнь, для чего хлопотать, наслаждаться, огорчаться, если в конце концов единственная цель жизни – это сделать из человека разлагающуюся мертвую материю? О, как это бессмысленно! И красавец Погорельский, и бледный силач Шахтин, и Затонский – все, все и – что всего ужаснее и несправедливее – и он сам, Борис, когда-нибудь станет таким же, как этот сто пятый номер. Какая же цель жизни после этого?

К Борису подошел художник Ивич, постоянно с ним фехтовавший, и, взяв его под руку,

спросил, будет ли он сегодня драться. Борис задержал руку Ивича и пошел с ним вдоль залы. Ивич всегда очень нравился ему какой-то особенной мягкостью, почти нежностью, придававшей его лицу, улыбке и голосу чарующее выражение, и Борису вдруг неудержимо захотелось рассказать художнику все, что его в этот день волновало. Рассказ Бориса был нестроен, местами неясен. Он очень спешил и мучился тем, что не может найти достаточно сильных и точных выражений для своих мыслей, но тем не менее Ивич, слушавший чрезвычайно внимательно, сразу понял то *главное*, что хотел выразить Борис.

– Это впечатление и мне знакомо, – сказал он, ласково улыбаясь. – Однажды, когда я еще был в Москве, при мне какой-то господин бросился в половодье с Чугунного моста. Народу на мосту – целая пропасть, и все кричали, охали, подавали советы, однако помочь никто не решался. А господин этот то нырнет, то опять покажется, и все руками машет, судорожно так, видно, что уж сам не рад, что бросился. Ну, покамест там лодки отвязывали да круги спасательные, он последний раз выплыл, крикнул что-то, – разобрать нельзя было, – пошел вниз, точно камень, и только над ним – буль-буль-буль, пузыри запрыгали. Я тогда еще совсем молод был, и меня вдруг точно обухом по головехватило: неужели такая простая штука – человеческая жизнь? Несколькo пузырей – и все кончено, все ощущения, мысли, чувства! И помню, меня тогда страшно удивило, что я до тех пор как будто бы *не знал*, что люди умирают, а в тот день вдруг узнал и поверил. Я, знаете, даже думаю, что это ощущение должен испытать каждый человек в период возмужания.

– Да, вы это очень хорошо выразили! – промолвил задумчиво Борис.

– А вам, – рассмеялся художник и пожал руку Борису, – вам я советую теперь как можно меньше оставаться наедине с самим собой. Отправляйтесь-ка вы в театр или куда-нибудь на вечер, да поухаживайте за женщинами, да вина хорошего выпейте. Так-то и ладно будет.

Борис посмотрел на часы. Уже пора было ехать к Валерии Карловне, но, против обыкновения, он не ощущал при этой мысли того сладкого, истомного сердцебиения, которое он всегда испытывал, отправляясь в условленный час на свидание. Валерия Карловна была его первой *настоящей* связью.

## VI

– Дома барыня? – спросил Полубояринов отворившую на его звонок горничную Стасю.

Он всегда задавал этот вопрос для соблюдения приличия, так как отлично видел по лукавому, хорошенькому личику Стаси, что она посвящена во все тайны своей госпожи.

– Барин уехал, а Валерия Карловна у себя. Пожалуйте!

Борис был сравнительно очень недавно знаком с Валерией Карловной. Его представили ей на маленьком вечере у Челищевых месяца два с половиною тому назад. Ему сразу очень понравилась эта темная шатенка с кошачьими движениями, вся в завитках, – завитки у нее были и на лбу, и на висках, и на белой прекрасной шее, – с ртом упоительно ярким. Если бы он был тогда наблюдательнее и опытнее, он заметил бы, что и он ей нравится, – по крайней мере, Челищевы в тот же вечер пригласили его посещать их дом. Ему теперь смешно было вспомнить, как долго он оставался в наивном неведении. Она первая взяла на себя почин и анонимным письмом назначила ему свидание в маскарade. Он влюбился в нее так слепо и безрассудно, как только может влюбиться подросток в замужнюю женщину, влюбился до такой степени, что ревновал ее даже к мужу, плешивому добродушному генералу, державшему где-то на стороне веселую девицу. Все в ней ему казалось мило: и едва уловимый польский акцент в разговоре, и некоторая вульгарность в интимные минуты, и легкомысленные, насмешливые взгляды на семью, замужество и обязанности женщины. Кроме того, его мужскому самолюбию чрезвычайно льстила эта связь с дамой из света, и он иногда позволял себе в тесном товарищеском кругу, развалившись в кресле, дымя папиросой и положив самым невозможным образом ногу на ногу, рассказывать некоторые пикантные подробности своих свиданий, рассказывать тоном старого, искусившегося мужчины, не называя, впрочем, имени.

Валерия Карловна встретила его в полутемном коридоре. На ней был атласный черный капот с широкими рукавами, разрезанными от кисти до плеча.

– Милый, милый! – залепетала она, обвивая его шею голыми руками и прижимаясь к

нему. – Ты у меня сегодня до утра? Да? Правда? И завтра тоже слышишь, непременно, непременно! Он на целых два дня уехал. Дай мне твою шапку.

Она повела его в свой будуар, идя впереди и держа обеими руками его руку, точно боясь, что он хочет уйти. О, как хорошо был знаком Борису этот будуар – «спальня баядерки», как он называл его мысленно, весь в цветах, установленный турецкими диванами, на которых удобнее было лежать, чем сидеть, с китайскими зонтами вместо абажуров над лампами, весь пропитанный ярким запахом розы. Сколько раз, уходя отсюда ранним утром и ложась дома спать, Борис с наслаждением чувствовал от своих рук и лица этот тонкий запах цветов, смешанный с запахом пудры и свежего женского тела.

## VII

Борис сел, а Валерия Карловна принялась болтать, смеясь и сопровождая разговор жестами и мимикой.

– Ты думаешь, мой генерал так прямо взял и уехал? О нет. Он мне прежде прочел родительское внушение: «Дитя мое, – и она начала копировать генерала, – веди себя хорошо, не кушай много фруктов, ты знаешь, как тебе это вредно. Если будешь выходить, закутывайся по-лучше». И потом вдруг, ни с того ни с сего, заговорила детским голосом: «Дусецка, будес умница, я тебе конфетку пливезу». Ах, я болтаю, ты, может быть, кушать хочешь? – перебила она свою болтовню, – я нарочно велела твоих любимых рябчиков достать.

В столовой она сняла крышку с одного из блюд, стоящих на столике, накрытом на два прибора. Запах жареной птицы заставил Бориса вздрогнуть от отвращения.

– Ах, ради бога, не надо! Закрой! Закрой скорее! – сказал он, морщась и махая руками. – Будь добра, налей лучше мне вина.

Она исполнила его просьбу, потом, шумя капотом и шелковой юбкой, опустилась перед ним на колени и, взяв его руки в свои, опять принялась щебетать:

– У меня нынче была Софи Ренталь, и, вообрази, мы говорили о тебе. Она тебя находит недурным. Какая дерзость! А я только улыбнулась, конечно, незаметно для нее, и говорю: «Удивляюсь, что вам может в нем нравиться! Так себе, мальчик белобрысый, да и не мужчина еще». Ты, конечно, знаешь, милый, я ей это нарочно сказала. Ты лучше всех в мире. Ты мой, милый, милый, милый, милый...

И, повторяя это слово и смеясь, она с каждым разом целовала поочередно его руки. Он нагнулся, чтобы поднять ее. Она, как будто бы этого и ждала, вскочила к нему на колени и жадно прильнула своим прекрасным ртом к его губам. Борисом внезапно овладело брезгливое чувство. Запах дичи и ощущение голых рук на щеках вдруг с ужасной силой перенесли его в анатомический театр, и он с поразительной ясностью вспомнил болтавшуюся мертвую руку, задевшую его по лицу. Одно мгновение ему даже показалось, что он галлюцинирует, и ему сделалось тошно.

– Извини, Валя, – сказал Борис, вставая и осторожно освобождаясь из ее объятий, – я сегодня страшно расстроен и не могу долго быть.

Он протянул ей руку, но она не двигалась и, крепко закусив нижнюю губу, тяжело дышала.

– Дай мне фуражку! – сказал Борис. – Я обещаю, что приду завтра. Она вся вспыхнула, бросила его шапку на пол и почти закричала:

– Вот ваша шапка! Идите!.. Вы помните наш адрес? Жандармская, тридцать пять. Так вот... забудьте его навсегда... Мальчишка!

## VIII

Придя домой, Полубояринов долго ходил взад и вперед по своему кабинету. Голова его горела, в виски что-то стучало напряженно, неровно и часто.

– Боже мой, боже мой! – шептал он тоскливо. – Жить и постепенно *этого* ожидать, каждый день, каждую минуту! А потом? Потом будешь лежать, как те голые, будешь лежать год, двадцать лет, сто... И об этом позабудут... все... Для чего же мне эта жизнь, если я каждую секунду должен думать о смерти? Ах, как все это гадко, как это все гадко!

В это время его взгляд упал на револьвер, висевший над диваном на гвоздике. Борис взял его, взвел курок и посмотрел на барабан. Все шесть гнезд были заряжены. Борис сел перед зеркалом и, взяв дуло в рот, положил палец на собачку. «Ведь какая глупость – жизнь, – мелькнуло у него в голове, точно какой-то отрывок из старого романа, – маленький свинцовый шарик в одну секунду погасит ее, и царь природы, со всеми радостями и огорчениями, станет куском земли. Стоит только надавить на собачку и...» Борис слегка нажал палец. Собачка упруго подалась.

Борис поглядел на себя в зеркало и увидел бледное лицо с испуганно блестящими глазами. Сердце его так и колотилось в груди. «Ну, теперь еще... чуть-чуть...» Собачка еще подалась, но с большой упругостью.

«Теперь одно только ничтожное усилие – и конец! – подумал с ужасом Борис. – Ну!...»

Вдруг им овладел такой ужас смерти, что, задрожав всем телом, он швырнул револьвер на кровать.

«Жить! Жить! Жить! – точно закричали в нем тысячи оглушающих голосов. – Жить во что бы то ни стало, как можно больше, как можно шире!» И Борису страшно захотелось сейчас же, сию минуту прильнуть к чаше жизненных радостей и пить из нее до усталости, до самозабвения. «К Валерии!» – жадно закричало у него в голове, и он, быстро схватив фуражку, без пальто и калош, выбежал на улицу...

– Милый мой, – говорила на рассвете Валерия Карловна, провожая до двери усталого, бледного, едва стоявшего на ногах, но счастливого Бориса, – отчего ты сегодня был такой странный, точно... – она задумалась, приискивая выражение, – точно ты за один день большим сделался, мой мальчик?

Он посмотрел на нее, засмеялся и, вспомнив слова художника, ответил:

– Да, Валя, ты нашла настоящее слово. Я сделался большим, потому, что понял жизнь и смерть. Теперь уже поздно, а завтра ночью я тебе расскажу все подробно.

<1895>

## Без заглавия

### I

Несколько лет тому назад я проводил летние месяцы на даче, вдали от пыльного, душного, наполненного суетой и грохотом города, в тихой деревушке, затерявшейся среди густого соснового леса, верстах в восьми от станции железной дороги. Туда только что начинали в то время показываться первые пионеры будущей дачной колонии, которая теперь совершенно заполнила это милое, уютное местечко франтовскими дачными костюмами, сплетнями, любительскими спектаклями, подсолнечной шелухой, фортепианными экзерсисами и флиртом. Теперь уже там нет ни прежней дешевизны, ни прежней тишины, ни пленительной простоты нравов.

Прежде, бывало, встанешь рано утром вместе с восходом солнца, когда росистая трава еще белеет, а из леса с его высокими, голыми, красными стволами особенно сильно доносится крепкий смолистый аромат. Не умываясь, накинув только поверх белья старое пальтишко, бежишь к реке, на ходу быстро раздеваешься и с размаху бухаешься в студеную, розовую от зари, еще подернутую легким паром, гладкую, как зеркало, водяную поверхность, к великому ужасу целого утиногo семейства, которое с тревожным кряканьем и плеском поспешно расплывается в разные стороны из прибрежного тростника. Выкупаешься и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свежести во всем теле, спешаешь к чаю, накрытому в густо заросшем палисаднике в тени сиреневых кустов, образующих над столом душистую зеленую беседку. На столе вокруг блестящего самовара расставлены: молочник с густыми желтыми сливками, большой ломоть свежего деревенского хлеба, кусок теплого, только что вырезанного сотового меда на листе лопуха, тарелка крупной, покрытой сизоватым налетом малины. Около самовара хлопочет хозяйская дочка Ганнуся – черноглазая крепкая деревенская девочка, задорная и лукавая. И как радостно, как молодо звучит в утреннем чистом воздухе ее веселое приветствие: «Здоровеньки булы с середою, паньчу!»

Целый день бродишь с ружьем и собакой по окрестным лесам и болотцам, ловишь с белоглавыми ребятишками у берега раков, тянешь с рыбаками невод и варишь с ними поздней ночью уху или сидишь с удочкой, закрывши от солнца голову соломенным брылем с полями в поларшина шириною, и следишь пристально за поплавком, едва видимым в расплавленном и дрожащем серебре реки. Домой возвращаешься усталый, перепачканный с ног до головы, но бодрый и веселый, с чудовищным аппетитом.

А поздним вечером, после того, когда возвратится в деревню стадо, пыля, и толпясь, и наполняя воздух запахом парного молока и травы, какое наслаждение сидеть у ворот и слушать и смотреть, как постепенно стихает мирная сельская жизнь!.. Все реже, тише и отдаленнее раздаются: то скрип колес, то нежная малорусская песня, то звонкое лошадиное ржанье, то возня и последнее щебетанье засыпающих птиц, то, наконец, те неведомые, загадочные, прекрасные аккорды ночной гармонии, которую каждый слышал и которую никто не мог ни понять, ни описать... Огни гаснут, в темно-синем небе загораются и дрожат ясные серебряные звезды... Сладкие, но неясные мечты, дорогие воспоминания теснятся в голове. Чувствуешь себя молодым, добрым и хорошим, чувствуешь, как стряхивается с тебя накипевшая за зиму городская скука, городское озлобление, все городские недомогания...

Теперь нет уже в моем мирном приюте ни неподдельного молока, ни масла без маргарина, ни чарующих буколических картин. В лесу прибиты роковые дощечки, запрещающие охоту и собирание грибов и ягод, по дорогам мчатся, согнувшись в три погибели, длинноногие велосипедисты, на реке толкуются декольтированные спортсмены в полосатых фуфайках, а хозяйские дочери носят нитяные перчатки и давно уже переняли от интендантских писарей известный жестокий романс про «собачку верную – Фингала».

## II

Когда я приехал в деревню на второе лето и с помощью Ганнуси устраивал свою комнату, Ганнуса, в числе прочих многочисленных новостей, объявила мне, что напротив их хаты, у Комарихи, наняли комнату «каких-то двоих постояльцев», муж и жена.

– Осипивна каже, що вони вже десять рокив, як поженылись. Вин не дуже красивый, а вона така гарна, така гарна, як зиронька ясна... От самы побачите. Каже Осипивна, той пан десь там у городи за учителя. Каждынь день по залізній дорозі издыть у город.

Часа два спустя, выглянув в окно, я увидел мою соседку. Маленький в четыре окна домик, весело выглядывавший белыми стенами из густой зелени вишен, слив, яблок и груш, был напротив нашего. Она сидела у открытого, полузавешенного легкими кисейными занавесками окна, в белой кофточке с ажурными прошивками на рукавах и груди, и, облокотясь на подоконник, читала книгу. У нее было одно из тех нежных, простых лиц, мимо которых сначала проходишь равнодушно, но, взглядевшись пристальнее и поняв их, невольно очаровываешься собственным им смешанным выражением ласки, мечтательности и, может быть, затаенной страстности. Всех мелочей ее лица издали и с первого раза я, конечно, не мог разглядеть, но успел заметить ее пышные белокурые волосы, не завитые, а заброшенные назад, так что ее небольшой, заросший с боков блестящим рыжеватым пушком лоб оставался открытым; очень тонкие брови, гораздо темнее волос, с насмешливым и наивным в то же время надломом посредине, и маленькие розовые уши. Впоследствии я разглядел ее поближе: самой красивой чертой у нее были глаза – продолговатые, темно-серые и очень блестящие.

В начале шестого часа приехал муж блондинки, господин лет сорока, с типичной наружностью учителя: с растрепанной бородой, брюнет, в золотых очках, с усталым приятным лицом и тощей фигурой. Он приехал на простой мужицкой телеге, закутавшись от пыли в белый парусиновый балахон с капюшоном, прикрывавшим голову. Не успел он еще вылезть из своего неудобного экипажа, как жена выбежала ему навстречу, накинув по дороге на голову белый фуляр. Тут я разглядел ее фигуру: она была высока, стройна и гибка, точно сильно выросший подросток, несмотря на то что ей по лицу можно было дать не менее двадцати семи – двадцати восьми лет. В то время как ее муж неловко перекидывал затекшие ноги через высокий бок телеги и осторожно сползал на землю, жена что-то оживленно говорила, смеялась и вынимала из телеги какие-то пакеты и свертки.



Вслед за блондинкой из калитки стремглав выскочил мальчик лет семи, очень на нее похожий, тоненький, бледный, вероятно, болезненный. Он с визгом бросился к отцу на шею и повис на ней, болтая в воздухе ножками, голыми по колени. Все трое пошли в хату.

Вечером я опять их видел. Муж в длинной синей блузе без пояса, вроде той, какую носят во время работы художники, сидел на корточках, нагнувшись над одной из крошечных клумб, разбитых в их палисадничке перед домом, и с сосредоточенным терпением что-то над нею делал. Я догадался, что он сажает цветочные семена. Сынишка его стоял около, заложив за спину руки, и внимательно следил за работой отца. Стройная фигура блондинки в белом платье показывалась то в доме, то в саду, и я невольно залюбовался ее грациозными, ловкими движениями. Один раз она подошла к мужу, и он, не вставая с корточек, поднял к ней вспотевшее и улыбающееся лицо и сказал ей несколько слов, указывая на свою работу. Она нагнулась к нему, сняла с него шляпу и вытерла его мокрый лоб носовым платком. Он на лету поймал ее руку и поцеловал.

«Нет, – подумал я, глядя на эту нежную и наивную сцену, – хотя дачное соседство и дает некоторые права на бесцеремонное знакомство, но я не буду искать его. Разве я посмею непрошеным вторжением в семью отнять у этого, такого славного, доброго на вид человека хоть самую малую часть его домашних радостей? Вместо того чтобы мирно копаться в своих грядках, он принужден будет занимать меня разговором о винте, о погоде, о газетах, о здоровье, обо всем том, что ему, наверно, так давно уже надоело в городе. И кроме того, – кто знает? – может быть, при ближайшем знакомстве этот славный и добрый человек превратится в педанта, в озлобленного неудачника, а мечтательная блондинка окажется сплетницей или генеральской дочерью с аристократической родней и жеманными манерами... Такие превращения не редкость».

Таким образом, решив в уме не пользоваться правами соседства, я предался своим обычным занятиям: охоте, рыбной ловле, купанью, чтению и в промежутках – созерцательному ничегонеделанию. Соседи тоже ничем не обнаруживали признаков особенно сильного желания познакомиться с моей особой, может быть, даже по соображениям, одинаковым с моими.

Тем не менее невольно я был свидетелем всех мелочей их жизни, и, должен признаться, эта жизнь зарождала порою в моей голове смутные желания своего собственного тихого угла и теплой, неизменной женской ласки. Если бы мне предоставили в этом отношении выбор, я не пожелал бы лучшей жены, чем моя белокурая соседка, – столько в ней было женственности, грации, шаловливости и заботливости к мужу. Правда, в своей жене я был бы доволен отсутствием одной черты, которая в блондинке мне кинулась в глаза с первых же дней: она читала просто за поем. Каждую свободную минуту, едва оторвавшись от дела, она посвящала книгам, и до сих пор, когда я ее вспоминаю, она рисуется в моих глазах не иначе как сидящей у открытого окна с кисейными занавесками или лежащей в гамаке, в тени старых яблонь, и непременно с книжкой в руке. По манере ее чтения и по легкомысленным переплетам книг я был убежден, что она читает переводные романы. Возвращаясь домой поздно ночью, я всегда заставал в ее окне свет. Вставала она поздно, в то время, когда муж ее, в одиночку напившись чаю, уже уходил в город, и по ее бледному, немного измученному лицу я видел, что она спала плохо и мало.

### III

Прошло около месяца. В городе кончились экзамены, и муж блондинки совсем поселился на даче. Целыми днями он возился в своем садике: поливал его, полыл, выравнивал заступом газоны, стругал какие-то палочки и втыкал их в землю. Почти у каждого человека, где бы он ни служил, чем бы ни занимался, всегда есть маленькая посторонняя слабость, которую он любит гораздо более своего «настоящего» дела: у одного охота, у другого клейка картонажей, у третьего собирание коллекции мундштуков, у четвертого какое-нибудь ручное мастерство. Видно было, что страсть учителя – цветы: так нежно он за ними ухаживал. В комнатах у него я также заметил много горшков с редкими растениями, которые он часто и заботливо вытирал губкою, окуривал, подрезывал ножницами и поливал.

По субботам к соседям приезжали из города знакомые, человек пять мужчин, на вид тоже учителей, с женами и детьми. Видно было, что гости и хозяйка составляют давно свыкшееся, сплоченное общество: так все они просто и непринужденно держались друг с другом. Хозяин нанимал пару простых телег, вся компания с шумом и хохотом рассаживалась и уезжала в лес

собирать грибы и ягоды. Вечером играли в винт, пели, смеялись и, наконец, оставались на даче ночевать, причем мужчины все до одного лезли на сеновал.

Это была счастливая жизнь, незатейливая, конечно, не богатая, но радостная, свежая, честная, ничем не смущаемая. И чем больше я на нее смотрел, тем более убеждался, что я был прав, избегая с соседями знакомства. Впрочем, с мужем мы уже раскланивались издали. Поводом к этому послужило наше обоюдное вмешательство в вооруженное столкновение, происшедшее на улице между его сыном и маленьким братишкой Ганнуси. Однако наши отношения только одними поклонами и ограничились, но дальше не пошли.

Прошло уже довольно много времени с моего переезда на дачу. Одна за другой отцвели: сначала яблони и вишни, потом черемуха и за нею сирень. Соловьи уже стали прекращать свои ночные концерты. Блондинка по-прежнему читала и хозяйничала, муж ее хлопотал целый день в палисаднике, я ловил окуней и ершей. Знакомство мое с соседями не подвигалось.

Однажды утром к калитке учителя подъехала телега. В телеге сидел плотный, высокий господин, – я никогда не видел его в числе соседских гостей, – по наружности актер или певец: бритый, с целой гривой курчавых волос, с большим квадратным лбом, с крупными складками у углов рта, с высокомерно выдвинувшейся вперед нижней губой, с презрительными глазами под нависшими наискось, как у Рубинштейна, верхними веками. Не видя никого вокруг, приезжий некоторое время сидел молча в телеге и оглядывался по сторонам. На стук подъехавшей телеги из сада вышел учитель в своей синей блузе, с заступом в руке. Закрываясь рукою от солнца, он долго вглядывался в приезжего. Потом они, должно быть, узнали друг друга. Приезжий гибким, сильным движением прыгнул с телеги, учитель кинулся к нему навстречу, и они расцеловались.

Особенно растроган этим событием был учитель. Он суетился, бросался от своего друга к мужику, снимавшему с телеги чемодан и прочие вещи приезжего, и от мужика опять к своему другу. Наконец они оба, в сопровождении мужика с вещами, пошли в дом, причем учитель вел приятеля, обняв его за спину, и любовно заглядывал ему в глаза. Приезжий был выше своего друга на целую голову; он шел легкой и упругой походкой, свойственной людям, привыкшим к паркету или к подмосткам.

На крыльце их встретила блондинка. По жестам учителя, по церемонному поклону приезжего и по несколько застенчивому движению, с каким блондинка подала ему руку, я увидел, что учитель знакомит жену с своим другом.

«Значит, – подумал я, – актер и учитель не встречались, по крайней мере, лет десять – двенадцать. Если человек решается приехать сюрпризом в семейный дом, он должен быть в очень близких отношениях к кому-нибудь в семье. Словом, это – друг юности или детства моего соседа, такой близкий и верный, что их дружбы не охладила даже женитьбы одного из них. Только где я его видел раньше, этого актера? Очень знакомая физиономия. А впрочем, может быть, это еще вовсе и не актер».

Однако на другой же день я убедился в основательности моего первого предположения. Перед вечером все трое – и хозяйева, и их гость – пили в саду чай. Приезжий что-то рассказывал очень оживленно, с красивыми, изысканными движениями. Вдруг среди рассказа он встал, медленно скрестил руки на груди и опустил голову на грудь, причем лицо его приняло задумчиво-трагическое выражение. Очевидно, он декламировал и, судя по характеру жестов, что-нибудь вроде гамлетовского «Быть или не быть». Учитель и блондинка смотрели на него с напряженным вниманием. Когда он кончил и с деланным красивым бессилием опустил на скамью, учитель несколько раз похлопал ладонью об ладонь, как будто бы аплодируя. Блондинка не шевелилась. Трудно было сказать, какое впечатление произвел на нее монолог, но ее лицо – впрочем, может быть, это мне только так показалось издали – приняло еще более чем когда-либо мечтательное выражение. Актер поселился у моих соседей, и, по-видимому, надолго, потому что привез с собою несколько летних костюмов и целый запас самого разнообразного и самого модного белья. Фамилии – как его, так и его друзей – для меня остались неизвестными. «Паны, тай годи», – отвечали наивно на мои расспросы хохлы. Однако я до сих пор убежден, что актера я раньше видел на сцене и что он принадлежит к числу крупнейших светил русского артистического небосклона.

Два дня учитель не мог достаточно нарадоваться приезду друга, не отходил от него ни на шаг, занимал разговорами, показывал ему в палисаднике свои цветы. А цветы у него действительно выросли великолепные, видно было, что учитель мастер своего дела.

Но через несколько дней, когда радость по поводу приезда друга утратила свою первоначальную остроту и присутствие его в доме стало явлением привычным, жизнь учителя вошла в свою обычную колею. Точно так же, как и раньше, вставал он с восходом солнца, сам приносил в лейке воду из ближайшего колодца и до обеда в своей обычной широкой блузе рылся в клумбах. Зато жизнь его жены заметно переменилась с приездом актера. Вместо прежней белой кофточки с прошивками я теперь постоянно видел на ней нарядные цветные лифы, надетые поверх корсета, с оборками и кружевами. Пышные белокурые волосы, прежде так мило зачесанные назад, теперь познакомились со щипцами и превратились в кудрявую гривку. И даже читала она теперь не более часа в день, потому что все остальное время проводила с гостем. То они ходили рядом по узким извилистым дорожкам палисадника, оживленно разговаривая, то она лежала в гамаке, тихо раскачиваясь и глядя, закинув назад голову, в небо, а он сидел рядом с книгой и читал ей вслух, то, захватив удочки, они отправлялись на берег, и я часто видел их сидящими близко рядом, занятыми разговором и не обращающими внимания на поплавки...

Рассказы актера и разговоры с ним должны были интересовать молодую женщину. Ничто так не привлекает издали людей непосвященных, как рассказы артистов о закулисных тайнах сцены. Я часто видел, как, идя с нею рядом и говоря что-то с красивой и оживленной жестикуляцией, он вдруг останавливался, заставляя ее тоже остановиться и обернуться к нему лицом, и начинал, вероятно, для пояснения своих слов, читать наизусть какой-нибудь монолог. И каждый раз в этих случаях, глядя на его красивую, мощную фигуру, на эффектную пластичность его жестов, я все более и более убеждался, что это далеко не заурядный артист.

Однажды перед вечером я сделал важное открытие: он учил ее сценическому искусству. Он сидел в саду на скамейке перед круглым деревянным столом, на котором обыкновенно пили чай. Она стояла перед ним, точно ученица перед учителем, смущенная, взволнованная, и читала что-то наизусть. Актер слушал, опустив голову вниз, слегка покачиваясь телом и плавно ударяя ребром правой ладони по столу.

Когда блондинка окончила чтение, он быстро бросился к ней, схватил обе ее руки в свои и, с жаром пожимая их, что-то заговорил. Должно быть, он выражал свое восхищение. Она отворачивалась и отнимала руки, но он не выпускал их и продолжал говорить, стараясь заглянуть ей в лицо.

Очевидно, блондинка вкусила сладкого яда восторженных похвал артиста, потому что с этого дня я каждый вечер бывал свидетелем происходивших в саду уроков драматической декламации. Был ли искренен актер или нет, я не знаю, но он принялся за занятия с блондинкой самым решительным образом. Муж не мешал им. Случалось, во время урока он подходил к ученице и учителю, слушал минут с пять, заложив руки в карманы, потом с добродушным видом трепал актера по плечу и уходил к своим цветам.

К концу месяца я сделал другое открытие, но гораздо более важное, чем первое. Случилось это также вечером, когда прозрачный воздух уже заметно стемнел и в нем носились с густым жужжаньем июньские жуки. Блондинка лежала в гамаке. Она так глубоко задумалась, глядя, по своему обыкновению, вверх, что не услышала шагов осторожно к ней подходящего актера. Актер подкрался совсем вплотную к своей ученице, оглянулся по сторонам, желая убедиться, не смотрит ли кто-нибудь за ним, и затем, быстро нагнувшись, поцеловал блондинку в волосы. Она вздрогнула, слегка привстала в гамаке, и вдруг, к моему удивлению, вместо того чтобы рассердиться или крикнуть на актера, она нежным движением обвила руками его шею, притянула его лицо к своему и... пауза в три минуты... Я поспешно отвернулся. Хотя все мною виденное и не касалось меня, но я почувствовал к актеру странную ревнивую зависть.

В этот вечер учитель уехал в город. Блондинка и актер провожали его. Они жали ему на прощанье руку, целовали его и смеялись самым дружеским и беспечным образом. Учитель улыбался им и долго еще, сидя в удаляющейся телеге, кивал головою стоящим у калитки жене и другу детства.

На другой день, встав рано утром и выглянув в окно, я был поражен до такой степени, что

сначала не верил своим глазам. Около калитки моего соседа стояла телега, нагруженная вещами, в числе которых я узнал весь багаж, привезенный актером. Вскоре и он сам вышел из дому вместе с блондинкой. Оба были в дорожных платьях. Блондинка казалась утомленной, лицо ее побледнело, веки покраснели, видно было, что она в эту ночь не спала, и вместе с тем она имела вид человека, решившегося на какой-то роковой, невозвратимый шаг. Поддерживаемая под локоть актером, она села в телегу. Следом за ней влез актер и сказал что-то хохлу, сидевшему на облучке. Хохол ударил кнутом лошадей, телега загрохотала по дороге и... вдруг остановилась...

Маленький учитель в золотых очках, бог весть откуда взявшийся, стоял посреди дороги, держа лошадей под уздцы. Вид у него был растрепанный, немножко смешной, но чрезвычайно решительный. Он кричал что-то, чего я не мог расслышать. И вдруг он бросился, как пуля, в телегу, схватил актера за шиворот и выкинул его на землю. Признаться, это было поразительное зрелище. Но дальше было еще страннее. Я ожидал, что актер – этот большой, массивный, величественный и гордый человек – станет драться, сопротивляться или хотя бы, по крайней мере, начнет объяснение. Нет, он побежал вперед с поразительной быстротой, потерял по дороге круглую шляпу и – я заметил это! – все время подтягивал панталоны. Ей-богу, я ожидал всего, даже кровопролития, но не этого театрального эффекта. Но конец всей этой истории меня не только удивил, но растрогал, потряс и почти ужаснул.

Они оба – блондинка и учитель – прошли мимо моих окон, в расстоянии каких-нибудь пяти-шести шагов от меня. И я почти видел, каким счастьем сияли ее глаза, я видел и слышал, как она целовала его учительскую, растрепанную бороденку, и слышал также, как она говорила, задыхаясь:

– Нет, нет, нет! Никогда в моей жизни ничто подобное не может повториться. Он только притворялся мужчиной, а ты настоящий, смелый и любящий мужчина.

Тогда я закрыл окошко и больше за моими соседями не наблюдал.

<1895>

## Ночлег

В последних числах августа, во время больших маневров, N-ский пехотный полк совершал большой, сорокаверстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчащими на нем желтыми колючими остатками соломы.

След отряда издали обозначался длинной извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли, совершенно окутанные ею. Пыль скрипела во рту, садилась на вспотевшие лица и делала их черными. Только зубы да белки глаз сверкали своею белизною на этих измученных, исхудавших, казавшихся суровыми лицах. Согнувшись под тяжестью ранцев и надетых поверх их скатанных в кольца шинелей, солдаты шли молча, враздробь, едва волоча усталые ноги. Лишь изредка, когда чей-нибудь штык с лязганьем задевал о соседний штык, из рядов слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высыпались и томились от зноя, усталости и жажды. Некоторые вяло, без всякого аппетита, чтобы только чем-нибудь сократить время длинного и скучного перехода, жевали на ходу розданный утром хлеб.

Офицеры шли не в рядах – вольность, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, – а обочиною, с правой стороны дороги. Их белые кителя потемнели от пота на спинах и на плечах. Ротные командиры и адъютанты дремали, сгорбившись и распутив поводья, на своих худых, бракованных лошадях. Каждому хотелось как можно скорее во что бы то ни стало дойти до привала и лечь в тени.

Поручик Авилов, болезненный, молчаливый и нервный молодой человек, шел против первого ряда своей одиннадцатой роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, портупея оттягивала плечо, в голове мягко и тяжело билась кровь. Но более всего угнетала Авилова всегда овладевавшая им во время похода тупая скука, от которой он старался избавиться каким-нибудь мелким занятием. То он срывал с придорожной ивы гибкий хлыст и отчищал его зубами и ногтями

от коры, то старательно сшибал шашкою пунцовые головки колючего репейника, то, наметив вдали какой-нибудь пункт, старался угадать, сколько до него шагов, и потом проверял себя. Наконец, когда все это ему надоедало, он принимался «мечтать», как, бывало, делал еще в корпусе за всенощной, чтобы убить время. Он мысленно спрашивал себя: «Ну, о чем же теперь?» – и начинал перебирать в уме все, что могло бы ему доставить удовольствие или что раньше заинтересовало его воображение в слышанном и прочитанном. Иногда он представлял себя известным путешественником вроде Пржевальского или Елисеева. Он собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов, которые трепетали перед одним его взглядом. Он открывал неизведанные еще острова и земли и водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему свету. Когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные встречи. Женщины бросали ему цветы и в восхищении шептали одна другой: «Вот он, вот тот, самый знаменитый!» Иногда он воображал, что маневры уже окончились и он идет со своей ротой на вольные работы к какому-нибудь помещику, баснословно богатому и непременно с аристократическим именем. У помещика есть дочь – бледная, задумчивая красавица. Светские кавалеры давно опротивели ей своей бесцветной пустотой, и она с первого взгляда же влюбляется в простого пехотного поручика, бедного и гордого, постоянно замкнутого в себе, «с печатью разочарования на челе». Лунная ночь, свидание в старом запущенном саду, пламенные признания в любви... «Нам необходимо расстаться, – говорит мрачно Авилов, – ты богата, а я нищий, мы не будем никогда счастливы». Помещицья дочь плачет у него на груди, он утешает ее. Из-за кустов неожиданно появляется сам помещик, растроганный, со слезами на глазах. «Дети мои, – говорит помещик, – я хочу, чтобы вы любили друг друга. Не деньги, а истинная любовь приносит людям счастье». С этими словами он благословляет влюбленных; все трое обнимаются и плачут. Через несколько дней в приказе по полку товарищи с удивлением и завистью читают, что поручик Авилов, рапортом за N таким-то, просит разрешения на вступление в первый законный брак с девицею, княжною Зэт...

Порою фантазия так ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и серые, однообразно шагающие ряды солдат переставали для него существовать. Он шел с низко опущенной головой, с неопределенной улыбкой на губах, с расширившимися и потемневшими неподвижными глазами. Несколько верст уходили незаметно, и когда Авилов просыпался от своих грез, перед ним уже расстилалась совершенно новая местность.

Вечерние тени удлиннились. Солнце стояло над самой чертой земли, окрашивая пыль в яркий пурпуровый цвет. Дорога пошла под гору. Далеко на горизонте показались неясные очертания леса и жилых строений.

Навстречу отряду тянулся бесконечный крестьянский обоз. При приближении солдат хохлы медленно, один за другим, сворачивали своих громадных, серых, круторогих, ленивых волов с дороги и снимали шапки. Все они, как один, были босиком, в широчайших холщовых штанах, в холщовых же рубахах. Из растянутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темно-бронзовые от загара и покрытые бесчисленными мелкими морщинами.

По мере того как солдаты проходили мимо обоза, из рядов сыпались нетерпеливые вопросы:

- Дядька, а далеко еще до Нагорной?
- Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?
- Что, братцы, это там Нагорная видна?

Хохлы, лениво, с расстановкой отвечали, что до Нагорной «версты три або четыре, мабудь, е, с гаком». Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шагу.

Через четверть часа внизу, в глубокой лощине, блеснула синяя широкая лента реки. Солнце село. Запад пылал целым пожаром ярко-пурпуровых и огненно-золотых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые оттенки, и только извилистые края прихотливых облаков отливали расплавленным серебром; еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый, почти бирюзовый цвет. Тонкий серп молодого месяца, бледный, едва заметный, стоял посреди неба; первые звезды начинали робко поблескивать в вышине.

– Господа офицеры, по местам! Барабанщики, поход! – закричал в голове отряда раскати-стый начальнический голос.

Один за другим, в разных местах длинной колонны, глухо зарокотали барабаны. Солдаты бегом заскакивали в ряды, поправляя на ходу толчком спины и плеч ранец и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. Офицеры, обнажая на ходу шашки, поспешно отыскивали свои места.

Наклон дороги сделался еще круче. От реки сразу повеяло сырой прохладой. Скоро старый, дырявый деревянный мост задрожал и заходил под тяжелым дробным топотом ног. Первый батальон уже перешел мост, взобрался на высокий, крутой берег и шел с музыкой в деревню. Гул разговоров стоял в оживившихся и выровнявшихся рядах.

– Федорчук, не пыли... Подымай, бисов сын, ноги.

– А что, Шаповалов, ловкая у тебя в Зимовицах была хозяйка? А? Как она яво, братцы мои, уфатом!

– Не лезь.

– Очень просто. Потому что он сичас с руками.

– Уж это беспрременно, ребята: как вечером небо красное – к завтрашнему жди ветра.

– Эй, третий взвод, кто за хлебом? Смотри, черти, опять прозеваете!

– Подержи, земляк, ружье, я шинель поправлю. А любезная эта самая вешшь – маневра! Куда лучше, чем, например, ротная школа.

– Не отставай, четвертый взвод! Дохлые!

С пригорка была видна вся деревня. Белые мазаные хатенки, тонущие в вишневых садках, раскинулись широко в огромной долине и по ее склонам. За крайние хаты высыпала пестрая толпа, большею частью баб и ребятишек, посмотреть на «москалей». Запевала одиннадцатой роты, ефрейтор Нога, самый голосистый во всем полку, не дожидаясь приказа начальника, выскочил вперед, попал в такт, оглянулся на идущих сзади, сбил шапку на затылок и, приняв небрежно хмурый вид, преувеличенно широко размахивая правой рукой, запел:

Зима люта-ая проходить,  
Весына-красна настаеть,  
Весна-красна д'настаеть,  
У солдата сердце мреть.

Сто здоровых голосов оглушительно подхватили припев, и каждый солдат, проходя с приторно равнодушным видом перед глазами изумленной толпы, чувствовал себя героем в эту минуту. «Это все мужичье, разве они что-нибудь понимают? Им военная служба страшнее самого черта: и бьют, мол, там, и на ученье морят, и из ружья стреляют, и в походы на турков водят. А я вот ничего этого не боюсь, и мне на все наплевать, и никакого я на вас, мужиков, внимания не обращаю, потому что мне некогда, я своим \_солдатским\_ делом занят, самым важным и серьезным делом в мире». Эту мысль Авилов читал на всех лицах, начиная от запевалы и кончая последним штрафованным татаринном, и сам он, против воли, проникался сознанием какой-то суровой лихости и шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив грудь.

Нам ученье чижало,  
Между проч-чим ничего! –

пел Нога, коверкая из молодечества слова и подкрикивая хору жесточайшим фальцетом. Никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины. Люди давно уже издали заметили четырех «своих» квартирьеров, идущих роте навстречу, чтобы сейчас же развести ее по заранее назначенным дворам. Еще несколько шагов, и взводы разошлись, точно растаяли, по разным переулкам деревни, следуя с громким хохотом и неумолкающими шутками каждый за своим квартирьером.

Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся до ворот, на которых мелом была сделана крупная надпись: «кватера Поручика ателова». Дом, отведенный Авилову, заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и белизной стен, и железной крышей. Половина двора заросла густой, выше человеческого роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками; низко гнувшимися под тяжестью своих желтых шапок. Около окон, почти закрывая простенки между ними, подымались длинные тонкие мальвы со своими бледно-розовыми и красными цветами.

Денщик Авилова, Никифор Чурбанов – ловкий, веселый, и безобразный, точно обезьяна, солдат, – уже раздувал на крыльце снятым с ноги сапогом самовар. Увидя барина, он бросил сапог на землю и вытянулся.

– Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не раздувал сапогом, – сказал брезгливо Авиллов. – Покажи, где здесь пройти.

Денщик отворил дверь из сеней направо. Комната была просторная и светлая; на окнах красные ситцевые гардинки; диван и стулья, обитые тем же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в деревянных ажурных рамах и два олеографических «приложения»; маленький пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом и, наконец, в углу необыкновенно высокая двухспальная кровать с целой пирамидой подушек – от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки. Пахло мятой, любистком и чабрецом. В Малороссии пучки этих трав всегда втыкаются «для духу» за образа.

Авиллов стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег, закинув руки за голову. Теперь ему стало еще скучнее, чем на походе. «Ну, вот и пришли, ну и что же из этого? – думал он, глядя в одну точку на потолке. – Читать нечего, говорить не с кем, занятия нет никакого. Пришел, растянулся, как усталое животное, выспался, а опять завтра иди, а там опять спать, и опять идти, и опять, и опять... Разве заболеть да отправиться в госпиталь?»

Темнело. Где-то близко за стеною торопливо тикал маятник часов; Со двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор уголья в самоваре. Вдруг Авиллову пришла в голову мысль искупаться.

– Никифор! – крикнул он громко.

Никифор поспешно вошел, хлопая дверьми и стуча надетыми уже сапогами, и остановился у порога.

– Здесь река есть? – спросил Авиллов.

– Так точно!

– А что, если бы выкупаться? Как ты думаешь?

– Так точно, можно, вашбродь, – немедленно согласился денщик.

– Да ты наверное говори. Может быть, грязно?

– Так точно, страсть – грязно, вашбродь. Так что – прямо болото. Даве кавалерия лошадей поила, так лошади пить не хотят.

– Ну и дурак! А ты вот что скажи мне...

Авиллов запнулся. Он и сам не знал, что спросить. Ему просто не хотелось оставаться одному.

– Скажи мне... Хозяйка хорошенькая?

Денщик засмеялся, отер рукавом губы и с конфузливый видом отвернул голову к стене.

– Ну? – нетерпеливо поощрил Авиллов.

– Так что... Не могу знать... Они – ничего, вашбродь... хорошенькие... вроде как монашки.

– А муж старый? Молодой?

– Не очень старый, вашбродь. Так точно, молодой. Он писарем здесь, муж евонный, служит.

– Писарем? А почему же как монашка? Ты с ней разговаривал?

– Так точно, разговаривал. Я говорю, смотрите, сейчас барин мой придет, так чтобы у вас все в порядке было...

– Ну, а она?

– Она что ж? Она повернулась, да и пошла себе. Сердитая.

– А муж ее дома?

– Дома. Только теперь его нет, – ушел куда-то.

– Ну, хорошо. Давай самовар да поди скажи хозяйке, что я прошу ее на чашку чаю. Понимаешь?

Через несколько минут Никифор внес самовар и зажег свечи. Заваривая чай, он произнес:

– Ходил я сейчас... к хозяйке-то...

– Ну и что же?

– Сказал.

– Ну?

– Она говорит: оставьте меня, пожалуйста, в покое. Никакого, говорит, мне вашего чая не надо.

– И черт с ней! – решил Авилов, зевая. – Наливай чай!

Он молча поужинал холодной говядиной и яйцами и напился чаю. Никифор так же молча ему прислуживал. Когда офицер кончил чай, денщик унес самовар и остатки ужина к себе в сарай.

Авилов разделся и лег. Как всегда после сильной усталости – ему не спалось. Из-за стены по-прежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум, похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шепотом. В окне, прямо перед глазами Авилова, на темно-синем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь, стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, ярко-желтый месяц. Едва Авилов закрывал веки, перед ним тотчас же назойливо вставала скучная картина похода: серые комковатые поля, желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат. На мгновение он забывался, и, когда опять открывал глаза, ему казалось, что он только что спал, но сколько времени – минуту или час – он не знал. Наконец ему удалось на самом деле заснуть легким, тревожным сном, но и во сне он слышал быстрое тиканье маятника за стеной и видел скучную дневную дорогу.

Часа через полтора Авилов вдруг опять почувствовал себя лежащим с открытыми глазами и опять спрашивал себя: спал он, или это только была одна секунда полного забвения, отсутствия мысли? Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к самой верхушке тополя. Небо стало еще синее и холоднее. Порою на месяц набегало белое, легкое, как паутина, облачко, и вдруг все оно освещалось оранжевым сиянием. Быстрый, сердитый шепот, который Авилов слышал давеча за стеною, перешел в сдержанный, но довольно громкий разговор, похожий на ссору, вот-вот готовую прорваться в озлобленных криках. Авилов прислушался. Спорили два голоса: мужской низкий, то дребезжащий, то глухой, точно из бочки, какой бывает только у чахоточных пьяниц, и женский – очень нежный, молодой и печальный. Голос этот на мгновение вызвал в голове Авилова какое-то смутное, отдаленное воспоминание, но такое неясное, что он даже и не остановился на нем.

– Спать я тебе не даю? – спрашивал мужчина с желчной иронией. – Спать тебе хочется? А если ты меня, может быть, на целую жизнь сна решила? Это ничего? А? У, под-длая! Спать хочется? Да ты, дрянь ты этакая, ты еще дышать-то смеешь ли на белом свете? Ты...

Мужчина внезапно раскашлялся глухим, задыхающимся кашлем. Авилов долго слышал, как он плевал, хрипел и ворочался на постели. Наконец ему удалось справиться с кашлем.

– Тебе спать хочется, а я, как овца, по твоей милости кашляю... Вот погоди, ты меня и в гроб скоро вгонишь... Тогда выспишься, змея.

– Да вольно же вам, Иван Сидорыч, водку пить, – возразил печальный и нежный женский голос. – Не пили бы, и грудь бы не болела.

– Не пить? Не пить, ты говоришь? Да ты это что же? Я твои деньги, что ли, в кабаке оставляю? А? Отвечай, твой?

– Свои, Иван Сидорыч, – покорно и тихо ответила женщина.

– Ты в дом принесла хоть грош какой-нибудь, когда я тебя брал-то? А? Хоть гривенник дырявый ты принесла?

– Да вы ведь сами знали, Иван Сидорыч, я девушка была бедная, взять мне было неоткуда. Кабы у меня родители богатые...

Мужчина вдруг засмеялся злобным, презрительным долгим хохотом и опять раскашлялся.

– Бе-едная? – спросил он ядовитым шепотом, едва переводя дыхание. – Бедная? Это мне все равно, что бедная. А ты знаешь, какое у девушки богатство? Ты это знаешь?

Женщина молчала.

– Ежели она себя соблюла, вот ее богатство! Че-е-есть! Ты этого слова не слыхала? Что? Я тебя спрашиваю, ты это слово слыхала или нет? Ну?

– Слыхала, Иван Сидорыч...

– Врешь, не слыхала. Кабы ты слыхала, ты сама бы честная была. А я разве тебя честную замуж взял? Ну?



– Что же, Иван Сидорыч, я как перед богом... Моя вина... Пятый год прошу прощения у вас.

Она заплакала тихо, тоненько и жалобно. Но ее слезы только еще более раздражили мужа. Он от них пришел в ярость.

– И десять лет проси – не прошу. Никогда я тебя, развратница, не прошу. Слышишь, никогда!.. Зачем ты мне не призналась? Зачем ты меня обманывала? Ага! Ты думала, я чужие грехи буду покрывать? Вот, мол, дурак, слава богу, нашелся, за честь сочтет чужими объедками пользоваться. Да ты знаешь ли, тварь, я на купеческой дочке мог бы жениться, если бы не ты... Я бы карьеру свою теперь сделал. Я бы...

– Да ведь не сама я, Иван Сидорыч, – отвечала, всхлипывая, женщина, – не своей охотой я пошла-то за вас. Вы сами знаете, как меня маменька била в то время.

Это оправдание довело мужчину до бешенства. Он опять страшно закашлялся, и в промежутках между приступами кашля Авилов услышал целый поток озлобленной скверной ругани. Потом вдруг в соседней комнате раздался резкий и сухой звук пощечины, за ним другой, третий, четвертый, и в ночной тишине посыпались беспощадные, рассчитанные, ожесточенные удары. А затем как-то все сразу смолкло. Стало так тихо, что можно было расслышать писк червяка, точившего дерево. Авилов лежал, широко раскрыв глаза; сердце его учащенно билось от какого-то жуткого, грустного и жалостливого чувства. Потом он услышал тихий голос женщины, заглушаемый сдержанным плачем.

– Боже мой, господи, – причитала она, рыдая, скрежеща зубами и захлебываясь от слез, – отчего ты мне не пошлешь смерти мучительной? Ведь пять лет... пять лет каждая ночь не обойдется без попреков. Хотя убил бы меня сразу, изверг! За что ты меня терзаешь? За что? Разве я не слуга тебе? Разве я не твоя раба? Ну, хоть бы одну ноченьку ты из меня души моей не выматывал. Одну только ночь! Что же ты думаешь, я *того*, проклятого, любила? Пусть его господь покарает за меня позорной смертью. Если бы я встретила его, задушила бы, вот так, пальцами бы своими задушила!.. Жизнь он мою загубил, негодяй! Двадцать пять лет мне, я уж старухой стала... Моченьки моей нет!

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, все стараясь припомнить, где он раньше слышал похожий голос, и вдруг неожиданно, сразу, заснул крепким здоровым сном, без всяких видений.

Под утро он опять проснулся. Месяца уже не было видно. Небо из темно-синего сделалось светло-серым. Авилов с удивлением опять услышал за стенкою те же голоса.

– Милая моя, дорогая, – говорил мужчина растроганным, ослабевшим голосом, – если бы не это, как бы я тебя любил-то! То есть ветру на тебя дохнуть не позволил бы. Барыней бы у меня была, вот что.

– Ах, Иван Сидорыч, ну, простите вы меня наконец. Ну, будем как люди, как все... На что уж я вам послушна, а тогда вот, кажется, мысли бы ваши угадывала...

Наступило молчание, и Авилов услышал за стеною звуки продолжительных поцелуев.

– Ну хорошо; ну хорошо, – заговорил ласково и успокоительно мужчина. – Ну будет, будет... Ты думаешь, мне самому сладко? У меня сердце кровью обливается, а не то что... Голубка моя.

И опять до ушей Авилова донесся долгий поцелуй.

– Да, вот вы говорите – хорошо, – прошептала женщина, слегка задыхаясь, – а завтра опять... Уж сколько раз вы обещались не попрекать больше, а сами... Перед образами божились сколько раз...

– Ну будет, ну перестань... Ты мне только скажи, ты *того-то*, тогдашнего, не любишь ведь? Правда?

– Ах, Иван Сидорыч, ну что вы спрашиваете? Да я зарезала бы его своими руками, если бы только встретила где!..

Разговор за стеной затих, понизился до шепота, все чаще слышались поцелуи и подавленный, счастливый смех Ивана Сидоровича.

Сон опять начал сковывать Авилова, но он боролся с ним и все старался припомнить, где он слышал такой же голос? Порою он уже вот-вот готов был вспомнить, но мысли его рассеивались и путались, как всегда у засыпающего человека... Наконец, совершенно засыпая, он

вспомнил.

Это было лет шесть тому назад. Он – только что произведенный тогда в офицеры – приехал на лето к своему дяде в имение, в Тульскую губернию. Скука была в деревне страшная, и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого-нибудь развлечения. Охота, рыбная ловля давно надоели, ездить верхом было слишком жарко.

Вероятно, от скуки он однажды обратил внимание на дядину горничную Харитину, высокую, сильную девушку, тихую и серьезную, с большими синими, постоянно немного грустными глазами. Как-то вечером, встретившись с Харитиной в сених, Авилов обнял ее. Девушка молча отбросила его руки от своей груди и так же молча ушла. Офицер смутился и, озираясь, на цыпочках, с красным лицом и бьющимся сердцем прошел в свою комнату.

Недели две спустя, в жаркий, истомный июньский полдень, Авилов лежал на краю громадного густого сада, на сене, и читал. Вдруг он услышал совсем близко за своею спиной легкие шаги. Он обернулся и увидел Харитину, которая, по-видимому, его не замечала.

– Ты куда собралась, Харитина? – окликнул ее Авилов.

Она сначала испугалась, потом сконфузилась.

– Я тут... вот... купалась сейчас...

Авилов подошел к ней, тревожно оглянулся по сторонам и обнял ее. Она молча, опустив глаза и покраснев, уперлась руками в его грудь и делала усилия оттолкнуть его. Офицер все крепче притягивал девушку к себе, тяжело дыша и торопливо целуя ее волосы и щеки.

Харитина сопротивлялась долго, с молчаливым упорством и озлоблением. Она была очень сильна. Авилов начал изнемогать и хотел уже выпустить девушку, как вдруг она страшно побледнела, руки ее бессильно упали вниз, глаза закрылись.

Очнувшись, она принялась истерично плакать. Все утешения и обещания Авилова были напрасны. Он так и ушел из сада, оставив Харитину бившейся в рыданиях на траве.

Она об этом случае никому не сказала ни слова и только старательно избегала встреч с Авиловым.

Да, впрочем, и сам Авилов через четыре дня уехал из деревни, по телеграмме матери, неожиданно заболевшей.

С тех пор он не видал Харитины, и только сейчас голос женщины за стеной слегка ему ее напомнил, слегка – потому, что Авилов не успел еще разобраться в своих воспоминаниях, как уже опять заснул крепким утренним сном.

– Вашбродь, вставайте! Вставайте, вашбродь. Уж ротный командир пошодши к роте! – будил Никифор разоспавшегося Авилова, тряся его, с должным, однако, почтением, за плечо.

– Мм... а самовар? – промычал Авилов, с трудом раскрывая глаза.

– Никак нет! Вещи все отправлены: фельдфебель приказали. Я уж вас, почитай, целый час будил: изволили ругаться и сказали, что чаю не будете пить.

Авилов сделал наконец над собою усилие, быстро вскочил с постели и стал поспешно одеваться. Он боялся опоздать. Поспешно плеснув несколько раз на лицо водою, едва застегнув сюртук, он побежал к сборному месту, на ходу надевая шарф с кобуром и шашку.

Батальоны уже стояли правильными черными четырехугольниками вдоль широкой улицы, рядом, один около другого. Авилов поспешно вступил в свое место, стараясь не встречаться глазами с укоризненным взглядом командира.

Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной вышине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца.

Через десять минут из-за правого фланга выехал на своем громадном сером мерине полковой командир. Его голос оживленно и явственно раздался в утреннем воздухе.

– Здорово, первый ба-тальон-он!

– Здра-жла-ва-со!.. – весело и бодро крикнули четыреста молодых голосов.

Он объехал таким образом все батальоны, затем выехал перед середину полка, шагов на пятьдесят, откинулся телом назад и, закинув вверх голову, молодецки, радостным голосом скомандовал:

– Под знамена! Ша-а-ай! На кра-у-ул!

Батальоны брякнули ружьями и замерли. Прозрачно и резко разносясь в воздухе, раздались звуки встречного марша. Знамя, обернутое сверху кожаным футляром, показалось над рядами, мерно колыхаясь под звуки музыки. Того, кто его нес, не было видно. Потом оно остановилось, и музыка замолкла.

Полк вытянулся в длинную, узкую колонну и двинулся. Солдаты шли бодро, радуясь свежему, веселому утру, отдохнувшие и сытые. Всем хотелось петь, и когда Нога своим звонким, сильным голосом затянул:

Ой да из-под горки, он из-под крутой  
Ехал майор молодой,

– солдаты подхватили припев особенно дружно и согласно.

Извиваясь длинной лентой, полк одну за другой проходил улицы большого села. Авилов издали узнал дом, в котором он провел ночь. У калитки его стояла какая-то женщина с коромыслом на плече, в темном платье, с белым платком на голове. «Это, должно быть, моя хозяйка, – подумал Авилов, интересно на нее взглянуть».

Когда он сравнялся с нею, женщина быстро, точно от внезапного толчка, обернулась назад и встретилась глазами с Авиловым. Он сразу узнал ее. Это была несомненно Харитина: те же глубокие, кроткие глаза, то же серьезное и печальное лицо...

И она его тотчас же узнала. В глазах ее попеременно отразились и изумление, и гнев, и страх, и презрение... она побледнела, и ее ведра упали вместе с коромыслом на землю, дребезжа и катясь.

Авилов обернулся. Тяжелая, острая скорбь внезапно охватила его, точно кто-то сжал грубой рукой его сердце. И почему-то в то же время он показался себе таким маленьким-маленьким, таким подленьким трусишкой. И, чувствуя на своей спине взгляд Харитины, он весь съежился и приподнял вверх плечи, точно ожидая удара.

А рядом с ним – справа, слева, впереди, сзади – здоровые голоса орали с гиканьем, визгом и пронзительным свистом:

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,  
Здравствуй, милая моя...

<1895 >

## Миллионер

На третий день рождества, вечером, у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреями и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В «общество» входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через «переходный пункт», местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыкновенное время редко посещали друг друга во избежание лишних расходов, но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно «балки», на которых танцевали до света под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни.

Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название гостиной, в отличие от другой, называвшейся спальней. На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт, бледный, толстый, отекший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме штоса и «дьябелка». По бокам Шмидта и друг против друга помещались: отец дьякон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали: помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевала и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монаше-

ского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя «апостолом тихого пьянства». Наконец, на самом конце стола приютился Аггей Фомич Малыгин, тоже – почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места.

Аггей Фомич вообще избегал, по возможности, ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство – принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало двадцатидвухрублевого ежемесячного жалованья. Каждый, устроенный им по необходимости «балок» производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Аггея Фомича, позеленевший, расплывшийся по швам, заплатами, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Аггея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз.

Аггей Фомич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить; кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах; и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Аггей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечере у Ракитина взять у кого-нибудь займы несколько рублей. И он сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он с сконфуженной поспешностью отказывался от каждого предлагаемого ему куска, из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина.

Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае, разговор, до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Аггею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что «как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги: при них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником – все равно люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом».

– А ведь я раз чуть не сделался богачом, – сказал задыхающимся голосом Шмидт. – Был я как-то на свадьбе у помещика Порчинского, у того самого, что на Головчине... Собралось там человек двадцать польских панов, и, понятно, после ужина сейчас же штос. У меня было в кармане, не помню, двадцать или тридцать пять рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по тысяче рублей. Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик, с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной, семпелями, говорит мне: «Отчего же вы ничего не поставите?» Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки, говорит, ставьте». Ну, я поставил десять – проиграл, еще десять с какой-то мелочью – тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль, так, для памяти я его держал. Дай, думаю, поставлю и его. Поставил. Представьте себе – дали. Я на пе – дали. Еще раз на пе, и еще, и еще. Минут в пять сорвал весь банк. Банкомет говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел. Мечу. Ну, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас лусь и убью. Набралось у меня тысяч до пятнадцати. Я уже думаю встать, да все как-то жаль: а ну, как я свое счастье упущу? В это время подходит к столу сам Порчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, – говорит мне, – вам в любви везет, так в карты не должно везти. Дайте-ка я за-

ложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо. Ва-банк!» Все так и рты разинули. Ну, делать нечего, тасую я карты, а он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет, каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. «Я, говорит, теперь и метать больше не хочу».

Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами: точно они сами видели эти пятнадцать тысяч и слышали их запах и шелест.

– А вот тоже есть счастливицы, которые выигрывают на билеты, – сказал, вздыхая, отец дьякон (всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа). – На днях я читал, ростовщик какой-то двести тысяч цапнул. И хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути божий.

– Н-да, – протянул задумчиво и басом учитель, – бывает. А вот, говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет?

– Да, говорят, – ответил помощник пристава, – только я не знаю, верно ли... А у нас вот в 3. с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетик. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает: «Какой номер вашего билета, Сергей Иванович?»

– «Какой, говорит, не помню уже какой, ну, хоть, положим, тысяча сто двадцать третий». – «Поздравляю вас, вы выиграли пятьдесят тысяч». Справились в газетах: точно – тысяча сто двадцать третий – пятьдесят тысяч. Ну, тот прямо обезумел от радости! Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке, вместо тысяча сто двадцать четвертого, напечатан тысяча сто двадцать третий. Так с этим копиистом нервная горячка сделалась.

И один за другим потекли эти избитые, всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды: о Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшим сначала спички на улицах, а потом имевшем сто миллионов годового дохода, о Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях.

Аггей Фомич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диковинных, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи, взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику.

– Некоторые тоже находят деньги на улице, – выпалил вдруг неожиданно для самого себя Аггей Фомич.

Все поглядели на него с удивлением, – он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Аггей Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть.

– Как же, находят и на улицах, только... в чужих карманах, – сострил помощник пристава.

Все засмеялись, больше над опрокинутым лицом Аггея Фомича, чем от остроты помощника пристава, и тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Аггея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина.

Старые, хриплые стенные часы пробили час. Отец дьякон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться, за ним встали и другие, исключая Аггея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте, в волнении катая дрожащею рукой хлебные шарики. «Вот сейчас Ракитин вернется, – думал Аггей Фомич, – и я попрошу. Нужно только быть смелее. И ведь в самом деле, не съест же он меня за просьбу?»

Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми, но Аггей Фомич, вместо того чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о службе и о жалованье. Ракитин глядел на него слипающимися глазами, делая из веж-

ливости вид, что слушает, и зевая с судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся.

– Ах, какое свинство! – сказал он сонным голосом. – Завтра мое дежурство...

Аггей Фомич поспешно встал и начал извиняться. В сенях, взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину.

– Послушай, – произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз, – у меня того... есть к тебе маленькая... то... просьба.

– Что такое? – спросил Ракитин беспокойно.

– Понимаешь, я бы... то... я бы не стал тебя беспокоить... Жена вот должна родить... Ты знаешь, понимаешь, необходимо... А я бы, ей-богу, отдал двадцатого... рублей... – он хотел сказать: десять, но испугался сам такой суммы, – рублей хоть пять одолжи...

– Ей-богу, ни копейки, – ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди, – ну, понимаешь, во всем доме – ни копейки.

По чересчур искреннему тону Ракитина Аггей Фомич отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, Аггей Фомич вышел на улицу.

Ночь была лунная, тихая и морозная. Широкие, заваленные снегом улицы, низенькие домики с их белыми снежными шапками, деревья, осыпанные снегом, точно ватой, – все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами. Аггею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру, низкую, холодную, с зелеными окнами, стекла которых по диагонали склеены замазкой, с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным, больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, ел поросенка жареного, а ведь там легли спать впроголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег.

«Господи боже мой, – думал с горечью Аггей Фомич, – отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? Отчего же ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые им, может быть, и не нужны даже. Что, если бы мне хоть раз, ну, один только разочек в жизни найти... ну, хоть десять, нет, двадцать рублей! И акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютке, и теплое пальтишко Леле... Сейчас, например, ну почему бы мне не найти бумажника на дороге? Ведь бывают же иногда такие случаи, даже и часто бывают; мало ли об этом пишут и говорят?..»

И, по свойству своего мечтательного ума, Аггей Фомич начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку сторублевых бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую, теплую и светлую квартиру, заводит мебель, шьет семье теплые красивые платья, и... мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги?..

И мало-помалу, – может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самовнушения, – в душе Аггея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня, даже именно сейчас, должен найти на улице чудесный бумажник. Почему это должно было случиться – он не знал, да и не думал об этом. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги.

– Вот сейчас... сейчас, – шептал он, точно в бреду, – другие же находят... еще несколько шагов... сейчас... сейчас...

И вдруг – это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении – он ясно увидел на снегу дороги черный небольшой предмет правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга, с волосами, стоявшими дыбом, Аггей Фомич оглянулся, как вор, по сторонам и кинулся на лежащий предмет...

В руках его оказался толстый кожаный бумажник... Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Аггея Фомича, но, убедившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой...

Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него кололо под ложечкой, как в горле расширялся какой-то сухой и колючий клубок, как

кровь напряженно билась в его голове. Но остановиться он не мог, ему казалось, что, в случае минутного промедления, кто-нибудь нагонит его и отыщет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. «Тысячу шапок заведем!» – прошептал он в восторге...

На его бешеный стук в дверь отворилась проснувшаяся и испуганная жена, со свечой в руках. Дети также проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. Аггей Фомич тяжело опустился в кресло, бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами...

– Анечка! Дети! – прохрипел он, потрясая бумажником. – Вот здесь... в бумажнике... деньги... Сто тысяч... нанимай квартиру. Аня... шампанского... четыреста тысяч... понимаете? Ура-а!

\* \* \*

В настоящее время Аггей Фомич так богат, что перед его миллионами все сокровища и Голконды и Калифорнии – ничто. Он держит на конюшне шестьдесят тысяч лошадей и три миллиона пятьсот тысяч карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новой, вновь проложенной с земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр и каждому бедняку-просителю охотно дарит по миллиону и по два. Он добр, тих, ласков и только одного не переносит – это если кто-нибудь осмеливается дотронуться до его драгоценного кожаного бумажника, заключающего засаленную трехрублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадет под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же...

И, наконец, почему мы знаем? – может быть, безумцы иногда безмерно счастливее нас, здоровых людей?

<1895>

## Лолли

*Посвящается памяти Энрико Адвена, жокея*

– Мистер Чарли, – обратился я однажды к старому наезднику, с которым мы пили каждый вечер за одним и тем же столом пиво, вот вы мне рассказали уже много интересных случаев из вашей цирковой жизни. Знаете ли, что мне кажется замечательным в ваших рассказах? Это то, что никакой роли в них не играет судьба. Сколько раз вы сами были на волосок от смерти, а если спросить, что вас спасло, вы всегда ответите: или случайно повисли ногой в петле, или упали на сложенный ковер, или взбесившаяся лошадь остановилась, испуганная внезапно раскрытым зонтиком... Но неужели изо всего вашего громадного запаса воспоминаний у вас не найдется ни одного случая, в котором сама судьба или, если ходите, провидение вмешалось бы в человеческую жизнь? (Я говорю, собственно, про жизнь циркового артиста.) Случалось ли вам видеть или хоть слышать о таком случае, где какая-то непостижимая сила заставляет уверовать в себя то в таинственном сплетении целой цепи событий, то в неясном предчувствии, то в пророческом сне? Или, наконец, в загадочной симпатии душ? Вы меня понимаете, мистер Чарли?

Мистер Чарли был самым старым шталмейстером гостившего у нас цирка. Он занимался репетированием с молодыми артистами, учил «работе» детей и помогал директору в дрессировке лошадей. Изредка, когда нечем было заполнить программы, его выпускали в последнем номере на вольтижировку, и бедный ожиревший старик в своем розовом трико, с нафабранными усами, с жалкими остатками волос на голове, завитыми и расчесанными прямым рядом, всегда кончал тем, что, не соразмерив прыжка с тактом галопирующей лошади, падал спиной на песок арены, вызывая безжалостный смех «райка». А между тем лет двадцать тому назад (у старика до сих пор целы все газетные отзывы) не было во всей Европе такого бесстрашного, грациозного и изобретательного жокея и прыгуна, как мистер Чарли. Его «номера» до сих пор служат венцом гимнастического совершенства для лучших наездников. То было далекое, славное время, и об

этом времени мистер Чарли любил поговорить, когда мы с ним проводили зимние вечера в пивной, напротив цирка, попивая пиво и куря: я папиросы, а он австрийские сигары длинные, черные и необыкновенно вонючие.

– Я вас очень хорошо понимаю, – ответил на мой вопрос мистер Чарли, только... видите ли... мне трудно вам объяснить... Мы там, у себя в цирке, мало верим в рок. Нам ведь каждый вечер приходится так крепко рассчитывать на свои нервы, свою ловкость, свою силу, что поневоле только в себя веришь и на себя одного надеешься. Поэтому-то, должно быть, у нас нет таких случаев, которые вас интересуют... Впрочем... помню я одно происшествие... Только в нем принимали одинаковое участие: и судьба и дрессированный слон, по имени Лолли... Что это было за славное животное!.. Да, если хотите, я вам расскажу все по порядку?

Я изъясил полнейшую готовность слушать и приказал принести две больших кружки пива.

– Это случилось в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, начал мистер Чарли своим характерным, ломаным языком международного наездника и сальто-морталиста. В том году, когда я вместе с цирком знаменитого когда-то Паоли странствовал по венгерским городам, больше похожим на деревни, раскинувшиеся на десятки верст. Труппа у нас была разноплеменная, но прекрасно подобранная; всё артисты высшей пробы смелые, ловкие... настоящие художники... Публика нас принимала радушно, и представления всегда давали полные сборы.

В Эрлау к нам присоединился со своими пятью дрессированными слонами один очень загадочный господин. На афишах он назывался Энрико, но это имя было, очевидно, вымышленное. Настоящего же его имени и происхождения никто не знал. Судя по наружности, в его жилах текла немалая примесь арабской или негритянской крови. Это был очень высокий и необыкновенно сильный мужчина, молчаливый, всегда сумрачный, жестокий с людьми и животными, не терявший ни при каких опасностях своей суровой медлительности и самоуверенности... Его темное красивое лицо, с немигающими громадными черными глазами было зло и властно. Мне всегда безотчетно казалось, что на душе этого человека лежит что-то страшное, чего он никому не поведает – может быть, кровавое преступление... Никого в труппе он не удостоивал своим разговором. Впрочем, все как-то чутьем избегали близости с ним. Даже его умные слоны, по-видимому, ненавидели его со всей силою, на которую только способны ненавидеть эти великодушные, терпеливые, хотя и мстительные животные. Во время репетиций Энрико обращался с ними так резко и смело, что мы иногда не были уверены, что он выйдет живым с арены: он бил их без милосердия по голоде и по хоботу за каждую малейшую ошибку. Странно было видеть ужас этих великанов перед истязавшим их пигмеем...

Однако хозяин очень дорожил Энрико, потому что его слоны привлекали постоянно множество зрителей. Особенно нравилась публике пантомима под заглавием «Жемчужина Индии». Я не помню теперь точно ее содержания, но суть заключалась в том, что сын знатного раджи влюбляется в пленную принцессу чужого племени, обреченную на смертную казнь. Последняя сцена пантомимы изображала городскую площадь, полную народа. Воины влекут индианку со связанными руками; вслед за ними выступает Энрико в роли палача с самым большим из своих слонов Лолли. Индианку кладут на землю; слон по приказанию палача уже заносит над грудью девушки свою страшную ногу, чтобы раздавить ее, но... влюбленный в пленницу сын раджи неожиданно появляется на сцене и останавливает казнь. Конечно, сейчас выступает кордебалет, и среди общих танцев и веселья происходит помолвка принца и принцессы.

Индианку в этой пантомиме всегда изображала mademoiselle Лоренцита звезда нашей труппы. Старые артисты до сих пор вспоминают ее имя с благоговением. Это была гениальная наездница и удивительной красоты женщина: русская полька по матери, итальянка по отцу она совмещала в себе все прелести обеих наций.

Бесстрашию ее не было пределов, и жизнью она дорожила не больше, чем вчерашним днем. Когда она на своем громадном вороном жеребце Вулкане бешеном животном, не знавшем никого, кроме хозяйки, вылетала сумасшедшим карьером на арену, публика замирала от страха и восторга. Она не боялась никаких каскадов, и малейшая фальшь еще больше возбуждала ее смелость, точно опьяняла ее... Теперешние артистки и падать-то не умеют. Упадет на плохом гротеске и сейчас же непременно головой в барьер... Нет... теперь вовсе нет порядочных наездниц!

Да на что же лучше? Я вам расскажу про Лоренциту такой случай. Когда она служила в будапештском цирке, то однажды в последнем номере, по недосмотру укротителя, вырвался из



клетки дрессированный тигр. Публикой овладел ужас... Крик, давка, вопли женщин... Даже многие артисты обезумели от страха и бросились к выходу. В эту секунду Лоренцита, которая давно уже окончила свой номер и из партера глядела на конец представления, быстро соскакивает на манеж и ошеломляет зверя ударами своего хлыста, частыми и сильными, как молния. Зверь оцепенел от боли и изумления. В то же время, пришедши в себя, укротитель накидывает ему на шею петлю и при помощи подбежавших артистов тащит обратно в клетку. И все это было так мгновенно и так великолепно, что очевидец, рассказывавший мне этот случай, славный, очень смелый артист не успел еще оправиться от испуга, как тигр уже сидел в клетке, стараясь разгрызть прутья зубами.

Так вот что была за женщина Лоренцита! Впрочем, вы, вероятно, о ней что-нибудь слышали? Ее жизнь так изобиловала всякого рода приключениями, что нередко служила сюжетом для многочисленных романов, изображающих и, надо сказать, очень неверно наш быт. Самой громкой эпохой в ее жизни было ее замужество с австрийским банкиром графом З., когда она прожила в год около двух миллионов гульденов. Однако, несмотря на такое баснословное богатство, она бросила однажды своего мужа, влюбившись в странствующего шута, хозяина собачьего театра пьяницу и жестокого человека, который, как говорят, постоянно изменял ей и даже бил ее ремнем, возвращаясь домой пьяным. Она умерла на двадцать восьмом году от скоротечной чахотки в одной из петербургских больниц.

Нечего уже и говорить о том, что Лоренциту постоянно окружала густая толпа поклонников. Все-таки она свою первую любовь подарила не богатому старику, не титулованному военному красавцу, а своему же брату-артисту.

Вы, может быть, и не поверите мне, что когда-то у меня не было соперников в моей профессии, но это так. Я был одинаков и на турнике, и в воздушной работе, и в сальто-морталях. Но моим лучшим номером все-таки были прыжки с арены на лошадь, и в них мне до сих пор нет равного. Старый Кук еще, пожалуй... да и тот... Впрочем, вместо того чтобы хвастаться, я вам покажу, что обо мне говорили газеты...

Старик полез в боковой карман за бумажником, наполненным газетными вырезками, которые я читал по крайней мере раз пятьдесят. Но я поспешил его успокоить уверением, что его слава надолго пережила его артистическую карьеру.

— К тому же, продолжал мистер Чарли, польщенный моим комплиментом, я был в то время и собой недурен, хорошо сложен, смел и силен. У меня до сих пор хранится порядочная пачка разных записочек от обожательниц циркового искусства, которые... Были... гм... и кольца и жетоны во дни бенефисов, но... brisons...<sup>37</sup>. Одним словом, нет ничего удивительного, что Лоренцита обратила на меня внимание.

Началось у нас, конечно, с того, что я поддерживал ее маленькую ножку в то время, когда она садилась на седло, держал для нее баллоны и ленты, передавал ей букеты и подарки. Потом, как-то раз перед ее выходом, когда она, кутаясь в длинный белый бурнус, выглядывала из-за портьеры на манеж, мы с ней объяснились. Оказалось, что она давно уже меня полюбила.

Это было самое лучшее время в моей жизни. Она была для меня самой нежной и внимательной женой, самым верным другом, какого только можно себе вообразить. Мне казалось, что моему блаженству не будет конца.

И все нам в это время улыбалось. Публика нас любила, директор дорожил нами и платил нам большое жалованье... Мы с Лоренцитой решили жить как можно бережливее, чтобы скопить немного денег и снять свой собственный цирк, сначала, конечно, самый маленький, переносный, под полотняной крышей «шапито», как у нас называется.

Однажды, когда после вечернего представления мы шли с Лоренцитой домой, мне показалось, что она сильно не в духе, будто чем-то взволнована или рассержена. Я спросил о причине, и она со свойственной ей пылкостью тотчас же рассказала мне, что во время моего номера, когда она глядела на меня из боковой ложи, к ней сзади подкрался этот проклятый Энрико и обнял ее.

— Я и раньше замечала на себе его пристальные взгляды, прибавила Лоренцита, но не приписывала им никакого значения. Оказывается, что это животное питает ко мне нежные чувства.

Я был взбешен этим рассказом и хотел сейчас же пойти на квартиру Энрико и сломать об

<sup>37</sup> оставим это... — фр.

его голову мою палку; но Лоренцита повисла у меня на шее и умоляла не делать скандала, который только даст повод к каким-нибудь грязным слухам. Я принужден был согласиться с нею, но решил следить зорко с этого времени за Энрико.

Однако прошло около двух недель, и я не замечал ничего особенного. Лоренцита и я стали уже забывать о дерзости Энрико, как внезапно произошло безобразное и страшное событие.

Лоренцита, надо вам сказать, чрезвычайно привязалась к Лолли, одному из слонов этого негодяя. Каждый день утром, во время репетиции, в те часы, когда Энрико еще не приходил в цирк, она бежала к своему любимцу (он помещался отдельно от прочих слонов) с целым запасом булок, варенья и сахару. Она опустошала для него чуть ли не весь буфет. Конфеты, которые ей подносились бесчисленными поклонниками, а она терпеть не могла сладкого, шли постоянно на угощение Лолли. Целый час иногда проводила она около своего любимца, лаская его и называя тысячами нежных имен: «Крошечка моя Лолли, котенок мой, птичка маленькая». И надо было видеть, как этот «крошечка» двухсаженной длины, в полторы сотни пудов весом, обожал мою Лоренциту. Как только издали раздавались ее легкие шаги, слон испускал радостные крики, похожие на звуки трубы. Он тихонько терся хоботом о руки Лоренциты и осторожно дул ей в лицо. В этом выражалась его нежнейшая любовь к моей жене.

Однажды, зайдя, по обыкновению, к слону, Лоренцита, к своему удивлению, застала там Энрико, который был занят с Лолли странной дрессировкой. По свистку хозяина слон неуклюже подымался на задние ноги и стоял таким образом до тех пор, пока Энрико не ударял его слегка хлыстом по брюху. Тогда гигант быстро, всей тяжестью своего массивного тела валился на передние ноги. Эта штука повторилась еще раза два или три. Лоренцита хотела уже незаметно выйти из загородки, как вдруг Энрико неожиданно повернулся в ее сторону и, заметив ее, быстро подошел к ней.

– А, наконец-то ты пришла! – воскликнул он, протягивая к ней руки.

И видя, что она хочет бежать от него, он охватил ее крепко руками и поцеловал.

Лоренцита с трудом вырвалась от него, выхватила из его рук хлыст и, несколько раз со страшной силой ударив его по лицу, кинулась из дверей в коридор. Разъяренный Энрико бросился за ней и, догнав ее у входа на арену, еще раз схватил ее. Лоренцита закричала от боли и негодования.

Как только я услышал крик Лоренциты (я в это время делал на седле сальто-мортале), я мигом спрыгнул на землю и очутился за кулисами... Увидев жену в объятиях Энрико, я бросился на него, схватил его за шею, и мы оба упали и покатались по полу. Он был вчетверо сильнее меня, но бешенство придало мне страшную силу.

Я не помню, что я с ним делал, но, когда меня почти в беспомощности от него оттащили, мы оба были в крови...

Впрочем, вечером мы все трое должны были все-таки участвовать в представлении, замазав кольдкремом и краской ушибы на лице. Таковы наши цирковые нравы.

Сначала все шло благополучно. Мы с Энрико встречались несколько раз в коридорах и расходились, не глядя друг на друга, с судорожно стиснутыми кулаками и челюстями. Но мне казалось, что на его лице играет зловещая усмешка. Наконец началась и «Жемчужина Индии». Я представлял сына раджи, Лоренцита – пленную индианку, Энрико, по обыкновению, палача.

Наступила последняя сцена. Я стоял за входной портьерой и видел все самым отчетливым образом. Воины ввели Лоренциту с завязанными назад руками. Когда ее клали на разостланный по земле красный ковер, она заметила из-за портьеры мое лицо и улыбнулась мне.

Под звуки заунывного марша вышел на арену Энрико-палач, ведя за собой громадного, неуклюжего Лолли. Слон остановился в шаге около моей жены и сейчас же узнал ее, протянул к ней свой длинный хобот и ласково дунул ей в лицо. Музыка, по знаку директора, перестала играть. В ту же минуту Энрико свистнул, и слон, присев на задние лапы, поднял верхнюю часть туловища над лежащей Лоренцитой. Энрико слегка нагнулся к Лоренците и что-то, по-видимому, спросил ее. Она отрицательно покачала головой.

В цирке наступило необычное молчание, такое молчание, что мне явственно был слышен легкий удар хлыста Энрико по животу слона... Слон внезапно дрогнул всем телом. Казалось, он вот-вот обрушится вниз, на распростертое тело Лоренциты... Энрико повторил свой удар на этот раз сильнее прежнего.

Я сразу понял ужасный замысел Энрико: он хотел раздавить жену под передними ногами громадного животного. Но прежде чем я решился броситься ей на помощь, произошло нечто невероятное.

Слон вдруг отказался слушаться своего хозяина. Он осторожно опустился на все четыре ноги, не задев Лоренциту, она же спокойно лежала между его ногами. Обозленный Энрико стал изо всей силы бить слона по хоботу и свистать, стараясь вторично поднять его на задние ноги. Слон не повиновался. «Довольно, довольно!» кричала взволнованная публика.

Тогда Энрико употребил самое решительное средство, он уколол хобот Лолли длинной булавкой... Но в эту секунду, обвитый страшным хоботом, поднятый на воздух и с силой брошенный вниз, он уже лежал без чувств на песке арены... Впрочем, он на другой день пришел в себя...

– Ну, а Лоренцита? спросил я мистера Чарли, когда он угрюмо замолчал вслед за последними словами. Он долго молчал, потом принялся насвистывать какой-то веселый марш и, наконец, ответил мрачным тоном:

– Все женщины одинаковы, сэр, потому что все они непроницаемы. Что же касается моей... она через месяц убежала от меня с этим мерзавцем Энрико.

## Пиратка

Он был известен под именем нищего с собакой. Более обстоятельных сведений: биографических, фамильных и психологических, о нем никто не имел, впрочем, никто им и не интересовался. Это был высокий, худой старик с лохматыми седыми волосами, с лицом закоренелого и одинокого пьяницы, трясущийся, одетый в самое рваное лохмотье, насквозь пропитавшийся запахом спирта и нищенских подвалов.

Когда он входил робкою походкою в какой-нибудь из кабачков самого низшего разбора и за ним, поджав хвост и приседая от робости на ноги, вползала его коричневая подслеповатая собака, то завсегдатаи заведения сразу его узнавали.

– А, это тот, что с собакой!

Старик оглядывался кругом, выбирал какой-нибудь столик, за которым, по его мнению, сидела наиболее веселая, пьяная и щедрая компания, и заискивающим голосом спрашивал:

– Господа почтенные, дозволейте нам с собачкой представление показать?

Случалось, что на свое робкое предложение он получал в ответ только грубое ругательство, но чаще всего перспектива собачьего представления пленяла охмелевших и потому нуждающихся в новых впечатлениях посетителей.

– А ну, валяй! Посмотрим, что это за представление выйдет!

Тогда кабачок обращался в импровизированный театр, где артистами являлись старик и его коричневая собака, а зрителями – посетители, половые и даже сам хозяин, толстый и важный, выглядывающий с презрительным любопытством из-за своей стойки.

– Пиратка, иси! – командовал старик. – Иси, подлец ты этакий!

Пиратка подходил к хозяину неуверенной походкой, слабо помахивая хвостом.

– Куш здесь!

Пиратка с глубоким вздохом ложился на пол и, протянув прямо перед собой лапы, глядел на старика с вопросительным видом.

Старик брал небольшой кусочек хлеба, клал его собаке на нос и, отойдя на два шага и грозя пальцем, произносил медленно и внушительно:

– А-аз, буки, веди, глаголь, добро...

Пиратка, удерживая носом равновесие, с напряженным вниманием смотрел на хозяина. Старик делал длинную паузу, во время которой закладывал руки назад и обводил зрителей лукавым взглядом, и потом вдруг громко и отрывисто вскрикивал:

– Есть!

Пиратка нервно вздрагивал, подбрасывал кусок хлеба кверху и, громко чавкнув, ловил его ртом.

Затем нищий приказывал собаке сесть на стул и изысканно учтивым тоном спрашивал ее:

– Может быть, вы, господин Пиратка, папиросочку покурить желаете?

Пиратка молчал и, моргая глазами, отводил морду в сторону. Он знал, что приближается самый ненавистный для него номер программы.

– Так желаете папиросочку? Попросите, может, вам господа пожертвуют? Просите же, просите, не бойтесь. Да проси же, собачий сын! Ну-у?

Пиратка отрывисто и принужденно лаял, что должно было выражать его просьбу. «Господа» великодушно жертвовали папиросу.

– Служи! – приказывал старик.

Пиратка садился на зад, подняв передние ноги на воздух. Папироска втыкалась ему в зубы и зажигалась. Если же дым попадал собаке в нос и она, к великому удовольствию зрителей, чихала, старик предупредительно спрашивал:

– Может быть, вам табачок не по вкусу? Вы к дюбеку больше привыкли? Ничего, покурите, покурите!

Затем Пиратка ползал, скакал через стулья, приносил брошенные вещи, изображал лакея, ходил на задних лапах. Самый блестящий номер, носивший оттенок сатиры, выполнялся неизменно в конце представления и всегда вызывал шумный восторг публики.

– Умри! – приказывал старик Пиратке.

И Пиратка ложился на бок, бессильно протянув лапы и голову.

– Ну вот, умник, Пиратушка, молодчина! – одобрял старик. – Ну довольно, вставай, пойдём. Вставай же, говорят тебе!

Но Пират не двигался, тяжело дышал и моргал глазами. Старик начинал приходить в отчаяние.

– Пиратушка, миленький, да будет притворяться! Ну, пошутил – и будет. Вставай! Вставай же, голубчик!

Пират не шевелился. Тогда старик от мер кротости переходил к запугиванию.

– Слышь, Пиратка, вставай! Солдат идет...

Пират на это предостережение не обращал никакого внимания.

– Вставай, Пиратка, – дворник идет!

Пират продолжал лежать.

Нищий пробовал после солдата и дворника пугать Пиратку и собачьей будкой, и пьяным купцом, и хозяином заведения, и многими другими лицами и учреждениями, имеющими власть. Но угрозы оказывались безуспешными.

Пират был мертв.

Тогда внезапно старика осеняла блестящая мысль.

Он наклонялся к самому уху собаки и говорил испуганным шепотом:

– Городовой идет!

Это слово магически действовало на Пирата. Он вскакивал, как встрепанный, и начинал с громким лаем носиться по комнате. Посетители кабачка, так или иначе довольно часто сталкивавшиеся с полицией и имевшие с нею более или менее печальные недоразумения, видели в последнем номере Пираткина искусства ядовитый намек на некоторые темные стороны современной общественной жизни и самым шумным образом выражали свое одобрение. Пользуясь этой удобной минутой, старик всовывал в зубы Пиратке козырек своего рваного картуза, и Пиратка, держа высоко голову, обходил поочередно все столы. Зрители бросали в картуз медную мелочь, а старику подносили стакан водки. Впрочем, попадалась иногда и такая компания, которая, с удовольствием посмотрев на представление, не только прогоняла старика, но еще и угрожала дальнейшими враждебными действиями.

– Ступай, ступай, не проедайся. Ишь, тоже выдумал с собакой по трактирам шляться. Вот скажу хозяину, так он тебя и с твоей собакой выкинет за двери.

В этих случаях старик молча надевал картуз и выходил из трактира, сопровождаемый Пираткой, робко жавшимся к его ногам. Он шел в другой трактир искать счастья.

Выпадали очень часто тяжелые, ненастные дни для нищего и его собаки. Посетители все, точно сговорившись, были грубы и скучны, и старик с Пираткой возвращались, голодные, дрожащие от холода, домой. Это были ужасные дни. В углу сырого подвала, где старик платил пол-

тинник в месяц за ночлег, жались они друг к Другу, чтобы хоть немного согреться. Голод с каждой минутой становился мучительней. Еще Пиратка был счастливей своего хозяина. Ему иногда удавалось найти где-нибудь на заднем дворе, возле помойной ямы, старую кость, давно уже обглоданную и с пренебрежением брошенную другими собаками. Озираясь пугливо по сторонам, сгорбившись, поджав хвост между ногами, он жадно хватал зубами находку, забирался в какой-нибудь темный, недоступный конец двора и там долго грыз и лизал ее, стараясь обмануть свой аппетит. Старику приходилось гораздо хуже. Он не мог даже в эти тяжелые минуты одолжиться копейкой или куском хлеба у своих соседей по подвалу. Его не любили и чуждались, может быть, за его молчаливость, может, за неприятное сожительство с собакой, права которой на ночлег старику приходилось ежедневно отстаивать ожесточенной руганью и даже иногда кулаками.

Но ужаснее страданий голода были страдания нравственные. В такие неудачные дни старик был трезв, и вся его нищенская, полная унижений и позора жизнь восставала перед ним особенно ярко и неумолимо. Вспоминалась и прежняя жизнь, когда он был еще не кабацким шутом и нищим, не обитателем гнилых подвалов – этих вертепов бедности и порока, а честным тружеником и счастливым семьянином. Случалось, целую зимнюю ночь, длинную и холодную, лежал старый нищий без сна, с тяжелыми мыслями в голове, но страданий своих никогда и никому он не поверял, да его и слушать бы не стали. Во всем мире было только одно существо, привязанное к нему, это – Пиратка, которого он нашел еще щенком, замерзающим на улице, и из жалости отогрел и выкормил.

Зато в удачные дни оба они были сыты, а старик вдобавок пьян и, против обыкновения, разговорчив... Но так как в этом настроении он не находил другого слушателя, кроме Пиратки, то к нему обыкновенно и обращался с длинными рассуждениями и рассказами.

– Ты только посмотри, Пиратка, что я за человек есть, – говорил старик, лежа на своей плоской соломенной подстилке рядом с собакой и глядя ее. – Пьянствуем мы с тобою, народ по кабакам смешим, нищенствуем. Так нешто это жизнь человеческая? Нас с тобою и за людей-то никто не считает. Третьего дня вот купец Поспелов рожу мне горчицей вымазал в трактире. Ему, понятно, это лестно, потому что оно действительно смешно: как это у живого человека вдруг вся его рожа горчицей вымазана? А ты думаешь, мне это весело? Отнюдь! Может быть, у меня от этой горчицы вся душа перевернулась! Потому что ведь не всегда же мы с тобой, дурашка, такими гнусными да пьяненькими были. Ведь не сразу же мы себя потеряли? Ты вот спроси-ка про меня на литейных заводах господина Мальцева: был ли когда лучший модельщик, чем я? Никогда. Ты думаешь, у нас жены не было? Детей? Угла своего? Ну, положим, жена с приказчиком убегла; тут и удивительного нет ничего: он, приказчик, и на гитаре, и обращение тонкое, и спиртные напитки в руках, шоколад, лимонады разные. Я и запил. А там уж, как детки мои любезные подросли, так они от своего папеньки, срамного да пьяного, отказались. Потому что никак невозможно: благородную линию держат. Вот мы с тобой и остались вдвоем на белом свете. Пиратка: ты да я, вместе и околевать будем. Дай я тебя, друг мой, поэтому сейчас обниму и поцелую.

И он тащил к себе Пиратку за голову, причем собака жалобно взвизгивала, обнимал ее и громко и жарко целовал ее в холодный, мокрый нос. Пиратка старался вырваться, но делал это по возможности деликатно, чтобы не обидеть хозяина.

Однажды – это было зимою, во время трескучих рождественских морозов – старик зашел со своею собакою в трактир «Встреча друзей». Там как раз оканчивала праздничный загул большая купеческая компания. Старик и Пиратка проделали все номера своего репертуара, закончив их, по обыкновению, язвительной сатирой на недостатки современного общественного строя. Зрители шумно выражали свое одобрение. Один из них, бакалейный купец Спиридонов, как потом узнал старик, особенно сильно пленился Пираткиным искусством, и тут же ему пришла в голову пьяная блажь: во что бы то ни стало приобрести ученую собачку. Он поил старика и все приставал к нему с просьбой продать Пиратку.

– Послушай, любезный человек, – говорил пьяный купец, – ну на что тебе собака? Ведь «оба вы с голоду подохнете. Продай ты ее мне, прошу я тебя. Теперь у меня, положим, к амбрам три пса приставлено; псы настоящие: мордастые, злые. Однако мне все-таки любопытно, чтоб у меня еще ученая собачка была. Ну, говори, сколько за нее берешь?»

Хотя старика развезло от водки и хотя то обстоятельство, что богатый гордый купец Спиридонов упрашивает его, сильно льстило ему, однако Пиратку продавать он не решался.

– Благодетель мой, – говорил нищий коснеющим языком, – ну как я с Пираткой расстанусь, когда я его вот таким маленьким выкормил и воспитал? Ведь это все равно что друга продать. Нет, никак на это моего согласия не может быть, чтобы Пиратку продавать.

Несогласие нищего еще более разохотило купца приобрести собаку.

– Дурень ты этакий, – сказал Спиридонов, – ведь я же тебе за нее такие деньги дам, каких ты и издали не видал. Можешь ты это понимать или нет?

– Нет, ваше степенство, обидеть вас не желаю, а собачка у меня не продажная.

– Хочешь получить два с полтиной?

– Не могу, ваше степенство!

– Три?

– Не могу.

– Пять?

– Нет, ваше степенство, лучше и говорить не будем.

Но когда купец Спиридонов вынул из толстого бумажника новенькую десятирублевку, старик поколебался. Вид красной ассигнации подействовал на него лучше всяких доводов и упрасиваний. Перспектива сухой, теплой квартиры и горшка горячих щей с мясом ежедневно – окончательно решила судьбу Пиратки. Старик еще продолжал упорствовать, но слабо и нерешительно, и, наконец, сдался совсем, когда купец набавил еще три рубля.

– Бери... твоя, – сказал нищий глухим голосом, жадно скомкал ассигнации и почти бегом выбежал из трактира.

Прошло пять дней. Старик не пил, спрятал свои деньги и сильно тосковал по Пиратке.

На шестой день собака прибежала с обрывком веревки на шее. Старик ей страшно обрадовался, ласкал, целовал ее и пошел уже было в соседнюю лавочку за хлебом и мясом для собаки, как ему на улице навстречу попался один из молодцов Спиридонова, посланный за Пираткой.

Собаку увели.

Старик тяжело и безнадежно запил. Он потерял и сознание, и память, и представление о времени и месте. Сколько времени это продолжалось, он не знал: может быть, неделю, может быть, две, может быть, целый месяц. Смутно, точно сквозь сон, вспоминал он потом, что опять держал в своих объятиях Пиратку, что собаку у него отнимали, что собака рвалась и скулила. Но когда и где это было, он не мог сообразить. Он очнулся в больнице после жестокой белой горячки. Сначала больница ему очень понравилась: чисто так, светло, доктора на «вы» говорят, кормят хорошо. Только мысль о Пиратке, первая здоровая мысль, пришедшая ему в голову после нелепой, чудовищной фантазмагии запоя, не давала ему покоя. Мало-помалу страстное желание во что бы то ни стало хоть раз увидеть собаку так овладело стариком, что он с нетерпением ожидал выписки.

Когда он вышел из больницы, был один из тех зимних теплых дней, когда в поле и на улице начинает пахнуть весной. Опьяненный этим пахучим, радостным воздухом, нетвердо ступая ногами, за время болезни отвыкшими от ходьбы, пошел он к дому Спиридонова.

Неуверенно, робко отворил он калитку и остановился в испуге. Прямо ему навстречу грозно зарычала большая коричневая собака. Старик отступил на два шага и вдруг весь затрясся от радости.

– Пират... Пиратушка... Родимый мой, – шептал старик, протягивая к собаке руки.

Собака продолжала рычать, захлебываясь от злости и скаля длинные белые зубы.

«Да, может быть, это и не Пиратка вовсе? – подумал нищий. – Ишь какой жирный стал да гладкий. Да нет же, – конечно, Пират: и шерсть его коричневая, и подпалина на груди белая, вот и ухо левое разорванное».

– Пиратушка, миленький мой! Чего же ты сердишься-то на меня, глупый?..

Пират вдруг перестал рычать, подошел к старику, осторожно обнюхал его одежду и завилял хвостом. В ту же минуту на крыльце показался дворник, громадный рыжий детина в красной канаусовой рубашке, в белом переднике, с метлой в руках.

– Тебе чего, старик, надобно здесь? – закричал дворник. – Иди, иди, откедова пришел. Знаем мы вас, сирот казанских. Пиратка! Пойди сюда, чертов сын!

Пиратка сгорбился, поджал хвост и заскулил, переводя глаза то на дворника, то на своего хозяина. По-видимому, он был в большом затруднении, и в его собачьей душе совершалась какая-то тяжелая борьба.

– Пиратка, сюда! – возвысил голос дворник и хлопнул себя ладонью по ляжке, призывая собаку.

Пиратка еще раз взглянул жалобными глазами на старика, сгорбился больше прежнего и виноватой походкой пополз к дворнику.

Старик, шатаясь, вышел на улицу.

В час ночи на Спиридоновском дворе вдруг раздался Пираткин вой, заунывный, настойчивый вой, в котором слышалось осмысленное отчаяние и горе. Спиридонов проснулся от этих зловещих звуков, и ему стало жутко.

– Ишь ты, пес проклятый, – проворчал он, чувствуя, как у него по спине и голове бегают мурашки, – точно смерть чью-нибудь накликает, право.

После этого Спиридонов напрасно старался заснуть. Прошло полчаса, час... Пират все не прекращал своего ужасного воя. Купец встал с постели, надел шлепанцы и, спустившись в кухню, приказал дворнику исследовать причину собачьего воя, а самую собаку отпустить, чтобы спать не мешала.

Дворник оделся и вышел на двор. Было темно, дул ветер, а с неба из быстро и низко несущихся туч сеял мелкий, теплый весенний дождь. Пират тотчас же узнал дворника, подошел к нему, лизнул его руку и побежал вперед, изредка останавливаясь и тихим визгом зовя за собою дворника.

Дойдя до запертой садовой калитки, Пиратка остановился и опять начал свой отчаянный вой. Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог ничего разобрать, но потом вдруг он испустил неистовый вопль, окаменев на месте от безумного ужаса, сковавшего его члены.

На ближайшей к решетке развесистой липе слабо качался, едва не касаясь ногами земли, страшный, вытянувшийся человеческий силуэт... Это покончил все жизненные расчеты бывший Пираткин хозяин.

<1895>

## Святая любовь

– Неужели вы еще не слышали об этой истории?.. Нет?.. Удивительно!.. В городе сегодня только и говорят что о ней. Я, если хотите, господа, могу рассказать вам некоторые подробности.

Небольшой кружок тотчас же сомкнулся около рассказчика, сотрудника местной газеты. Речь шла об утренней городской новости – двойном самоубийстве: чиновника местной палаты и его любовницы, модистки лет семнадцати. Перед слушателями промелькнули в протокольно-отчетном изложении человека, давно привыкшего к газетной подробности, все характерные, хотя и мелочные факты несчастной любви, окончившейся так трагически. Невозможность женитьбы, вследствие бедности, неудовольствие родителей обоих любовников, продолжительность связи, обратившая любовь в равнодушную привычку к регулярному возбуждению страсти, трогательные по своей наивной простоте записки самоубийц, завещавших похоронить их вместе, и, наконец, ужасная смерть на общей постели. Рассказ вызвал много шумных и разнообразных толков. Некоторые утверждали, что самоубийство есть вообще признак слабости, другие говорили, что в данном случае имело место не двойное самоубийство, а убийство и самоубийство, третьи вспоминали аналогичные случаи из газетной хроники.

Одна из присутствующих женщин, слушавшая рассказ сотрудника с бледным лицом и блестящими глазами (как всегда слушают женщины истории об очень самоотверженной или очень несчастной любви), произнесла с мечтательным выражением в голосе:

– А все-таки это была сильная любовь. Сколько они перенесли несчастий, и какие блаженные минуты они пережили, пока не дошли до своего страшного решения! Каждая женщина втайне мечтает о такой любви.

Эти слова обратили на себя общее внимание. Все замолчали на некоторое время. Наконец

хозяин – пожилой человек, помятое лицо которого и седые волосы на голове представляли удивительный контраст с красивыми и оживленными, почти юношескими глазами, – первый нарушил молчание.

– Конечно, это была не обыденная любовь, – сказал он своим тихим, грудным голосом, – и вы, сударыня, очень метко выразились, что она принесла покойным чересчур много сильных ощущений. Но, по-моему, очень часто происходят в жизни эпизоды, на вид совершенно ничтожные и тем не менее скрывающие за собой больше страданий и радостей, чем это ужасное происшествие. В одном из таких эпизодов я сам был действующим лицом, и, если бы я не боялся вам, господа, наскучить...

Гости заявили, что они с удовольствием послушают, и пожилой человек начал свой рассказ.

– Лет двадцать пять тому назад я поступил студентом в N-ский университет. Город был совершенно незнакомый, но по счастливой случайности я нанял очень приличную и недорогую квартиру вблизи университета, в самой тихой и спокойной местности.

Первое время я себя чувствовал как на крыльях. *Alma mater universitas*<sup>38</sup>, неизмеримость и величие науки, бескорыстное служение человечеству – все эти такие смешные в настоящее время слова наполняли мою душу сладостным и гордым трепетом. Мой рабочий день был строго распределен по часам для удобства занятий, я много читал, аккуратно посещал лекции и каждый вечер приводил в порядок свои дневные записки.

Настала весна, теплая, душистая, опьяняющая весна, о всех прелестях которой на севере и понятия не имеют. Одна за другой расцветали черемуха, сирень и белая акация, наполняя воздух томным благоуханием. Наступили нежные, серебристые ночи, во время которых я не мог сомкнуть глаз, и все мое существо ныло тревожным и радостным ожиданием.

В одну из этих чудных ночей в мое сердце пробрался женский образ. Однажды, вернувшись часов в одиннадцать вечера от товарища, я сидел, не зажигая огня, у открытого окна, выходящего в густой, полузросший сад. Светила луна, и круглые куполы деревьев казались окутанными полупрозрачным белым туманом. Где-то далеко целый хор лягушек кричал звонко и поперебой. Вдруг в саду завизжала на петлях и потом громко брякнула калитка, и до меня донесся веселый, звучный и радостный, несомненно, женский смех. Два женских силуэта показались на дорожке под моим окном, исчезли на мгновение в тени широкой липы, потом опять показались в светлом пятне и опять исчезли. Обе незнакомки были стройны и высоки ростом и шли обнявшись. Я не помню, о чем они разговаривали, – кажется, о каких-то женских пустяках, об отделке для шляпок или об общих знакомых, но их свежие, молодые голоса, перебиваемые часто беззаботным смехом, ужасно взволновали меня. Чего бы я ни дал в эти мгновения, чтобы идти, обнявшись таким же образом, с одной из них по таинственному, наполненному влажной теплотой и осеребренному луной саду, идти молча, медленно, чувствуя в своей руке милую маленькую руку и слыша биение дорогого сердца!

Несмотря на свои двадцать лет, я был целомудрен, как Иосиф Прекрасный. Это, конечно, покажется диким теперешней молодежи, которая узнаёт все земные радости с двенадцати лет, в пятнадцать лет болеет от неразборчивой любви, а в двадцать совершенно ею пресыщается. Рассказы некоторых из моих товарищей об их мимолетных интрижках внушали мне всегда чувство страха, смешанного с отвращением. Но мечты о чистой и возвышенной любви прекрасной женщины давно уже смутно волновали мою душу.

Незнакомые женщины ушли из сада, а я еще долго сидел у окна и закрыл его только тогда, когда свежий предутренний ветерок пронизал меня холодом... Мне казалось, что и сквозь сон я слышу звонкий женский хохот...

Когда на другое утро я выходил из квартиры, чтобы идти в университет (у нас в этот день был как раз экзамен по энциклопедии права), то увидел, что из дверей, напротив моего флигеля, показалась женщина в гладкой суконной кофточке черного цвета и соломенной шляпке с большим белым пером. На ходу она обернулась назад к кому-то, по-видимому, ее провожавшему, и крикнула:

«Подожди меня, не уходи! Я вернусь через полчаса...» По голосу я узнал одну из вчераш-

<sup>38</sup> Мать-кормилица университет (лат.)



них незнакомок. Лицо у нее было очаровательное. Смуглое и розовое, немного худощавое, большие темные глаза, в которых дрожал огонек затаенного лукавого смеха, круглый, своевольный подбородок и родинка немного ниже правого угла рта. Проходя мимо меня, она взглянула мне в глаза равнодушно и весело и, выйдя из ворот, повернула направо. Я так долго глядел ей вслед, любясь на ее легкую походку, при которой слегка колебалась ее тонкая талия, что она, повинувшись влиянию пристального взгляда, обернулась два раза назад. Но идти за ней я не решился, хотя это и было мне по дороге. Я предпочел лучше сделать большой крюк, чем оскорбить незнакомку преследованием.

Почти каждый день я потом встречался с нею (конечно, я постоянно искал к тому случая). Через несколько дней мы уже обменивались теми быстрыми полуулыбками, которые при встрече появляются на губах незнакомых, но постоянно видящих друг друга людей.

Всю мою душу заполнил этот прекрасный образ. Я вставал с мыслью о моей незнакомке, чертил ее профиль, сидя в аудитории, мечтал о ней в прозрачные длинные вечера и в бессонные теплые ночи. Сделать какую-нибудь смелую попытку к знакомству мне и в голову не приходило. Мысль, что она может обидеться моей навязчивостью, приводила меня в ужас.

Любовь дает много наслаждений. Но никогда, никогда она не бывает так остра, тонка и нежна, как тогда, когда еще не высказана и не разделена. Ни разу потом в моей жизни самые жаркие ласки любивших меня женщин не доставляли мне такой восторженной и чистой радости, как случайная улыбка моей незнакомки. Это все равно что для лакомки – хорошее вино: целая бутылка никогда так не щекочет его вкуса, как одна-единственная крошечная рюмочка.

Однажды она на улице уронила свой маленький ридикюль из желтой кожи. Я поспешно поднял его и подал ей. Мы обменялись несколькими словами, и не помню – какими именно, потому что у меня так билось сердце и так захватывало дыхание, что я едва стоял на ногах.

На другой день мы встретились уже как знакомые, и я позволил себе немного проводить ее по улице.

Когда нам нужно было разойтись, она протянула мне руку, причем мне показалось, что ее лицо слегка покраснело.

Ее звали Еленой (о, с каким упоением я произносил вслух, оставаясь один, это звучное имя с протяжными и нежными буквами!). Она не могла окончить гимназию вследствие болезни глаз, а теперь работала в шляпном магазине. Она жила со своей матерью, толстой, простой и добродушной женщиной.

Изредка ее навещали подруги, и раз в неделю приезжал в собственном экипаже ее дядя. «Он очень богатый и важный, – сказала мне однажды Елена, – но все-таки он добрый и нам с мамой помогает». Я раза три видел этого дядю, и он произвел на меня отвратительное впечатление: маленький, седой и обрюзгший, с темными мешками под глазами и с нижней губой, такой красной, большой и мокрой, что она казалась вывернутой наружу. Однако при мысли, что он помогает Елене и ее матери, я готов был расцеловать дядюшку в эту самую губу.

Через несколько дней, как-то под вечер, Елена пригласила меня зайти к ним на минутку, и с тех пор я стал постоянным гостем в их двух комнатках, небольших, но уютных, очень чистых и светлых. Иногда вечером, сидя подле Елены, занятой каким-нибудь домашним шитьем, и украдкой глядя на ее тонкий профиль, освещенный ярким светом лампы, я воображал, что мы муж и жена. Случайное прикосновение руки Елены, шорох ее платья, ее милая улыбка приводили меня в сладкий трепет. Я обожал ее, но никогда не смел ни словом заикнуться о своем чувстве. Это казалось мне святотатством. Меня смущало только одно обстоятельство: меня не хотели знакомить с дядей.

– Он такой важный и не любит студентов, – объясняла мне толстая мамаша со своим всегдашним добродушием.

Несколько раз обе женщины приходили ко мне на чашку чая. Елена с удовольствием рассматривала мои письменные безделушки, коллекцию монет, альбомы и книги.

Раз она спросила меня, сколько я получаю из дому, и когда я сказал, что отец высылает мне сто рублей каждый месяц, она сначала замолчала, а потом протянула задумчиво: «Вот вы какой... богатый!» Вообще она была малоразговорчива, но любила слушать, как я читал вслух.

Однажды, лежа у себя на диване, я перечитывал свои лекции, от скуки то протягивая фразы и повышая конец каждой на полтона, как читается в церкви апостол, то декламируя их с выра-

жением крайнего драматизма.

Под конец мои губы машинально твердили одно и то же слово, а мысли были далеко. Я думал об Елене, представлял себе ее фигуру, походку, смелый взмах ее тонких, темных бровей...

Смеркалось. Откуда-то доносились дрожащие и радостные звуки благовеста и вместе с ними запах весны и клейких почек тополя. Все предметы, в особенности ветки деревьев и углы зданий, удивительно рельефно выделялись на смугло-розовом темнеющем небе.

В комнате Елены, благодаря плотным занавескам, было почти темно, и я не сразу разглядел ее. Она сидела у окна, нагнувшись над какой-то работой.

– Хорошо, что вы пришли, – сказала Елена. – Я хочу посоветоваться с вами. Посмотрите на это «З», можно ли из него сделать мою монограмму?

Она обводила узор концом костяного крючка. Я облокотился одной рукой на спинку ее стула, а другой – на стол и смотрел на пробор ее мягких, темных волос. Мне казалось, что ее тело также издает аромат тополя.

– Ну, что же вы стали и молчите? – спросила она. Елена закинула голову вверх и прищурила свои яркие, большие глаза. Я сконфузился, перевел глаза на ее губы и нагнулся. Запах тополя кинулся мне в голову и опьянил меня. Мне показалось, что губы Елены вместе с подбородком тянутся ко мне, и я вдруг, охватив руками ее шею, приник к этим губам долгим поцелуем.

Елена вырвалась из моих объятий вся пунцовая, с блестящими глазами.

– Ради бога, ради бога, оставьте, пустите меня, – шептала она в смущении.

– Елена, – просил я умоляющим голосом, – не отталкивайте меня, будьте добрым ангелом, счастьем моей жизни, будьте моей женой!

Она была как будто бы поражена моим предложением, говорила о том, что она девушка бедная, не кончившая даже гимназии, что я, может быть, смеюсь над ней и так далее. Но я был так красноречив и настойчив, что наконец услышал из ее чудных уст согласие, выраженное застенчивым шепотом. В ту же ночь я написал отцу длинное письмо, восторженное и беспорядочное, с описанием всего происшедшего и с просьбой о благословении. Впрочем, я заранее знал, что отец, всегда предоставлявший мне полную свободу в моих поступках, не мог ничем иным ответить, кроме согласия.

Но заснуть в эту ночь я не мог. Многие женатые мужчины рассказывали мне впоследствии (да и сам я позднее испытал это), что, сделав предложение даже самой любимой девушке, тотчас же чувствуешь нечто вроде мгновенного сожаления об утраченной свободе.

Но тогда, кроме переполнявшей все мое существо гордой радости, я ничего не замечал в себе. Минутами я даже не верил своему огромному счастью. Я не мог усидеть в комнате и часов около двух ночи оделся и вышел на улицу. В окнах Елены не было света. Глядя на них, я чувствовал на своих глазах слезы умиления.

«Спи, мое дитя, спи, мое дорогое сокровище, – подумал я, улыбаясь сквозь эти чистые слезы, – и знай, что теперь только один я буду беречь твой невинный сон...» Долго и бесцельно бродил я по безлюдным, затихшим улицам. Образ Елены не выходил из моей головы. Я рисовал себе картины нашей будущей жизни, одну радужнее другой. И все это были наивные, возвышенные мечты. Клянусь вам, что ни малейшая тень чувственности не омрачила их ни на секунду.

Особенная, таинственная и ясная прелесть ночей ранней весны приобретает своеобразный оттенок в большом городе в то время, когда прекращается всякое движение. Глубокая тишина кажется жуткой. Звуки шагов раздаются звонко и резко на целую версту. Одна сторона улицы тонет в тени, другая ярко белеет громадами домов с блестящими лунными бликами в окнах; крыши сверкают, полосами отражая лунный свет, и кажутся сделанными из полированного серебра. Ярко-бледный свет, неподвижно-мертвые, резкие, синие тени, немая тишина там, где только что шумела кипучая жизнь, – все это говорит о чем необыкновенном, сказочном. Иногда на луну набежит легкое, как паутина, облачко, и тотчас же небо сияет оранжевыми тонами. Тогда звезды, незаметные до тех пор в своей холодной, синей высоте, мигают ярче, а белые громады меркнут, и блики скрываются в окнах... Облачко пробежало, и звезды тухнут, и назойливее белеет камень, и синей и гуще кажутся протянутые на мостовой тени.

Незаметно для себя я очутился на городском бульваре, узком, длинном и прямом, как

стрела, обсаженном с обеих сторон гигантскими пирамидальными тополями и обнесенном легкими сквозными решетками.

На бульваре никого не было, только какая-то парочка – мужчина и женщина – сидела на скамейке, спиной ко мне, прижавшись друг к другу и закутавшись в один и тот же широкий плащ. Луна светила им в лица, и потому мне видны были только темные силуэты сидящих да яркие светлые блики кое-где с боков их фигур.

Растроганный видом этой красивой группы и не желая мешать влюбленным, я хотел уже пройти мимо них, осторожно ступая по траве, как вдруг нечто ужасное приковало меня неподвижно на месте.

– Послушай, Леля, ты серьезно это говоришь? – произнес мужской голос, уверенный густой баритон.

– Очень серьезно. Какой ты смешной. Разве я хуже других, что мне нельзя выйти замуж?

И она засмеялась тихим и страстным смехом влюбленной женщины, прижимающейся, как кошечка, к своему любовнику.

Я узнал и этот нежный голос, и этот серебристый смех. Я не мог ошибиться: на скамейке сидела Елена.

– Ну, хорошо, положим, это и в самом деле серьезно, – продолжал мужчина. – Да неужели ты думаешь, что он ни от кого не услышит о твоих похождениях?

– А пусть услышит, – отвечала беспечно Елена. – До свадьбы-то, во всяком случае, не услышит. Ведь он совсем цыпленочек, всему верит, что ему скажешь. Представь себе, он верит, что старик – мой дядя! Все просит, чтобы его с ним познакомили.

– Ну, а твоя мать?

– Мать сердится. Говорит, что с моей стороны глупо терять такое сокровище, как старик. Ну да, покорно благодарю. Толстый, губастый, противный. Надоел мне хуже горькой редьки. Кстати, милый, – в голосе ее зазвучала нежность ласкающей кошечки, – может быть, тебе нужны деньги? Мне вчера старик привез.

– Пожалуй, – зевнул мужчина лениво, – несколько рублишек я у тебя прихвачу. Пойдем ко мне, – сейчас светать будет.

Они ушли. Я сидел, окаменев от стыда, отчаяния и какой-то безумной тоски. Ни мысли, ни какого-нибудь определенного ощущения у меня в эти ужасные мгновения не было. Точно я погружался в какой-то страшный безымянный хаос...

– Вот и все, господа, – закончил рассказчик. – История простая, несложная. Но никогда потом в жизни не испытывал я ни таких чистых радостей, ни таких терзаний, как в эту весну, ставшую на грани моей розовой юности и богатой горьким опытом зрелости.

<1895>

## Жизнь

### Рождественская сказка

#### I

В глухой чаще старого мрачного леса, над серым, мшистым, кочковатым болотом, стояла сосна. Солнце почти никогда не заглядывало в это сырое место. Лишенная с детства живительного света и тепла, всегда окутанная ядовитыми болотными испарениями, она выросла уродливым деревом, с искривленным корявым стволом, с пожелтевшей, иссыхающей хвоей. Днем у ее кривых корней скользили бурые ящерицы, а ночью под ее жидкой сенью бесшумно пролетали хищные совы. Часто зимней ночью, когда деревья, занесенные сплошной пеленой снега, трещали от жестокой стужи, сосна слышала голодный вой волков и видела их яркие глаза. Когда ветер стонал и рыдал по вершинам старого мрачного леса, в унылом скрипе сосны слышалась накопленная годами жалоба: «Как скучно, как страшно жить!»

В том же лесу, на опушке, вблизи оживленной дороги у прохладного журчащего ручья, красовалась стройная зеленая елочка. Привольно и весело росла она, то ласкаемая горячими по-

целуями летнего солнца, то сверкая каждым алмазом своего снежного убора в лунные зимние ночи. С утра до вечера в ее ароматных, смолистых ветвях звонко перекликалось пернатое царство, а ночью чутко дремало, дожидаясь рассвета. Дорога, возле которой стояла елочка, никогда не пустела. То и дело по ней тянулись длинные обозы, двигались пешеходы, изредка пролетали нарядные экипажи. Ни от чьих глаз не ускользала красавица елочка. Каждый с удовольствием любовался ею и говорил: «Какое прелестное деревцо», а елочка вместе с ними, трепеща от избытка жизни и ласки, шептала: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»

## II

Светлый, жаркий полдень. По пыльной раскаленной дороге бредет усталыми старческими шагами богомolec. Его разбитое тело просит отдыха, обожженные солнцем глаза ищут тени, запекшиеся губы жаждут воды. Завидев приветливую тень елочки, он ускоряет шаги. Еще минута – и берестяной ковшик богомольца уже зачерпывает студеную воду ручья. Старик долго и жадно пьет, не отрываясь от ковшика, и потом сладкая дремота на мягкой и сочной траве охватывает его обессиленное тело. Чувствует он, засыпая, смолистый аромат тенистых еловых ветвей, слышит над собою точно уходящий вдаль птичий щебет, и губы его умиленно шепчут: «Вся премудростию сотворил...» А елочка, ласково простирая над спящим свой прохладный шатер, точно заботливая мать, склонившаяся над любимым ребенком, баюкает старика тихим шелестом... Благоуханная, теплая весенняя ночь. Точно заколдованный, замер лес, весь облитый, весь посеребренный сияющим небом. Страстная, торжествующая, гремит и рассыпается над лесом соловьиная песнь. И звуки, и аромат, и сиянье, и тени о все слилось в одну общую гармонию весенней любви. Под стройной елочкой прижались друг к другу двое влюбленных. Охваченные красотой этой чудной ночи, они боятся нарушить словом или даже поцелуем ее очарование. Их мысли, их чувства, каждое биение их переполненных сердец сливается в одном аккорде с весенней гармонией. Молодая стройная елочка слышит и понимает эту вечно юную, вечно прекрасную гармонию и, задыхаясь от счастья, шепчет: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»

Нет! Уродливая, искривленная сосна ничего подобного не видела в своем сыром углу. Редко, очень редко заглядывал туда человек, а если и заглядывал, то с нехорошими мыслями и недобрым лицом. Приходили иногда в черные ненастные ночи, во время проливного дождя, мужики-лесокрады, и сосне казалось, что они своими трусливыми, воровскими движениями и ухватками – родные братья хищным волкам. Иногда пробирался сквозь чащу бродяга. Преступление и боязнь погони заставляли его искать убежища в этом мрачном месте.

## III

Однажды, в холодное осеннее утро, через серую пелену тяжелого тумана донеслись до сосны незнакомые ей до сих пор оживленные, веселые звуки: топот и ржанье коней, звонкий, задыхающийся лай собак, возбужденные крики, резкие ноты рожков. Звуки приближались, и сосна вся обратилась в тревожное ожидание. Вдруг из лесной чащи выскочил олень, прекрасное животное на длинных, стройных ногах, дрожащее от испуга и бешеной скачки; следом за ним, в сотне шагов, виднелись собаки, зарывшие от бега, с красными высунутыми языками. Благородное животное на секунду остановилось у корней сосны. В то же мгновение навстречу ему, прорезав плотную завесу тумана, сверкнул красный огонь. Лес встрепенулся от раската выстрела, и олень, сделав несколько судорожных скачков, повалился на бок. Он дрожал всем телом. В его черных больших глазах, полных слез, выражалось столько страданий, мольбы и упрека, что рука охотника, занесенная над его жертвой, дрогнула пред ударом. Поздно вечером по запаху кровавых следов сбежалась к сосне стая отощавших волков. Они не нашли ничего и завyli, подняв свои головы кверху. Когда же ветер застонал и зарыдал по верхушкам старого мрачного бора, в унылом скрипе сосны послышалась накопленная годами жалоба:

– Как скучно, как страшно жить!

## IV

Так шли года. По-прежнему сосна и елочка повторяли свою песню, по-прежнему сосна, склоняясь все ниже и ниже к ядовитому болоту, видела только мрачную жизнь непросветной лесной чащи, по-прежнему елочка радовалась солнцу, теплу, воздуху и простору.

В один сверкающий зимний день на опушку леса пришло два человека в полушубках с топорами в руках.

– Вот славное деревцо! – сказал один из них.

Другой, не говоря ни слова, сбросил с себя полушубок. Блеснул топор... Елочка вся затряслась от сильного удара, и с ветвей ее плавно посыпались хлопья снега. Елочка лишилась сознания.

Вечером она очнулась в роскошном двухсветном зале. Гигантские люстры и бесчисленные канделябры бросали от себя потоки света. Елочка стояла посередине всего этого блеска, украшенная сотнями свечей, золотыми и серебряными лентами, сверкающими погремушками, дорогими подарками, китайскими фонариками и целой коллекцией плюшевых птиц, жуков из фольги, стрекоз, пестрых бабочек и рыбок. Вокруг елки сновала, под веселые звуки музыки, тысячная толпа разряженных детей, с разгоревшимися от восторга глазками, со звонким хохотом и громкими восклицаниями... Детский праздник с каждой минутой становился шумнее и веселее. Дети составили хоровод и с шумным восторгом танцевали вокруг елочки, и она шептала, сияя огнями:

– О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!..

## V

В ту же ночь, когда елочка была царицей детского праздника, в мрачной чаще старого леса произошло ужасное дело: на корявых сучьях уродливой сосны покончил свою печальную жизнь какой-то бесприютный скиталец.

С тех пор это место зовется в народе проклятым и люди далеко обходят его. Все ниже и ниже склоняется над болотом, покрываясь красной ржавчиной от его испарений, старая сосна; ее листва совсем высохла и пожелтела, ствол стал еще уродливее.

– Как скучно, как страшно жить! – неумолчно ропщет она...

А на месте срубленной елочки вырастают уже молодые, свежие побеги.

<1895>

## Локон

Представьте себе серьезное, неподвижное лицо в виде вытянутого книзу четырехугольника. Дополните лицо черной бородой в форме лопаты, лысиной, над которой вьется редкий пух, и большими синими консервами. Затем вообразите это лицо приставленным к маленькой, хилой, облеченной в длинной сюртук фигурке – и перед вами получится довольно точное изображение внешности Петра Илиодоровича Нарциссова, одного из деятельных сотрудников «Приволжского листка».

Ядро редакции, в тесном смысле, составляли мы трое: я, в качестве специального «заимствования», под громким названием «обозревателя внутренней жизни», Петр Илиодорович – единственный в городе репортер, а также «наш собственный корреспондент» из всех мест земного шара, начиная с ближайшего уездного городка и кончая Калькуттой и Чикаго, и Сашенька Крикуновский, желчный и великодушный чудака, энциклопедист, «катавший» в листке ежедневные передовицы по всем отраслям науки, искусства, философии и политики. Четвертым и – надо сознаться – самым ревностным сотрудником «Приволжского листка» были ножницы, громадные, заржавевшие ножницы, которые вечно кто-нибудь «куда-то затаскивал», что служило частым поводом к оживленным редакционным прениям.

В шесть часов вечера мы собирались в редакцию в ожидании курьерского поезда, привозившего московскую и петербургскую почту. Зимой, по случаю снежных заносов, это ожидание иногда затягивалось на час и даже на два. Тогда все мы втроем садились вокруг пылающего ка-

мина. К нашей компании присоединился Цезарь, старый, подслеповатый черный сеттер, принадлежавший редактору. Он подходил к нам своей подагрической походкой на несгибающихся ногах, тыкал каждого из нас в руку своим холодным и мокрым носом и затем со старческими вздохами укладывался поближе к огню.

Вот в эти-то вечерние часы Петр Илиодорович и являлся жертвою нашего скучающего остроумия. То мы выдумывали, что редактор распорядился выдать нам всем по сто рублей авансом, то уверяли Петра Илиодоровича, что утром приезжал в редакцию и спрашивал его какой-то сердитый генерал, то сочиняли целые фантастические истории по поводу его любвеобильного сердца.

Кто увидел бы, как Петр Илиодорович пробирается по улице бочком и сгорбившись, осторожно и спотыкающейся походкой, похожей на походку слепого, тот невольно улыбнулся бы, услышав, что наш почтенный сотрудник являлся героем постоянных и многочисленных романов. Но это было так. Сам Петр Илиодорович со значительными движениями бровей рассказывал нам иногда про свои победы. В этих таинственных рассказах фигурировали то Баден-Баден и богатая иностранная графиня, то ревнивый муж и отчаянный прыжок Петра Илиодоровича в окно третьего этажа, то какая-то дочь родителей-миллионеров, покушавшаяся на самоубийство вследствие безнадёжной любви.

Отличительной чертой в характере Петра Илиодоровича было то, что он не замечал, когда над ним смеются, и всегда на наши коварно-осторожные вопросы отвечал с самым искренним простосердечием. Однажды, от нечего делать, мы решили проследить, кто такая на самом деле таинственная и прекрасная Степанида, о которой Петр Илиодорович с многозначительной мимикой и красноречивыми фигурами умолчания говорил нам в продолжение целого месяца. С этой целью мы внезапно, без приглашения, нагрянули в квартиру нашего товарища. Петр Илиодорович ужасно нам обрадовался, растерянно засуетился по комнате, не зная, где нас посадить, и закричал в отворенную дверь: «Степанида! Степанида! Самовар скорее!» Мы с нетерпением устремили глаза на двери и так и покатались со смеху, когда в комнату вошла громадная баба лет тридцати шести, рябая, курносая, похожая на переодетого солдата. Петр Илиодорович догадался о причине нашего смеха, но слишком поздно...

Последнею зимою в наш город приехала бродячая цирковая труппа, состоявшая всего, кажется, из шести человек. В середине зимы к ней присоединилась, в качестве гастролерши, мисс Мей – девица американского или английского происхождения, практиковавшая на арене цирка опыты гипнотического внушения, отгадывания мыслей и чудеса необычайного и внезапного увеличения в весе тела. Надо отдать ей справедливость, она была прехорошенькая – сильная, краснощекая и смешливая брюнетка с живыми глазами, темным пушком на верхней губе и великолепными зубами.

Дня два или три спустя после ее первого дебюта Петр Илиодорович, придя в редакцию, казался особенно проникнутым серьезностью и загадочностью. Мы ждали, что будет. Петр Илиодорович молчал с четверть часа, усердно переписывая какую-то заметку. Потом он внезапно приподнял голову, посмотрел на нас поверхочков и медленно произнес:

– Того... в цирке вчера был... Мы молчали.

– Какая хорошенькая!.. Англичанка-то... Меня ей вчера представили...

– Как же вы с нею, Петр Илиодорович, разговаривали? – спросил я. – Ведь вы, кажется, по-французски-то...

– Ну вот, – обиделся Петр Илиодорович, – настолько-то я понимаю, чтобы того... Салонный-то разговор... пригласила бывать у нее от четырех до шести...

– Значит, с победою, Петр Илиодорович? – вставил невинным тоном Сашенька.

– Ну вот... вы сейчас и с победою, – законфузился, однако не без удовольствия, Нарциссов. – Как вы, ей-богу, господа, нескромны относительно женщин!.. С этих пор для нашего почтенного коллеги начался целый ряд мытарств. Он лез из кожи вон, раздавая билеты на бенефис черноглазой мисс, ежедневно приносил в редакцию пламенные и длинные заметки об ее удивительных номерах, заметки, от которых редактор, благодаря их рекламному характеру, оставлял не более трех строчек, торчал вечно за кулисами цирка и вообще был в это время как будто бы несколько ненормальным.

Впрочем, по-видимому, он совершенно не пользовался успехом у прекрасной мисс. По

крайней мере, выходя однажды из цирка и случайно подслушав разговор Петра Илиодоровича с мисс Мей, которую он провожал до коляски, я почти в этом убедился.

– Мадемуазель, – говорил Петр Илиодорович каким-то необыкновенно нежным сюсюкающим голоском, забегая то с левой, то с правой стороны, – мадемуазель, жесюи ажурдюи аншанте пар ву. Ву зет экстраординер. Ком юн деесс!.. Ту ля пюблик осей, ком муа...<sup>39</sup>

В это время к мисс Мей подлетел высокий офицер в николаевской шинели, и мисс поспешно уселась вместе с ним в коляску, забыв даже проститься со своим горячим поклонником. А Петр Илиодорович долго еще стоял без шапки, глядя вслед своей удаляющейся «деесс».

Когда в редакции заходила при нем речь о мисс Мей, он многозначительно молчал. Однако скептическая улыбка на его губах и усиленное подергивание бровей очень ясно говорили нам: «Эх, господа, никто из вас ничего верного не знает. Вот я действительно мог бы рассказать кое-что, если бы только был менее скромн». Между тем приближалось время отъезда англичанки. В газете уже появились одно за другим объявления о ее предпоследнем, последнем и еще два раза последнем выходе. Петр Илиодорович по этому поводу носился как будто в каком-то тумане: он проектировал грандиозные проводы, бегал всюду с билетами на прощальное представление, собирал по подписке деньги на ценный подарок уезжающей диве. Наш редактор только покачивал молча головой и хладнокровно вымарывал его панегирики.

В редакции Петра Илиодоровича почти не было видно, зато, придя туда однажды, я застал Сашеньку Крикуновского за странным занятием, не подходящим к его солидным летам, к его почетному положению в газете. Он сидел на стуле перед камином, широко расставив ноги, и аккуратно стриг ножницами пушистый хвост Цезаря. Старик, по-видимому, вовсе не противился этой операции и только, изогнувшись кольцом, с некоторым изумлением обнюхивал руки импровизированного цирюльника.

– Что это вы делаете, Сашенька? – спросил я не без некоторой тревоги.

– Подождите, потом узнаете, – отвечал он серьезно.

Окончив стрижку, он достал из кармана атласную розовую ленточку и тщательно обвернул ею порядочный пучок собачьих волос. На все мои расспросы он только принимал таинственный вид и говорил, что я потом все узнаю. Так я от него и не мог добиться никакого определенного разъяснения его странному и легкомысленному поступку. Впрочем, дня через два я и сам о нем позабыл.

Между тем с отъезда мисс Мей прошло уже около двух недель. Петр Илиодорович стал понемногу приходить в себя от своего любовного угара. Лицо его потеряло прежнее комически торжественное выражение, и сам он опять втянулся в свои ежедневные газетные сплетни. О прекрасной англичанке Петр Илиодорович не упоминал ни словом и даже отмалчивался, когда о ней заходила речь. Кажется, он окончательно убедился, что все время состоял в ее свите самым ничтожным статистом.

Но вскоре произошло неожиданное событие, опять выдвинувшее на сцену отсутствующую мисс. На имя Петра Илиодоровича прислали однажды с почты повестку на какую-то ценную посылку. На другой же день рассыльный принес в редакцию эту посылку, обернутую грубым холстом и запечатанную по швам красным сургучом. Петр Илиодорович вооружился перочинным ножом, а мы, то есть я, Крикуновский, конторская девица и даже сам случайно вышедший из своего кабинета редактор, столпились вокруг него. Петр Илиодорович бережно распорол холст и снял его: под ним оказался маленький деревянный ящик, запечатанный в газетную бумагу. В ящике, наполненном ватой, лежала изящная бонбоньерка, запечатанная крошечным замочком, и при ней на тоненькой цепочке почти микроскопический ключик. Петр Илиодорович дрожащими руками отпер бонбоньерку. Наше любопытство возрастало с каждым его движением. В бонбоньерке лежало «что-то», тщательно обернутое зеленой папиросной бумагой и обвязанное тонким шнурком. Под этой бумагой оказалась другая – красного цвета, под ней синяя, затем белая и, наконец, – розовая.

Когда и розовая бумага была снята, нашим глазам предстал небольшой сафьянный коричневый футляр, вроде тех, в которые ювелиры укладывают серьги. Петр Илиодорович открыл футляр. В нем, свернутая в кольцо, обвивалась вокруг бархатного круглого возвышения прядь

<sup>39</sup> Я сегодня очарован вами. Вы необыкновенны. Вы богиня!.. Вся публика тоже, как и я... — Искаж. фр.

черных, как смоль, волос, завязанная посредине розовой атласной лентой.

– Здесь и записочка есть, – воскликнула конторская барышня. – Посмотрите-ка, в крышке!

Действительно, в крышке футляра была вложена согнутая пополам и надушенная розовая карточка с печатным изображением незабудок и двух целующихся голубей. Внизу карточки стояла короткая надпись: «To my darling and sweetheart I hope you will never forget me May».

«Дорогой мой, я надеюсь, что вы меня никогда не забудете», – перевел вслух редактор, знакомый с английским языком.

Петр Илиодорович окинул нас поверх очков гордым и сияющим от счастья взглядом, потом прижал с театральным жестом к сердцу полученный сувенир, затем поднес его к губам и стал осыпать горячими поцелуями.

Я взглянул мельком на Крикуновского, чтобы обменяться с ним улыбками, и... сразу понял все. Крикуновский, весь багровый, трясся от беззвучного смеха... Мгновенно и мной овладел приступ беспощадного, неудержимого хохота. Петр Илиодорович, еще прижимая волосы к губам, с изумлением смотрел на нас, а мы, бессильные против судорожного смеха, падали на стулья, вставали, хватали себя за головы, сгибались в три погибели, вытирали на глазах слезы и всё хохотали, хохотали и хохотали. Редактор и конторская барышня, еще не зная, в чем дело, невольно присоединились к нам, и только один Петр Илиодорович глядел на нас серьезный, недоумевающий, почти испуганный.

Мы хохотали очень долго и потом, как это всегда бывает в подобных случаях, мгновенно перестали. Крикуновский, мучимый новой жадой этого истерического хохота, воскликнул:

– Да вы знаете, что это за локон? Ведь это я у Цезаря из хвоста настриг!

Однако на этот раз никто из присутствующих даже не улыбнулся. Всех нас поразило искривленное страданием лицо Петра Илиодоровича с мгновенно побелевшими и задрожавшими губами. Несколько секунд длилось напряженное молчание; все чувствовали себя очень неловко. Наконец Петр Илиодорович медленно выронил из рук злополучный локон и, не говоря ни слова, сгорбившись более обыкновенного, вышел из комнаты.

Ни на другой, ни на третий день Петр Илиодорович в редакцию не являлся. Оказалось, что он тотчас же после истории с локоном выехал из города. С тех пор я с ним не встречался, но один мой знакомый передавал мне, что при одном поминании имени Крикуновского или моего он приходил в иступление, называя нас «газетными скоморохами», «бездарными кропателями» и «литературными сплетницами».

1895

## Странный случай

– Вы позволите мне сесть вот здесь на ковре, у ваших ног?

– Если это вам доставляет удовольствие... Но с условием: не глядеть на меня так пристально и такими сладкими глазами... Ну рассказывайте что-нибудь интересное.

– Вы меня сразу ставите в безвыходное положение. Когда мне говорят: «Рассказывайте что-нибудь интересное», я совсем теряюсь...

– Бедняжка!

– Кроме того, ведь вы знаете, что, когда я около вас, я могу говорить и думать только об одном...

– Что я прекрасна и что вы меня боготворите?

– Что я вас боготворю и что...

– И что готовы отдать за меня жизнь? Ах, боже мой, как вы скучны! Я слышала это от вас, по крайней мере, тысячу раз...

– Других вы слушали благосклоннее...

– Не старайтесь казаться злым, мой маленький Мопассан. Я к вам гораздо снисходительнее, чем вы заслуживаете... Ай, ай, ай, как вы широко раскрыли глаза! Конечно, я к вам очень добра. Я позволяю вам безнаказанно говорить о вашей любви, не отказываю, когда вы просите поцеловать мою руку, не засыпаю, когда вы читаете вслух ваши новеллы... Неужели этого мало?

– Конечно, мало. Вы подали нищему корку хлеба и ставите это себе в заслугу. Вы ведь



знаете, Нина Аркадьевна, вы не можете не видеть, как я вас люблю. Ни одна женщина никогда не ошибется в качестве того чувства, которое она внушает мужчине.

– Это я тоже слышала от вас.

– И вы верите мне?

– О, конечно! Я даже не даю себе труда сомневаться в этом.

– А я ненавижу вашу холодную иронию. Отчего же, если вы видите, как я мучусь, и если в вашем сердце нет даже искры чувства ко мне, отчего вы не прогоните меня из простой жалости?

– Но я вас и не удерживаю. Вы совершенно свободны. Я знаю только, что вы предпочтете мучиться подле меня, чем вдали, и я вам это милостиво разрешаю.

– Merci. Вы великодушны.

– Как королева?

– Нет, как тигрица.

– Ого! Мы становимся, кажется, немного дерзки?

– Ах, как бы я желал уметь быть дерзким! Тогда, наверно, вы не иронизировали бы так спокойно.

– О да, без сомнения, тогда бы наши роли мгновенно переменились. Я бы бросилась вам на грудь, умоляла бы вас о любви, может быть, даже заплакала бы. Но вы, наверно, отвернулись бы от меня с самым убийственным хладнокровием.

– Нет, не смейтесь над моими словами, Нина Аркадьевна! То, что я сказал про дерзость, – не шутка, не легонькая шпилька среди салонной болтовни, а глубокая и страшная истина, содержащая в себе всю психологию женского сердца. Не улыбайтесь заранее, я сейчас разьясню свою мысль. Впрочем, и мысль-то это не моя. У Шекспира в «Ричарде Третьем» она высказана с такой гениальной смелостью, что ужас охватывает, когда читаешь... Помните, там в первом действии за погребальной колесницей Генриха Четвертого идет его невестка леди Анна. Генрих Четвертый и муж леди Анны – Эдвард – убиты рукою Глостера (впоследствии Ричарда Третьего) – горбатого и хромого уроды, но в то же время безгранично дерзкого человека.

Будь проклята рука убийцы злого,

– говорит леди Анна, –

И кровь того, кто эту кровь пролил.

Будь проклято и сердце, где сложилось

Решение на пагубное дело.

В этот момент показывается сам Глостер. Только у Шекспира и можно встретить такую чудовищную брань, какой осыпает леди Анна убийцу. Она плюет ему даже в глаза. Но Глостер говорит ей только о своей любви. И вот понемногу леди Анна остывает от своего озлобления, потом она уже слушает красноречивые слова Глостера и, наконец, даже принимает от него в подарок перстень.

Простися же со мной, –

просит Глостер леди Анну, уходящую от тела короля, и она уже не без кокетства отвечает ему:

Не много ль будет?

Но если ты склонил меня на лесть,

То можешь думать, что уж я простила.

Даже сам Глостер изумлен скоростью своей победы:

Как! я, зарезавший ее отца!

Как! я, зарезавший ее супруга,  
Пришел к ней в час неслыханного гнева  
С одним притворством дьявольским и – что же?  
Она моя – наперекор всему!

Вот вам картина душевного мира женщины, картина, набросанная гигантскими, грубыми мазками, но как изумительно, как беспощадно верно! Зато только такие гении, как Шекспир, и осмеливаются бросать в глаза человечеству подобные сцены... И на самом деле: разве красота, или богатство, или талант покоряют женщину? Нет. Ничто, кроме страстного, напряженного желания обладать ею. «Любит тот, кто безумней лобзает!» – воскликнул один русский поэт. Правда, он перед этим оговорился: «Хороши только первые, робкие встречи». Эта оговорка, по-моему, прямо дело его болезненной натуры... Вы, может быть, спросите: почему же женщина все-таки любит больше красивых, богатых и талантливых людей? Да просто потому, что они самоувереннее. Ну как, скажите, пожалуйста, вложу я в свои слова всю силу любви и желания, если я в это мгновение страдаю оттого, что вы можете заметить на моих ботинках предательское отверстие? Или как, например, осмелюсь я излить перед любимой женщиной все, что у меня накопилось в душе, если я боюсь, что нежное выражение сделает мое некрасивое лицо смешным? Я волнуюсь и потому выражаюсь, вероятно, неясно, но вы, мне кажется, понимаете меня? И это ведь очень естественно. У мужчин так много занятий, страстей и увлечений: честолюбие, спорт, служба, наука, любимая идея... А женщина вся живет любовью и ради любви. И к любви поэтому она так чутка и так ей послушна, как мы, мужчины, и представить себе не можем.

Сойманов замолчал и опустил низко свою большую курчавую голову. Нина Аркадьевна также молча играла кистями своего светло-серого кашемирового капота, который мягкими длинными складками неясно и красиво обрисовывал ее грудь, бедра и стройные, длинные ноги. Ее изменчивое лицо красивой и капризной женщины было задумчиво.

– А я так любить не умею и не могу, да и не хочу, по правде сказать, – заговорил опять Сойманов. – Мы – нервные и тонкие артистические натуры и любим более самого чувства те чудные формы, в которые оно облекается. Хотите, я вам расскажу, как я вас люблю? Только, ради бога, не перебивайте меня вашими сарказмами. Мне это так больно... Знаете, иногда сижу я в большом обществе и слушаю, что говорят, а то и сам говорю что-нибудь. И вдруг сразу вспомню о вас. Сердце у меня забьется так крепко, и сладко, и больно, и чувствую я, как теснится у меня в груди дыхание... Или иной раз, случайно, увижу я на улице женщину, костюмом или фигурой похожую на вас; и я спешу догнать ее, дрожа от нетерпения, хотя уже и догадываюсь, что это – не вы. А когда я иду к вам, то перед лестницей всегда остановлюсь: какая-то томительная робость сковывает мои руки и ноги. А когда я остаюсь один у себя в комнате, я сажусь, закрываю глаза руками и все твержу ваше имя: Нина... Нина... Ниночка... Поверите ли? Я в эти моменты удивительно ясно представляю себе вашу фигуру и лицо. Только во сне вот я вас никак не могу увидеть, и это меня печалит. Мне кажется, что я скоро прибегну к помощи морфия.

– Мне остается только пожалеть, что вы так неудачно поместили свои тонкие чувства, – сказала насмешливо Нина Аркадьевна. – Другую женщину они сделали бы счастливой.

– Но вы-то, вы сами, неужели никогда не знали этих тревог и этих мимолетных радостей?

– Нет. Может быть, потому, что у меня никогда не было препятствий. Мне приходилось только выбирать.

– Но ведь вы любили же кого-нибудь с тех пор, как овдовели?

– Вы сами знаете, что да.

– И любили же кого-нибудь сильнее, чем других?

– Как вы разнообразны, маленький Мопассан! Почти каждый день вы допытываетесь о моих романах. Неужели они вам так интересны?

– Ах, Нина Аркадьевна, вы никогда не поймете, что это за мучительное чувство – ревность к прошлому! И вы правы: я никогда не устану вас спрашивать, кого и как вы любили. Вы говорите, а у меня вся душа переворачивается от зависти, злобы и ревности, и все хочется еще и еще слушать, до мельчайшей черточки, до последнего душевного извива. Так и кажется мне, что я всех их перед собой вижу; и мужа вашего, и этого красавца – итальянского певца, и того гвардейца, который из-за пылкой любви к вам отстрелил себе мизинец, и сумасшедшего инженера,

растратившего из-за вас...

– Пожалуйста, не так подробно...

– Простите. Я действительно не имею права этого касаться... Но скажите мне искренно, неужели на любовь к ним ушли все перлы вашей души?

– Ушли все перлы.

– И вас совсем не соблазняет любовь – хорошая, нежная, удовлетворенная любовь?

– Нет.

– Почему же нет? Ведь вы молоды еще, прекрасны, свободны...

– Вот именно оттого, что я больше всего дорожу свободой и спокойствием. Кроме того, в любви мужчин всегда есть что-то... ну, как вам сказать... ну, *quelque chose de brutale*<sup>40</sup>, и они хороши только до тех пор, пока не близки.

– И вам никто из них в настоящее время не нравится?

– Я этого не могу сказать. Бывают мгновения... Иногда в танцах, во время загородного пикника, *tete-a-tete*<sup>41</sup> с красивым и умным собеседником во мне просыпается потребность любви. И я люблю эти моменты, но люблю так же, как люблю бокал шампанского, только... не сладкого. Не более.

Сойманов вскочил с пола и заходил в волнении по комнате.

– У вас просто-напросто холодная натура, – сказал он. – Вы эгоистка и ленивы.

– А вы дерзки и злоупотребляете тем, что я вам многое прощаю, как талантливому молодому писателю.

Опять они замолчали. Сойманов нервно ходил взад и вперед по комнате. Она следила за ним, закусив нижнюю губу и слегка улыбаясь.

– А знаете, кого бы я еще могла полюбить? – вдруг сказала Нина Аркадьевна. Сойманов сразу остановился против нее в нетерпеливом ожидании.

– Во-первых, он должен быть красив. Не хмурьте бровей, потому что вы знаете, что ваша наружность мне нравится. Во-вторых, он должен быть умен, нежен, скромн и талантлив. Кроме того...

– Кроме того?

– Кроме того, он должен любить меня больше своей жизни.

– Но ведь я вас именно так и люблю.

– Не говорите неправды!

– Чем же я могу вам это доказать? Ну, хотите, я по вашему приказанию лишу себя жизни? Хотите?

– Не говорите глупостей. Вам, вероятно, вспомнилась история Клеопатры? Да если бы я и потребовала этого, вы не исполнили бы. Вы так жадно любите жизнь, что у вас никогда не хватит решимости «расстаться с милой привычкой к существованию».

Лицо Сойманова нахмурилось еще больше, даже как будто бы потемнело. Он медленно опустил на прежнее место – у ног Нины Аркадьевны.

– Вы очень верно заметили о моей любви к жизни, – сказал он глухим, взволнованным голосом. – У меня никогда не хватит сил поднять на себя руку... Но зато у меня... да и вероятно, что у меня одного в целом мире, есть верное средство исполнить ваше желание.

– Что же это за таинственное средство?

– Если хотите, я вам расскажу. Это целая история и, говоря вправду, не совсем обыкновенная.

– Пожалуйста. Эта необыкновенная история чрезвычайно меня заинтриговала.

– Несколько лет тому назад, – начал Сойманов, – у меня был друг. Он жив до сих пор. Кто он и как его зовут – не правда ли, это не интересно? Мы долго жили с ним вместе и многим обязаны друг другу. Обстоятельства сложились так, что я спас от позора его семью тем, что внес в казну деньги, растроченные его отцом. Он мне тоже оказал одну, не менее важную услугу. Мы

<sup>40</sup> что-то грубое — фр.

<sup>41</sup> наедине — фр.

очень любили друг друга, и я положительно скажу, что нет жертвы, которую, если бы понадобилось, не принес он для меня или я для него.

Однажды он достал где-то скляночку синильной кислоты, так – гран пять-шесть. По этому поводу мы с ним разговорились о самоубийстве. И он и я признавали, что бывают случаи, когда оно не только простительно, но и необходимо. А надо вам сказать, что милая привычка к существованию у него еще сильнее, чем у меня. И вот мы дали друг другу клятву, – не смейтесь так преждевременно, Нина Аркадьевна, – клятву помочь друг другу, если это потребуется, – переселиться в лучший мир. Достаточно ему написать мне в письме только одно слово: «Пора» – и я должен тотчас же ехать туда, где он живет, незаметно разыскать его и оказать ему (конечно, так, чтобы он меня не видел) дружескую услугу. Тем же условием обязался и он относительно меня... С этих пор и он и я носим на часах одинаковые брелоки. Сойманов показал Нине Аркадьевне маленький золотой флакончик, прикрепленный при помощи кольца к часовой цепочке. Нина Аркадьевна рассмеялась.

– Действительно, романтическая история. Но я вас смело могу уверить, что в настоящее время и вы, и ваш друг выросли, стали благоразумнее и безопасность от полиции и суда цените выше дружеских услуг.

Сойманов побледнел.

– А я уверен в противном. По крайней мере, я бы не посмел отказаться... Вы не верите?

– Конечно, не верю, – насмешливо возразила Нина Аркадьевна. И, вставая с дивана, она прибавила: – Ну, однако, мой романтический писатель, я вас прогоняю... Теперь двенадцатый час. В этом вы можете убедиться, поглядев на свои часы с роковым брелоком.

Сойманов встал, поцеловал ее руку и пошел к дверям. Но на пороге он как будто бы пошатнулся, схватился за косяк и обернулся назад. Выражение его бледного лица Нина Аркадьевна не могла забыть потом во всю свою жизнь.

– Значит, вы хотите испробовать меня и моего друга? – спросил он с кривой усмешкой.

И странно: несмотря на то, что ее сердце на мгновение сжалось от ужаса, она отвечала, смеясь:

– Ах, да, пожалуйста – это будет очень интересно.

– Прощайте, – сказал Сойманов.

\* \* \*

Через полмесяца после этого разговора был второй день Нового года, и Нина Аркадьевна принимала визиты. Последним и особенно надоевшим ей визитером был Коко Веселаго, пустой, светский мальчуган лет пятидесяти, с лысиной и моноклем. Он славился искусством знать всегда и все ранее других столичных сплетников.

– Ну, что же, вы еще не весь ваш запас выгрузили? – спросила Нина Аркадьевна, воспользовавшись минутной паузой в потоке слов Коко.

– Ах да! – спохватился вдруг Коко. – Есть и еще одна интересная новость... Как это я раньше о ней не вспомнил!.. Вы помните этого... ну, как его?.. молодой писатель... Ах, вспомнил, вспомнил... Сойманова?..

– Отравился? – вдруг неожиданно для самой себя вскрикнула испуганно Нина Аркадьевна.

– Ах, вы уже знаете? – протянул Коко, разочарованный в своем удовольствии рассказать свежую новость.

Но она уже овладела собой и отвечала спокойно:

– Да. Мне об этом писали.

<1896>

## Бонза

Это было в ночь под светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил обще-

ство доктора. Несколько лет тому назад у него умерло четверо детей, и в конце концов жена оставила доктора, после того, как обои убедились, что они не понимают друг друга со дня женитьбы. Да и вообще во всей своей жизни Субботин был неудачником, от школьной скамьи и до седых волос. Но несчастья не озлобили и не очерствили его сердца, а только придали его манерам, голосу, всему его существу отпечаток ленивой грусти. Он был прекрасным собеседником и очень внимательным слушателем.

Наконец мы взобрались по длинной плитяной лестнице с широкими и низкими ступенями на самый верх Ярославовой горы, господствующей над всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных для публики вдоль очень высокого и очень крутого обрыва. У наших ног расстился город. По двойным цепям газовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие колокольни церковей казались необыкновенно легкими и точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, белела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В прозрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и деревьев, в дрожавших переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность...

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоминания детства, – нечто вроде бессильного сожаления о невозможности еще раз испытать эти яркие и свежие впечатления.

И, как будто бы отзываясь на мои мысли, Субботин вдруг заговорил своим тихим, протяжным и грустным голосом:

– Каждый раз в эту ночь я никак не могу оторваться памятью от одного события из моей детской жизни. Странно: уж, кажется, меня жизнь так мыкала, что много есть чего вспоминать. Но все стерлось, выдохлось, поблекло, а эта незатейливая история стоит передо мной с такой удивительной живостью, будто она только вчера произошла. И когда я ее кому-нибудь рассказываю, то опять переживаю самые мелкие мелочи своих тогдашних ощущений.

Я, более из вежливости, чем из любопытства, попросил доктора поделиться со мной этой историей (я видел, что ему очень хочется ее рассказать). Сначала я слушал рассеянно и принужденно, следя глазами за облаками, быстро набегавшими на месяц и внезапно проникавшимися оранжевым сиянием. Но потом безыскусственный рассказ доктора мало-помалу увлек меня и растрогал.

– Мне шел тогда восьмой год. Говорят, что через каждые семь лет меняется у человека и наружность, и состав крови, и характер, и привычки. Может быть, в этом и есть доля правды. По-моему, семилетний возраст действительно влечет за собою перелом в ребяческой душе: в это время дети так жадно и беспорядочно набираются впечатлений, что даже худеют и делаются рассеянными...

Мы жили в Москве. Отец был вечно занятый, серьезный человек. У меня мало о нем сохранилось воспоминаний: ясно представляю себе только его лысую голову, длинную черную бороду с приятным запахом табака и белые, большие руки. Мать – кроткая, болезненная женщина, очень худая и рано состарившаяся – побаивалась своего мужа, была с ним нежна, с оттенком грусти, и постоянно куталась в серый платок из «козьего пуха». Нас, детей, было трое: я и Зинаида – почти ровесники и старшая – Надежда, совершеннолетняя, уже невеста. В этом году, за неделю до Пасхи, возвратился из кругосветного плавания ее жених – морской офицер, и гостил в Москве в ожидании Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы. Пребывание Николая Николаевича в нашем доме делало приближающийся праздник особенно торжественным. Я и Зина прекрасно знали, что за приготовления ведутся на кухне, и понимали, почему они гораздо пышнее, чем в прошлом году, но молчали. Дети почти всегда отлично понимают то, что им считают лишним объяснять, но из привычного недоверия к взрослым они очень ловко таят свое понимание.

Надежда важничала, чувствуя себя центром общего внимания и забот. Мы с Зиной отлично видели, что у нее в обыкновенное время не бывает ни той походки, ни того голоса, ни такой улыбки, как при женихе, и мы объяснили себе это тем, что Надька «ломается» и «что-то такое из

себя строит, но у нее ничего не выходит». Часто, подсмотрев вечером в гостиной, как они целуются на диване, мы с невинным видом, взявшись за руки, проходили мимо них, заставляя их краснеть и отскакивать друг от друга. Ко мне Надежда относилась с тем презрительным, но сторожким невниманием, с каким всегда держат себя взрослые барышни по отношению к братьям-мальчишкам, всегда перепачканным, всегда готовым наступить на платье, угодить в лицо мячом или с разбегу подкатиться под ноги.

Зато Николая Николаевича мы обожали, в особенности я. Я прямо был влюблен в него, влюблен слепо, страстно и бескорыстно. Он казался мне образцом ума, силы и смелости. Я не изменял ему года четыре, и одним из моих любимейших развлечений в гимназии было иллюстрировать на маленьких, однообразного формата бумажках все те рассказанные им приключения из его жизни, которые я слушал и сохранял в памяти, как нечто священное. Да и нельзя было не любить этого высокого, сильного, краснощекого красавца с оглушительным голосом и заразительным смехом, всегда готового возиться и школьничать. Он от чистого сердца играл иногда с нами, детьми, и сестра Надежда глядела тогда на него – о, как мы это хорошо видели! – с натянутой улыбкой на губах и с ревностью во взоре. Мы с Зиной показывали ей язык и исполняли за ее спиной «пляску людоедов», едва она отворачивалась от нас.

Возвратившись из плавания, он всем нам привез подарки: чесунчу, японские и китайские безделушки, зонтики, веера, кокосовые орехи... Особенно хороша была вещица, которую он подарил своей невесте. Она представляла миниатюрную японскую пагоду из старой бронзы, увешанную цепями, колокольчиками, медальонами и другими побрякушками. Дверцы пагоды были растворены настежь и позволяли видеть сидящего в ней на корточках фарфорового бонзу с качающейся головой. Эта игрушка казалась мне великолепнейшим созданием искусства. Верхом счастья для меня была бы возможность хоть немного подержать ее в руках и самому заставить бонзу покачать головой. Но я отлично знал, что Надежда никому не позволяла прикасаться к своим вещам.

Наступила страстная суббота. Меня с сестрой то и дело высылали из комнаты в комнату, потому что мы всем мешали. «Хоть бы вы занялись чем-нибудь», – говорила мать, которой мы ежеминутно попадались под ноги. Но мы слишком были заинтересованы всем происходившим в доме, чтобы чем-нибудь заняться.

Вечером в полутемной зале расставили столы, накрытые новыми скатертями. Заглядывая украдкой в двери, отворявшиеся лишь на мгновение, мы мельком видели покрывавшие эти столы куличи, пасхи, окорока, бутылки и еще какие-то предметы. До нас доносился даже запах сдобного теста и ванили.

По мере того как приближалось время заутрени, наши нервы напрягались и волнение росло. В комнатах было темно, взрослые говорили мало и вполголоса, и все это, в связи с таинственными приготовлениями в зале, настраивало нас на ожидание чего-то чудесного, прекрасного и неожиданного.

Однако мы так устали и переволновались за день, что часов в десять вечера уже не в силах были бороться со сном и прикорнули в углу широкого турецкого дивана в гостиной. Засыпая, я случайно слышал, как в зале разговаривали сдержанные голоса и звенела посуда.

Потом нас разбудили. Еще не проснувшегося, дрожащего от холода и волнения, меня одели в лиловый бархатный костюмчик с белым кружевным воротником и повели в гостиную. Там уже все были в сборе: отец во фраке, надушенный и представительный, мать в палевом широком роброне, Надежда, казавшаяся чопорной, в белом платье, и Николай Николаевич в новом мундире, в широко открытой, ослепительно-белой, туго накрахмаленной рубашке. Все суетились, хотя и говорили вполголоса, а эти быстрые приготовления придавали нам такой вид, как будто бы мы составляли важный заговор.

Все, что происходило дальше, слилось для меня в одно сплошное и сложное впечатление блеска и радости. Я помню в этом блаженном сне только некоторые моменты. Когда крестный ход, обойдя вокруг церкви, приблизился к распахнувшимся средним дверям входа, то ожидание чуда, которое сейчас, *вот сию секунду* должно произойти, наполнило меня трепетом радостного испуга. За дверями стройные голоса, как будто бы дрожащие от восторга, громко запели: «Христос воскрес из мертвых». Священник вошел в новой ризе и приветливым, звучным голосом, благословляя прихожан трехсвечником, принес нам ту радостную весть, которую мы так нетер-

пеливо ожидали: «Христос воскрес!» И я, замирая и холодея от восторга, сознавая, что и я участвую в общей великой радости, выкрикивал громко: «Воистину воскрес!»

Николай Николаевич, похристововавшись со мною, поднял меня на руках кверху, и я увидел целое море обнаженных голов и горящих свеч. Я обернулся назад и увидел множество светлых и добрых лиц и много глаз, которые блестели, отражая пламя свеч. Даже сестра Надежда показалась прекрасной в этот момент. Лицо ее, близко освещаемое свечой, сделалось белым и нежным, глаза потемнели и сверкали, от бровей падали на лоб длинные тени, и зубы красиво блестели, когда она улыбнулась, не поворачивая головы, Николаю Николаевичу.

Домой мы шли, держа в руках зажженные свечи, стараясь, чтобы они не потухли. Но только одной маме удалось донести свечу, и она провела огнем от нее крест на косяке парадных дверей.

В зале было так светло и весело, что я не узнал ее. Оживленно разговаривая и шумя стульями, мы усаживались за стол. В это время сестра Надежда, пожимая плечами, сказала, что ей холодно. Растроганный заутреней и ожиданием многих вкусных вещей, я взялся принести ей из комнаты платок. Она согласилась, и, когда я со свечой в руках побежал из зала, она крикнула мне вслед:

– Только смотри ничего не трогай у меня на комод!

Я очень скоро нашел ее платок, который лежал на спинке кресла, и уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за моей спиной раздался звон и треск бьющегося фарфора. Я обернулся и увидел японскую пагоду лежащей на полу и рядом с ней разбитого бонзу.

Как это могло случиться, я не понимаю, но задеть игрушку я во всяком случае не мог, потому что проходил от нее шагах в пяти. Я поднял бонзу с полу и с чувством жалости к нему стал приставлять один к другому поломанные бока его туловища. Вдруг я услышал быстрые шаги Надежды, привлеченной, вероятно, шумом упавшей игрушки. Повинуясь мгновенному чувству страха, что меня могут заподозрить в нечаянной или умышленной порче сестриной вещи, я быстро бросил обломки на пол, но сделал это так неловко, что вбежавшая сестра заметила мое движение.

– Что ты наделал, дрянной мальчишка? – закричала она, хватая меня за плечо. – Ведь я тебе говорила, чтобы ты не трогал моих вещей. Как ты смел?.. Как ты смел?

– Она была ужасно рассержена и, крепко вцепившись в мое плечо, повлекла меня в залу.

– Посмотри, папа, что он наделал, – жаловалась она со слезами в голосе, показывая при этом черепки разбитой игрушки. – Это он нарочно, нарочно сделал, скверный мальчишка.

И она расплакалась.

– Зачем ты это сделал? – спросил отец строгим голосом, вынимая из рук Надежды обломки и так же, как я за минуту перед этим, машинально составляя их вместе. – Сестра ведь предупреждала тебя!

Я отвечал, заикаясь:

– Папа, честное слово... это... не я... Я до нее... даже... не дотрагивался. Она сама упала, когда я выходил...

– Он лжет! Он лжет! – взвизгнула Надежда, отрывая платок от мокрого и злого лица. – Я сама видела, как он бросил куски на пол.

– Зачем же ты еще лжешь? – спросил отец, нахмуриваясь. – Если у тебя в руках были куски, значит, ты брал эту вещь.

Но я краснел, чувствуя, что все подозревают меня во лжи, и только твердил:

– Это не я... это не я... Я выходил, а она вдруг упала... Я взял ее с полу, чтобы посмотреть.

Тогда вступилась мама:

– Послушай, Дмитрий, зачем ты нам портишь такой великий праздник? Признайся и попроси у Нади извинения... И все будет кончено.

Лицо у нее было доброе и испуганное; ей, по-видимому, хотелось поскорее прекратить эту неприятную историю. Николай Николаевич сидел, опустив глаза в тарелку, и я видел, что он мучится за меня. Зина, выпрямившись на стуле, глядела взрослым в глаза и всем своим видом благонравной девочки точно хотела сказать: вы видите, это только он такой дурной мальчик, а я всегда веду себя хорошо и стараюсь никогда не огорчать папу и маму.

– Я прошу тебя не вмешиваться, – сурово перебил отец маму, – он сам должен знать, что

ему делать.

Я чувствовал в эту минуту, что исполни я требование матери, и все обошлось бы хорошо. Меня пожурили бы немного, но потом все бы смягчилось, не желая портить хорошего настроения... Но во мне заговорила гордость, и я упрямо, с ужасом в сердце, повторял:

– Это не я... это не я... Он сам упал и разбился.

Тогда отец, раздраженный и покрасневший, схватил меня очень больно за шею и вытолкнул из комнаты.

– Ты лгун, и тебе не место с честными людьми, – закричал он мне вслед. – Убирайся в свою комнату и не смей приходить сюда!

Я убежал и бросился на свою кровать, лицом в подушки. Сначала мне казалось, что я задохнусь от избытка слез, кипевших у меня в груди и острым клубком распиравших мое горло. Я царапал подушку ногтями и грыз ее. Потом слезы прекратились, но мне уже нравились эти слезы несправедливо обиженного и страдающего мальчика, и я силился их вызвать воспоминаниями нанесенной мне обиды. Наконец глаза мои совсем высохли, и только легкое чувство насморка и жажда напомнили о слезах. Тогда я дал волю своему воображению. Я решил завтра же убежать из дому, захватив предварительно в кухне побольше хлеба, и поступить в монастырь. Я чрезвычайно живо представлял себе, как привратник ведет меня к настоятелю. «Что же вас привело в монастырь? – спрашивает меня настоятель, седой, высокий старик, с длинной бородой, в черной скуфье с нашитым на ней белым крестом. – Вы еще молоды, чтобы отречься от мира». Но я отвечаю ему: «Святой отец, меня изгнала из дома ненависть моих родителей. Меня преследовали, мучили и... и даже сказали, что я разбил японского бонзу...» Потом я представлял себе, как отец и мать, долго отыскивавшие меня, приезжают наконец в монастырь и узнают меня в черной монашеской одежде. Они со слезами просят меня воротиться к ним, раскаиваясь в своих подозрениях относительно бонзу. Я, конечно, прощаю их, но мне невозможно воротиться. Увы!.. Теперь уже слишком поздно. Я посвятил себя богу. И много других то мстительных, то великодушных картин рисовалось в моем воображении. Через полчаса дверь детской тихо скрипнула, и я услышал голос Николая Николаевича, спрашивающий тихо:

– Где ты, Митя?

Я молчал. Да мне, огорченному так жестоко и незаслуженно, как-то и неловко было бы отвечать.

Но он сам в темноте отыскал меня, нагнулся надо мной и, щекоча мои щеки своими душистыми усами, стал меня целовать:

– Иди, Митя, в залу, иди, голубчик, – говорил он ласково. – Сделай мне удовольствие, если меня любишь. Ну извинись, ну что тебе стоит? Пойдем вместе.

Но я, хотя и расплакался, согретый этой неожиданной лаской, все-таки отказывался еще упорнее, чем раньше, выйти в залу. И Николай Николаевич вздохнул и, потрепав меня по спине, оставил меня в покое.

Уж рассветало, когда пришла мама, чтобы раздеть младшую сестру. Она подошла к моей кровати и пристально посмотрела на меня. Но я притворился спящим. Она перекрестила меня и, придвинула к моей постели стол, поставила на него кусок пасхи, ломоть кулича и красное яичко. Доктор Субботин помолчал, поерошил под шляпой волосы и прибавил:

– И вот, сколько со мной потом ни случалось огорчений и передраг, а эта неприятность с японским болванчиком одна только не изгладилась из моей памяти и стоит в ней, точно живая. И всегда это воспоминание о первой людской несправедливости, которую я испытал, вызывает во мне печальное и нежное воспоминание.

<1896>

## Ужас

Никто из нас четырех не знал своих случайных спутников. Разговорились мы совершенно нечаянно, как можно только разговориться, сидя друг против друга в вагоне, в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печки, зловещий тускло-желтый полусвет, изливаемый двумя фонарями, задернутыми занавесками, утомительно однообразный стук колес, в такт с



которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени, – все это сообщило нашей беседе странный, полуфантастический характер. Вспоминались читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил, о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и привидениях. Сообразно со вкусами и кругозором каждого из собеседников, и рассказы были различного свойства. Один из нас, по всей вероятности, купец, в медвежьей шубе таких гигантских размеров, что она оказалась бы широкой для самого крупного медведя, склонен был более всего к рассказам в религиозном духе. В его случаях фигурировали: то святотатцы, задумавшие обобрать покойника, стоявшего в церкви, то убитый разбойниками монах, требовавший по ночам, чтобы его тело предали земле, то икона в Новгороде, на которой постепенно распрямляются сжатые в кулак пальцы святого, и когда они окончательно распрямятся – это верный признак скорой кончины мира. Другой пассажир – студент-медик первого курса – пугал нас случаями, происходившими в анатомическом театре, случаями, передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже, помнится, варьировал какой-то из необыкновенных рассказов Эдгара По, переделав его на происшествие с моим хорошим знакомым. Четвертый собеседник – господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто – лишь изредка нарушал свое молчание односложными замечаниями.

Поезд несся вперед. Вагон однообразно вздрагивал, и вместе с ним вздрагивали на потолке уродливые, тоскливые тени. За окном точно бежала назад небольшая полоса мутно-серого снега, едва освещаемого огнями поезда. Изредка в этой полосе быстро мелькали грустные черные силуэты оголенных кустов и деревьев, а дальше глаз тонул в холодной жуткой тьме, с которой сливались и небо и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель. Наши нервы невольно настроились на печальный и таинственный лад.

– Конечно, господа, все, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно, – произнес вдруг молчавший до сих пор господин в пледе и в ушастой шапке. – Но только все это – недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужего вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мною. Я в продолжение всего лишь нескольких минут был одержим «ужасом сверхъестественного», но эти пять-шесть минут остались, и я знаю, что они навсегда останутся самым главным событием моей жизни, потому что невозможно одному и тому же человеку два раза в жизни перенести такой ужас.

Мы очень заинтересовались словами этого господина, и он начал:

– Десять лет тому назад я служил по таможенному ведомству и был смотрителем переходного пункта в пограничном местечке В. На моей обязанности лежала проверка товаров, пропускаемых за границу и провозимых из-за границы.

Пункт находился на плотине, пересекавшей реку Збруч. В шесть часов вечера, в моем присутствии, сторожа запирали рогатку, и с этого момента моя служба кончалась. Остальным временем я мог распоряжаться по своему усмотрению, и у меня вошло в привычку каждый вечер отправляться на вокзал к приходу вечернего курьерского поезда. На вокзале в эту пору собирались все чиновники таможи, пограничные офицеры, иногда даже окрестные мелкие помещики. В самом вокзале было тепло, светло, даже, если хотите, комфортабельно. Многие являлись с своими женами и дочерьми, ужинали в буфете, немного сплетничали, немного флиртировали, иногда составлялась партия ландскнехта, или по-тамошнему, «дьябелка». В одиннадцать часов почти одновременно приходили оба поезда: и наш и австрийский. Вокзал сразу наполнялся разноплеменной публикой, суетливой, шумной, озабоченной. Изредка переезжал границу какой-нибудь путешествующий инкогнито кронпринц, и мы, глядя на него, с удовольствием убеждались, что коронованные особы ужинают с таким же аппетитом, как и обыкновенные смертные. Случалось также, и даже почти каждый день, что при досмотре задерживалась в багаже крупная контрабанда или что какую-нибудь изящную даму уводили для обыска в уборную.

А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом размере. То была счастливая эпоха, о которой теперь только вздыхают поседелые в таможнях и пакгаузах чиновники.

Тогда каждый служащий непременно имел свой круг клиентов среди контрабандистов. Девять раз он пропускал запрещенный товар, но в десятый задерживал его, по всей строгости законов, и получал премию. Таков был уговор, и горе тому контрабандисту, который для деся-

того раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да на что лучше: так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили неразрительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены шансонетных певцов.

Местечко отстояло от вокзала на четыре версты. Общества в нем не было никакого, если не считать урядника и четырех почтовых чиновников, старых, геморроидальных и скучных. Нет ничего удивительного, что четырехверстное расстояние не пугало меня.

Однажды вечером, в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привел в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дому, чтобы идти на вокзал. Туда вели две дороги. Одна, более длинная, шла через все местечко и через прилежавшую к нему деревню Фридриховку; другая, короткая, и собственно даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было как рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем и на этот раз пошел тем же путем.

Был час этак восьмой или даже девятый в начале. Стояла такая темь, что в десяти шагах уже ничего невозможно было разобрать. Я шел, угадывая дорогу ощупью, ногами: в том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками легкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проволоках, а самые столбы гудели непрерывно и однотонно. Каждый раз, подходя к столбу и еще не видя его во мраке, я уж слышал это: гудение.

Началась вьюга. Прямо мне в глаза, слепя их, несся колючий, мелкий и сухой снег. Сердце мое было беспокойно. Мною овладело странное, неприятное и сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу большие незакрытые пространства: поля, городские площади и даже длинные залы. Мне казалось, что я так ужасно мал и незначителен, а расстилавшееся передо мною поле так страшно велико, что я никогда не смогу перейти его. И от этой мысли я чувствовал временами, что все поле начинает подо мною кружиться.

Иногда я оглядывался назад и смотрел на слабо мерцающие вдали огоньки местечка. Это меня облегчало и поддерживало. Наконец и огни скрылись разом, когда, я сошел в длинную, плоскую равнину. Вокруг меня была одна только мутная, белесоватая мгла.

Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему? – я и сам не мог бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как безотчетный страх, по гомеровскому выражению, «хватает меня за волосы». И странно! Вместо того чтобы успокоить себя, я всегда почему-то дразнил еще более свое воображение воспоминаниями разных ужасов. Впоследствии я узнал, что у многих, если не у всех нервных людей, есть места, вызывающие такой безотчетный страх.

Я уже сказал, что вокруг меня была только темнота и вьюга... Вдруг, прямо перед собой, в очень значительном отдалении, как мне показалось, я заметил большое, темное, неподвижное пятно... Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Все было тихо; только снежинки слабо стучали о мое лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслушать.

Темный предмет не шевелился. Я сделал пять шагов вперед и тотчас же убедился, что темнота и вьюга ввели меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня на снегу неподвижно сидел человек, прислонившийся спиной к телеграфному столбу.

Он одет был в шубу, совершенно расстегнутую и распахнутую на груди. Шапки на нем не было. Он сидел очень ровно и прямо, вытянув вперед сложенные вместе ноги и опустив руки по бокам туловища, так, что кисти их уходили в снег. Голова была слегка закинута: назад.

– Кто вы? – спросил я незнакомца.

Голос мой был слаб, как шепот, робок и звучал точно откуда-то издали. Так иногда перед обмороком слышатся голоса окружающих.

Он молчал.

– Кто вы? – повторил я.

Ни звука.

«Он, верно, замерз или его убили», – подумал я, и эта мысль как будто бы успокоила меня.

Страх, стягивавший на моем черепе кожу и пробегавший морозными волнами по моей спине, уступил на минуту место другому чувству – сознанию необходимости помочь ближнему.

Я подошел к незнакомцу в шубе и разглядел его. У него было длинное, худое лицо с тонкими губами, с длинным, горбатым носом; козлиная бородка и брови, изогнутые острыми угла-

ми, довершали это странное, насмешливое лицо, лицо интеллигентного сатира. Он был жив, потому что его глаза следили за мною. Страх опять начал овладевать мною, и мои зубы застучали часто и громко.

– Кто вы? – спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, как у меня в горле становится какой-то сухой, колючий клубок. Нервы мои были страшно напряжены и изошрены: я заметил, что на снегу около сидящего человека нет и признака каких-либо следов.

Он молчал и глядел на меня. И я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас – невероятный, непередаваемый словами, нечеловеческий ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело. Пальцы на моих руках и ногах свела внезапно судорога.

Я глядел на него, не имея сил отвернуться в сторону. Прошло... я не знаю, сколько прошло секунд, минут... может быть, даже часов. Время остановилось. И вдруг (голос рассказчика возвысился и зазвенел)... вдруг незнакомец с тонким и насмешливым видом подмигнул мне левым глазом. Вслед за этим лицо его исказилось в безобразную гримасу, в какое-то нелепое, циничное сочетание смеха и испуга.

В ту же секунду я почувствовал, что и на моем лице отразилась эта чудовищная гримаса.

– Ты дьявол! Вот ты кто! – закричал я в исступлении злобы и ужаса и изо всех сил ударил незнакомца ногой по лицу.

Он упал, как падают мертвые – грузно и не сгибаясь. Я бросился бежать прочь. Но ноги не слушались меня, – они сделались точно свинцовые, и я с трудом передвигал их. Я падал, вставал и падал снова. Только во сне иногда я испытывал раньше подобное чувство, когда снится, что хочешь бежать от невидимого врага, а ноги не поднимаются, точно к ним привязаны пудовые гири...

И в то же время (это мне передавали уже впоследствии) я кричал без остановки все одно и то же слово:

– Дьявол! дьявол! дьявол!

Потом сознание оставило меня. Я очнулся дома, на своей кровати, после жестокой болезни. Господин в ушастой шапке замолчал.

– Кто же это сидел на снегу? – спросил студент, следивший за рассказом с большим вниманием.

– Потом это все разъяснилось, – ответил рассказчик. – Оказалось, что какой-то австрийский купец шел, так же как и я, с переходного пункта на вокзал, но по дороге его разбил паралич. Он кое-как дотащился до столба и сидел около часу, да еще вдобавок обморозился так, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его уже потом нашли в десяти шагах от меня. Оба мы были без чувств.

– Так вот, господа, – закончил рассказчик в ушастой шапке, – вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею и сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова.

Он поднял шапку. Его волосы были белы как снег.

– Это я за одну ночь так побелел, – прибавил он с грустной улыбкой.

<1896>

## Полубог

### I

Шел «Гамлет». Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет десять тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные, маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только

по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашались на его стеснительные условия. Кто знает, может быть, в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что три дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены; барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму.

Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали. Декорации королевского дворца висели странными, грубыми, пестрыми картонами.

Публика понемногу наполняла зрительную залу. Из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот.

Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца – черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами.

– «...Он тучен и задыхается...» – произнес Костромской, растерев на ладонях кольдкрем и начиная намазывать им лицо.

Парикмахер вдруг засмеялся.

– Ты чему, дурак? – спросил актер, не отрывая глаз от зеркала.

– Да я... так-с... ничему-с...

– Ну вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они – мерзавцы, эти писаки газетные. Лают на ветер.

Покончив с кольдкремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало.

«Правда, грим – великая штука, а все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, а вокруг рта глубокие складки... щеки опухли... нос потерял благородные формы. Ну, да мы еще повоюем... Кин пил, Мочалов пил... наплевать! Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым... подсоскам этим... покажет, что может сделать настоящий талант».

– Ты, эфиоп, видел меня когда-нибудь? – обратился вдруг Костромской к парикмахеру. Тот весь затрепетал от удовольствия.

– Помилуйте, Александр Евграфыч... Да я... Господи... Первого, можно сказать, русского артиста да чтобы я не видел? В Казани собственными руками для вас парики изготовлял.

– Черт тебя знает... не помню, – произнес Костромской, проводя вдоль носа белилами узкую и длинную черту, – много вас было... Налей-ка!

Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому. Артист выпил, сморщился и плюнул на пол.

– Вы бы закусывали, Александр Евграфыч, – нежно посоветовал пьяница-парикмахер, – а то, ежели ее голуую... так в голову вдаряет крепко... Костромской почти кончил гримироваться; еще несколько штрихов коричневой краски, и «облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице».

– Давай плащ! – приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула.

Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра.

Толпа все прибывала. Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр, растекалась по ложам, партеру и галереям, с топотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря.

– Давно такого сбора не было, – заметил с подобострастным восторгом парикмахер, – н-ни одного местечка!

Костромской вздохнул.

Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания и безграничной артистической гордости, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увядать его лавры. Прежде, бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленной полутысячи разовых, а то и

прямо раскапризничается в середине спектакля и уедет домой, обругав на чем свет стоит и директора, и режиссера, и всю труппу.

Замечание парикмахера очень живо и больно напомнило ему эти годы колоссального, сказочного успеха. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед, да и сам он об этом не решился бы заговорить.

– Налей! – приказал Костромской парикмахеру.

Больше в графине уже ничего не оставалось. Однако вино возбудило артиста. Глаза его, на которых нижние и верхние веки были подведены тонкими и резкими черными чертами, ожили и увеличились, согнутый стан выпрямился, в опухших ногах, плотно стянутых трико, появились упругость и сила.

Окончив туалет, он привычной рукой быстро прошелся по лицу пуховкой, обмакнутой в пудру, поглядел, слегка прищутив глаза, в последний раз в зеркало и вышел из своей уборной.

Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы – каждое его движение казалось проникнутым той легкой и грациозной простотой, которой он, бывший приказчик суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы.

## II

Навстречу Костромскому уже мчался сценарист.

В зрительном зале ярко и весело вспыхнул газ. Нестройный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Только в первых трех рядах можно было рассмотреть лица. А дальше, куда только ни обращался глаз, – налево, направо, вверх, вниз, – колыхалась в каком-то синеватом тумане бездна пестрых человеческих пятен. Только белые с золотыми арабесками и бархатными малиновыми барьерами бока лож выступали из этой волнующейся тьмы. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения – прежде так знакомого и всегда одинакового свежего и могучего ощущения – мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это – начинающийся паралич истрепанной и усталой души.

На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами.

– Черт! Идиотство! Все к черту пошло! Зарезали! – вопил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому. – Эй вы, дьяволы, давай занавес! Выйду и анонсирую сейчас, что спектакля не будет. Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!

– То есть как это Офелии нет? – изумился Костромской и нахмурил брови. – Да вы шутите, что ли, мой друг?

– Совсем мне не до шуток, – огрызнулся режиссер. – Вот сейчас только, за пять минут всего, полюбуйтесь-ка, что эта идиотка пишет! «Угорела, лежу в постели и иг-рать не могу». А? Нет, каково вам это покажется? Это, батенька, не фунт изюму, с вашего позволения, а отмена спектакля.

– Замените же ее кем-нибудь, – вспыхнул Костромской. – Какое мне дело до ее фокусов?

– А вот извольте заменить: Боброва – Гертруда, Маркович и Смоленская – свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно, – девица на выходах, не предложить ли ей?

Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке, с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась.

– Кто это? – осведомился вполголоса Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки.

– Юрьева. Тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, извольте ли видеть! – ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь.

– Послушайте-ка, Юрьева, вы «Гамлета» читали когда-нибудь? – спросил Костромской, приближаясь к ней.

– Конечно, читала, – произнесла девушка тихим, смущенным голосом.

– Могли бы сыграть вот сейчас Офелию?

– Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть. Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку.

– Видите ли... Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка! Вы нас всех выручите!

Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, года три тому назад, своей удивительной игрой пробудил в ее молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие, и часто, после того как видела его в «Кине», или в «Семье преступника», или в «Уриэле Акоста», она плакала по ночам. Величайшим и никогда, по-видимому, не достижимым счастьем она считала тогда возможность... не говорить с Костромским, нет, нет об этом она не смела и мечтать, а только видеть его вблизи, в обыденной обстановке.

Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованный славой и пресыщенный женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиций двух синих больших глаз, постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием.

– Ну, так как же? Можно принять ваше молчание за согласие? – настаивал Костромской, с пытливой лаской заглядывая в лицо девушке и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой – он знал! – невозможно устоять женщине.

Рука Юрьевой дрогнула в руке артиста, ресницы ее глаз опустились, и она ответила покорно:

– Хорошо! Я сейчас оденусь.

### III

Занавес поднялся, и, как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков.

Костромской, стоя около трона короля, много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором ярусы театра сверху донизу.

Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог:

Сколько нам ни драгоценна память брата,  
Похищенного смертью, и прилично б было  
Предаться скорби о его потере,  
Но благо общее и мудрость наша  
Заставили нас поступить иначе...

Энтузиазм толпы взволновал Костромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета:

Побольше брата и поменьше сына... –

прозвучали такой мрачной иронией и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей. И на лицемерное утешение королевы Гертруды:

Таков наш жребий, всех живущих, умирать, –

он медленно, с упреком поднял на нее свои длинные, до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой:

Да, королева, – всем живущим умирать,

Таков наш жребий.

После этих слов, проникнутых тоской по умершем отце, отвращением к жизни, покорившейся пред роком, и горькой насмешкой над легкомыслием матери, Костромской почувствовал особым, тонким, необъяснимым чутьем опытного актера, что теперь публика всецело принадлежит ему, потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь.

Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы:

Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахом,  
О, для чего ты крепко, тело человека!

Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен. Он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полусшепота, то переходил в рыдания, едва сдерживаемые усилиями воли.

И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова:

Но сокрушайся, сердце,  
Когда язык мой говорить не смеет!

– Нет-с, публика знает Костромского, и Костромской знает публику, – сказал артист, выходя после первого акта за кулисы. – Эй ты, крокодил, водки! – обратился он тотчас же к подошедшему парикмахеру.

#### IV

Ну что же, папаша, разве, по вашему мнению, не хорош? спросил маленький актер на выходах у Яковлева, патриарха провинциальных театров, игравшего сегодня короля.

Оба стояли на лестнице, ведущей из уборной на сцену. Яковлев пожевал своими толстыми, отвисшими губами.

– Хорош! Хорош-то хорош, а все-таки... мальчик. Кто видел в «Гамлете» Мочалова, того, братец ты мой, уже ничем не удивишь. А я, братец мой, еще вот таким поросенком, как ты, был, когда удостоился этого счастья. И когда умирать буду, так вспомню этот самый миг, как блаженнейший в моей жизни. Понимаешь ли, когда на сцене он вставал с полу и говорил: «Оленья ранили стрелой», – так зрители, как один человек, поднимались, не смеядохнуть, со своих мест. А вот ты нарочно посмотри, что он сделает в этой сцене.

– Очень уж вы строги, Валерий Николаич.

– Ничего не строг. Да вы и смотреть-то, по правде говоря, не умеете. Ты думаешь, я на кого гляжу?

– А на кого-с?

– Ты посмотри-ка, братец мой, на Офелию... Вот это – актриса!

– Да ведь она, Валерий Николаевич, на выходах.

– Идиот! Ты ведь небось и не заметил, как она это сказала:

Он о любви мне говорил, но так  
Был нежен, так почтителен и робок!

Конечно, не заметил. А я вот скоро тридцатый год на сцене и скажу тебе, что еще ничего подобного не слышал. Это – талант. И помяни мое слово, что ее в четвертом акте публика так примет, что твоему Костромскому жарко делается. То-то!

#### V

Трагедия шла. Предсказание патриарха, по-видимому, сбывалось. Увлечения Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелище громадной толпы поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, которые он всего года два-три тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене.

Костромской, опьяненный первым шумным криком, который ему сделала публика, уже растратил в первом действии этот незначительный запас. Его воля ослабла, приподнятые нервы размякли, и даже усиленные приемы алкоголя не могли оживить их. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла, и хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обаянию его знаменитого имени.

Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперед Офелия – Юрьева. С этой незаметной актриской, исполнявшей до сих пор самые невыигрышные роли наперсниц и гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония – нежной, кроткой и послушной девушки, с ее глубокими чувствами и сильной любовью, с ее душой, отравленной ядом печали.

Юрьевой еще не рукоплескали, но за ней уже следили, и, когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, вырывая у него внимание толпы и успех, а зрители так же бессознательно следили за этой борьбой.

Третий акт был роковым для Костромского.

В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король и Полоний условливаются, спрятавшись, подслушать разговор Гамлета с Офелией, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низко упавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге.

Быть или не быть – вот в чем вопрос!

– произнес он едва слышно, весь погруженный в тяжелую задумчивость, не замечая Офелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках.

Этот пресловутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Несколько лет назад, в этом же городе, на этой же самой сцене, после того как Костромской заканчивал монолог воззванием к Офелии, в театре наступала на несколько мгновений та странная, чудная тишина, которая говорит красноречивее самых шумных аплодисментов. Зато потом какой восторг охватывал всех зрителей, начиная от скромного посетителя последнего ряда галереи и кончая изысканным обществом лож бенуара!..

Увы, теперь и сам Костромской, и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого.

Ужасное сознание робкой думы!  
И яркий свет могучего решенья  
Бледнеет перед мраком размышленья,  
И смелость быстрого порыва гибнет,  
И мысль не переходит в дело,

– читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти, и ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, упадет перед ней на колени, произнесет последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии. И вот он заметил Офелию, обернулся к зрителям с осторожным предупреждением: «тише!», затем, быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул:

Офелия! О нимфа,



Помяни грехи мои в молитвах!

– и тотчас же встал, ожидая взрыва рукоплесканий.

Но рукоплесканий не было. Публика недоумевала, оставаясь холодна, и все внимание перенесла на Офелию.

Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить, и только когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его: «Принц, здоровы ли вы?» – голос, в котором дрожали слезы сожаления о погибшей любви, – он сразу, в один миг понял все.

Это был момент страшного просветления. Костромской ярко и беспощадно сознал: и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение, и безусловно близкий конец своей шумной, но короткой славы.

О, с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную, невинную и – он мучительно чувствовал это – такую талантливую! Ему захотелось броситься на нее, ударить, свалить на землю, истоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью. Но он сдержал себя и упавшим голосом ответил:

Благодарю покорно, – я здоров.

После этой сцены Костромского вызывали; но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, раздавалось с галереи, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти.

## VI

Странствующие актеры играли «Убийство Гонзаго». Костромской, в стороне от придворных, полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом:

– Послушайте, мадам! Как вас? Послушайте!

Она слегка наклонилась к нему и отозвалась также шепотом:

– Что?

– Какие у вас красивые ноги! Послушайте... Вообще вы вся... этакая милочка.

Юрьева молча отвернула от него лицо.

– Ей-богу, милочка, – не унимался Костромской. – Скажите, у вас в труппе, наверно, есть любовник?

Она продолжала молчать.

Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его.

– Есть? Это оч-чень, оч-чень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал... Актриса ведь вы – простите за откровенность – никакая. Что же вам на сцене-то делать?

К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага.

А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои.

## VII

Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранный соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина.

И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей.

Моего вы знали ль друга?  
Он был бравый молодец.  
В белых перьях, статный воин,  
Первый Дании боец.

– Ах, бедная Офелия! Что ты поешь? – спросила ее с участием королева. Безумные глаза Офелии с изумлением остановились на королеве, точно она раньше не замечала ее.

– Что я пою? – спросила она с изумлением. – Послушайте, какая песня:

Но далёко, за морями,  
В страшной он лежит могиле,  
Холм на нем лежит тяжелый,  
Ложе – хладная земля.

Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя, все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержа, ни предела своим прихотям и страстям, разгоралась теперь страшная, нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвала из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разразится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей.

«Все это будет хорошо, поверьте, только потерпите... А мне хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю, – слышал он проникнутые безумной тоской слова Офелии. – Брат все это узнает, а вас благодарю за совет. Скорее карету! Доброй ночи, моя милая, доброй ночи!..»

Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого: до такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженною овацией публики.

– Юрьева-а! Bravo-o-o!..

Она вышла и раскланялась.

Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала:

– Позвольте мне пройти.

– Будьте осторожнее, молодая особа! – возразил он злобно и заносчиво. – Если вам хлопают кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться! – И, видя ее молчаливый испуг, он, еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: – Да проходите же, черт возьми, окаменелость вы этакая!..

## VIII

Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал еще пьянее, чем прежде: он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась, ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином.

Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении.

– Александр Евграфыч! Помилуйте! Что вы делаете? Сейчас же ваш выход!

– Оставьте меня, оставьте! – слезливо и в нос пробормотал Костромской, вытирая лицо полотенцем. – Я уже все сыграл... оставьте меня в покое!

– Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет.

– Оставьте же меня! – закричал Костромской.

Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах.

Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл «все». Он сидел теперь один, запершись на ключ в своей уборной, перед зеркалом, между двумя горевшими с легким треском газовыми рожками, и по старой привычке тщательно вытирал лицо, размазывая по нем пьяные, но горькие слезы. Точно в тумане вспоминался ему целый ряд блестящих триумфов, сопровождавших первые годы его карьеры. Венки... букеты... тысячные подарки... вечные восторги толпы... лесть газет... зависть товарищей... баснословные бенефисы... обожание красивейших женщин... Неужели все это прошло? Неужели его талант выдохся, исчез? Может быть, даже давно выдохся: год или два тому назад? А он, Костромской, что же он теперь такое? Тема для грязных закулисных анекдотов, предмет общих насмешек и недоброжелательства, человек, оттолкнувший от себя всех близких своей черствой мелочностью, эгоизмом, нетерпимостью и разнузданной заносчивостью... Конечно!

«И если бы всеильный, – мелькало привычными обрывками в уме Костромского, – не запретил греха самоубийства... О боже, боже!...» – И жгучие, бессильные слезы текли по его когда-то красивому лицу, смешиваясь с не сошедшей еще краской.

Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами, пошел Костромской, минуя кучи наваленного всюду бутафорского хлама, к выходу.

– Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно женские рыдания.

Кто здесь? – окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости.

Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились.

– Кто тут плачет? – вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву.

Девушка плакала, и ее худенькие плечи судорожно вздрагивали.

Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым, проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя, против обыкновения:

– Дитя мое! Я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я у вас не прошу – я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня... Сегодня, только сегодня я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит пред этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями, мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы... Ах, ведь вы поймете, что я не рисуюсь пред вами!.. Да. Знаете ли вы, что в последние пять лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего. У ног моих, у ног безграмотного приказчика, лежала толпа. И вдруг в одно мгновение кувырком полететь с этой чудовищной высоты!.. – Он закрыл лицо руками. – Ужасно!

Теперь Юрьева уже перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского.

– Видите ли, дорогая моя, – продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, – у вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене! Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги бездарностей, про двусмысленное покровительство театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это – вздор! Все это – ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но, – голос Костромского нервно задрожал, – не переживайте своей славы! Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает в вас священный огонь! Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика. И, быстро отвернувшись от Юрьевой, хотевшей что-то сказать ему и даже уже протянувшей вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены.

– Послушайте, Александр Евграфыч, – догнал его на подъезде режиссер, – идите же в кассу получить деньги...

– Отвяжитесь от меня! – досадливо отмахнулся рукой Костромской. – Я кончил... Я все кончил.

<1896>

## Наталья Давыдовна

Она шестнадцать лет была классной дамой в N-ском институте благородных девиц и пользовалась исключительным, беспримерным уважением со стороны как директрисы, так и всего высшего начальства. В ней чтили ее педагогическую строгость, суровую преданность делу и многолетний опыт. Между другими классными дамами ходили слухи, что она пользуется у директрисы привилегией интимных докладов после вечернего чая. Поэтому ее не любили, сторонились от нее и побаивались.

Институтки трепетали перед ней, и класс ее всегда был образцовым по благонравию и успехам: этого, однако, она достигала без криков, без наказаний, даже без жалоб родителям девочек и начальству. Было что-то властное в ее холодном, немигающем взоре, чувствовалась уверенная сила в спокойном тоне ее голоса. Бойкая школьная семья ей одной из всех дам не могла дать хлесткого ходячего прозвища.

Окончив курс в институте с золотой медалью, она в нем же осталась классной дамой. У нее не было ни детства, ни прошлого, ни чего-нибудь похожего на самый невинный институтский роман – точно она и на свет божий родилась только для того, чтобы стать классной дамой.

Однако она была красива. У нее было лицо с тонкими чертами, желтоватое и смуглое, усыпанное хорошенькими родинками. Такие лица, слегка чахоточного типа, всегда нравятся мужчинам. Ее талии завидовал весь институт. Тем не менее никто не покушался за нею ухаживать. Каждому казалось, что он одним легкомысленным помыслом обидит эту девушку, всю себя посвятившую воспитанию детей.

Кто-то из знатных попечителей института назвал ее «бессменным часовым». Действительно, службе она посвящала двадцать часов в сутки – остальные четыре часа шли на сон. Впрочем, иногда, проснувшись среди ночи, она неслышными шагами обходила дортуары, как и всегда туго затянутая корсетом, застегнутая на все пуговицы форменного платья. От нее не укрывалась ни одна мелочь из серой жизни ее птичника, точно она обладала способностью читать помыслы в самом их зерне.

За все время своей долгой службы Наталья Давыдовна только однажды воспользовалась долгим отпуском – именно тогда, когда, по совету докторов, она вынуждена была уехать на четыре месяца для поправления своего расшатанного службой здоровья, купаться в одесских лиманах. Кроме этого случая, она почти не покидала стен института. Только изредка, не чаще раза в два или три месяца, она испрашивала позволения провести ночь с субботы на воскресенье у своей больной тетки, жившей где-то на самом краю города и страдавшей несколько лет подряд жестокой женской болезнью, не позволявшей этой почтенной женщине никогда вставать с кресла.

Но, проведя мучительную ночь у постели больной, страдавшей страшной бессонницей и к тому же капризной и раздражительной, Наталья Давыдовна рано утром уже являлась в институт, чтобы вместе со своим классом поспеть к обеду. По окончании службы, когда директриса, первой приложившись ко кресту, становилась на видном месте около клироса, а все классные дамы, возвращаясь от креста, делали ей реверансы, она знаком головы подзывала к себе Наталью Давыдовну:

– Eh bien! Comment se porte madame votre tante?<sup>42</sup>

– Princesse, dieu seul peut la sauver. Elle souffre beaucoup<sup>43</sup>, – отвечала классная дама, вздыхая

<sup>42</sup> Ну, как чувствует себя ваша тетушка? — фр.

<sup>43</sup> Только бог может ее спасти, княгиня. Она очень страдает — фр.

и глядя признательно на начальницу.

– Pourquoi n'etes-vous pas restée encore auprès d'elle?

– Je suis venue pour remplir mon devoir, princesse.

– Mais vous meme, mon enfant, vous avez l'air maladif.

– Ma tante n'a pas fermé l'oeil pendant toute la nuit.

– Pauvre enfant! Vous perdez votre santé! Allez vite vous reposer, ma chérie<sup>44</sup>. Я сейчас же прикажу прислать вам бульону и вина.

Вид в эти воскресенья у Натальи Давыдовны бывал совсем болезненный. Казалось, она только что встала после тяжкого недуга или очнулась от безумной оргии; так было бледно и истомлено ее лицо со ввалившимися, окруженными тенью глазами, с пересохшими и искусанными губами.

Но дело в том, что никакой тетки у Натальи Давыдовны вовсе даже и не было. И всего удивительнее то, что в продолжение шестнадцати лет никто в этом ни разу не усомнился.

Раз в два или три месяца, в субботу, после всенощной, Наталья Давыдовна скромно спрашивала директрису:

– Ne permettez vous, princesse, d'aller voir ma tante?

– Mais certainement, mon enfant. Seulement ne fatiguez pas trop<sup>45</sup>.

И Наталья Давыдовна, убедившись, по обыкновению, что ее птичник спит крепким сном утомившейся за день молодости, медленно выходила из институтских ворот, мимо почтительно кланявшихся ей сторожей и швейцаров.

Отойдя довольно далеко от ограды, она вынимала из кармана густую черную вуаль, окутывала ею лицо, и вдруг вся мгновенно изменялась. Это уже была кокетка, искательница приключений, швейка из хорошего магазина – все, что угодно, только не пунктуальная и строгая классная дама. Она шла свободной, развратной, слегка развинченной походкой женщины, привыкшей принадлежать сотням мужчин. Она провожала головой встречных прохожих, вызываясь смеялась, когда ее затрагивали, и в то же время, осторожная и внимательная, она зорко следила, чтобы не попасться близко на глаза кому-нибудь, видевшему ее раньше.

Ее красивая фигура привлекала мужчин, но на все предложения она отрицательно кивала головой, отделяясь от самых настойчивых дерзким, иногда циничным восклицанием, спасаясь от пьяных бегством. Она искала. Давний опыт и безошибочный инстинкт тайной развратницы указывали ей среди сотен обращенных на нее с вожделением лиц то, которое ей было нужно. Во взгляде, в хищном профиле нижней челюсти, в плотоядной улыбке белых и мелких зубов, в походке эта Мессалина узнавала черты страстного, ненасытного и неутомимого самца и выбирала его. К красивой наружности, к возрасту, к костюму она оставалась совершенно равнодушной; иногда это бывал старик, иногда горбатый, иногда едва оперившийся кадет. Намеченная ею жертва никогда не ускользала от нее. Случайное прикосновение ее локтя, беглый взгляд, самый тон, которым она произносила шаблонные уличные фразы, заставляли желать ее близости. Без сомнения, существуют какие-то тайные, незримые нити, по которым мысли одного человека могут мгновенно сообщаться с мыслями другого, хотя бы даже только что встреченного на улице.

Она везла своего избранника куда-нибудь на край города, в грязную гостиницу с самой скверной репутацией, и целую ночь напролет, без отдыха, предавалась тем наслаждениям, какие только могло изобрести ее необузданное воображение. Утром, когда ее случайный друг, утомленный чудовищной оргией, засыпал тяжелым сном, поминутно вздрагивая, она тихо выскальзывала из постели, одевалась и, заплатив за все ночные расходы, спешила на извозчике в инсти-

<sup>44</sup> — Почему же вы не остались еще с ней?

— Я вернулась, чтобы выполнить свой долг, княгиня.

— Но у вас у самой, мое дитя, болезненный вид.

— Моя тетушка всю ночь не смыкала глаз.

— Бедное дитя! Вы губите свое здоровье. Ступайте скорей отдохнуть, моя дорогая (фр.).

<sup>45</sup> — Вы разрешите мне, княгиня, проведать мою тетушку?

— Ну, конечно, дитя мое. Вы только не слишком утомляйтесь (фр.)

тут. Ни разу никому она не дала второго свидания, хотя все, в промежутке между двумя ласками, умоляли ее об этом.

Однажды ее любовником был солдат, немолодой, очень грузный человек, кажется, штабный писарь. Это случилось в декабре. Под утро, когда стало рассветать и занавески вырисовались на побелевших окнах, он, возбужденный ее ласками, обнял ее, положил голову на ее грудь, и вдруг захрипел и остался неподвижным. Через несколько секунд, в продолжение которых Наталья Давыдовна беспокойно расспрашивала его, что с ним, писарь стал холодеть. Тогда она догадалась и, вне себя от ужаса, закричала таким отчаянным голосом, что номерная прислуга сбежалась и выломала двери.

Через полчаса явилась полиция и судебный следователь. Судебный следователь, человек пожилой и умный, сразу узнал Наталью Давыдовну, которую он видел каждый четверг в приемной зале института, куда приезжал навещать свою дочь. Он хотел замять историю, но его поразило ее бесстыдство. Оправившись от ужаса, в который ее привел мертвец, обнимавший ее нагую грудь, и видя, что все равно ее положение в институте погибло, она стала цинично откровенна. Она стояла перед следователем в одной юбке, убирала длинные волосы, закинув назад голые руки, и, не выпуская изо рта шпилек, говорила ему:

– Вас удивляет, как это шестнадцать лет никто не имел даже и тени подозрения? Ах, это-то и доставляло мне страшное удовольствие. Знаете ли, иногда, оставшись одна в своей комнате, я задыхалась от смеха, когда вспоминала об этом. Это было восхитительно! Слыть чуть ли не святой и по ночам распутничать. Да что я вам говорю! Вы, женатые мужчины, не хуже меня понимаете эти тайные наслаждения. Поверите ли: никому и в голову не приходило, что я ездила в Одессу вовсе не для лиманов, а просто потому, что была беременна.

Следователь глядел на нее с любопытством, смешанным со страхом.

– Но неужели вы ни разу не столкнулись с вашими знакомыми? – спросил он, недоумевая.

Она расхохоталась.

– Нет, к счастью, не встретила. Да все равно я ничем не рисковала, если бы и встретила. Я бы предложила ему пойти со мной – и только. Ну, скажите, вот вы именно, почтенный человек и семьянин... Разве это предложение не заставило бы вас одной своей оригинальностью побежать за мной? Вы, наверное, уже от своей дочери порядочно наслышались о моих добродетелях!

И затем, воткнувши гребенки в волосы и сев на кресло, она спокойно прибавила:

– Потрудитесь послать за посыльным. Я хочу его отправить в институт за моими вещами и документами. Кстати: распорядитесь, чтобы мне дали позавтракать.

<1896>

## Собачье счастье

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в ее лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрестка. Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собою сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул, – Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от

колбасной – до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, – и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцей. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истертый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил сверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлебываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги, – подумал Джек. – Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит болван боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом... Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапках, туловищу крокодила и серьезный мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен; это сказало в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

– Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены делают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

– Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне.

– Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал, – пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. – Вы изволили сказать: в жи...

– Да, в живодерне, – подтвердил так же холодно пудель и отвернулся.

– Извините... но я вас не совсем точно понял... Живодерня... Что же это за учреждение – живодерня? Не будете ли вы так добры объяснить?

Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности.

– Это, видите ли, mesdames, такой большой двор, обнесенный высоким, остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место.

– Эка невидаль! – послышался хриплый голос из темного угла. – Я в седьмой раз туда еду.

Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один Бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал:

– Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают!

И тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу.

– Я там бывал три раза, – продолжал пудель, – но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда (я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дорожат)... Так вот-с, в этом неприятном месте собираются зараз сотни две или три собак...

– Скажите, а бывает там порядочное общество? – жеманно спросила левретка.

– Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из...

Для усиления эффекта пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил с деланным хладнокровием:

–...из собачьего мяса.

При последних словах компания пришла в ужас и негодование.

– Черт возьми! Какая низкая подлость! – воскликнул Джек.

– Я сейчас упаду в обморок... мне дурно, – прошептала левретка.

– Это ужасно... ужасно! – простонала такса.

– Я всегда говорил, что люди подлецы! – проворчал мышастый дог.

– Какая страшная смерть! – вздохнул Бутон.

И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой:

– Однако этот суп ничего... недурен... хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче.

Пренебрегши этим дерзким замечанием, пудель продолжал:

– Впоследствии, из разговора своего хозяина, я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но, – приготовьте ваши нервы, mesdames, – но этого мало. Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки.

Отчаянные крики прервали слова пуделя:

– Какое бесчеловечие!..

– Какая низость!

– Но это же невероятно!

– О боже мой, боже мой!

– Палачи!..

– Нет, хуже палачей...

После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слу-



шателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи.

– Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? – крикнул запальчиво Джек.

– Будьте добры, укажите это средство, – сказал с иронией старый пудель.

Собаки задумались.

– Перекусать всех людей, и баста! – брякнул дог озлобленным басом.

– Вот именно-с, самая радикальная мысль, – поддержал подобострастно Бутон. – По крайности будут бояться.

– Так-с... перекусать... прекрасно-с, – возразил старый пудель. – А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволите быть с ними знакомы?

– Гм... – откашлялся дог.

– Гм... – повторил Бутон.

– Нет-с, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь... Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник, – вещи, я думаю, всем вам, господа, небызызвестные?.. Предположим что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться... Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все-с. Таков закон природы-с.

– Ну разве философию, – сказала такса на ухо Джеку. – Терпеть не могу стариков с их поучениями.

– Совершенно справедливо, mademoiselle, – галантно махнул хвостом Джек.

Мышастый дог с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом:

– Эх, жизнь собачья!..

– Но где же здесь справедливость, – заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка. – Вот хоть вы, господин пудель... извините, не имею чести знать имени...

– Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам, – поклонился пудель.

– Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености; скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями...

– Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильнее и умней, – возразил с горечью Арто. – О! мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных... Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных девять десятых голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?

– Уделит, непременно уделит, – согласились слушатели.

– Гм! – крикнул дог с сомнением.

– Кроме того, люди злы. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда – это справедливо. Но мы не лишаем друг друга жизни.

– Действительно так, – подтвердили слушатели.

– Скажите еще, – продолжал белый пудель, – разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устройении собачьего счастья? А люди это делают!

– Черт побери! – вставил энергично мышастый дог.

– В заключение я скажу, что люди лицемерны, завистливы, лживы, негостеприимны и жестоки... И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно... Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу.

Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Дог скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему.

Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору.

Дверь клетки отворилась. Все семеро только что приехавших псов вышли из нее и, повинаясь инстинкту, сбились в кучу.

– Эй, послушайте, как вас там... эй вы, профессор... – услышал пудель сзади себя чей-то голос.

Он обернулся: перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес.

– Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое, – огрызнулся старый пудель. – Не до вас мне.

– Нет, я только одно замечаньице... Вот вы в клетке-то умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали... Да-с.

– Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку?

– А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?

И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» – закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.

Но фиолетовый пес был уже около забора. Одним толчком отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока.

Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.

<1896>

## На реке

– Паныч! А паныч? – послышался за окном торопливый шепот.

Я лежал на кровати не раздеваясь, и, как ни боролся с дремотой, но именно в эту самую минуту она уже начинала качивать меня своим томным дыханием. Вслед за шепотом раздался осторожный, но настойчивый стук пальцев по стеклу. Это вызывал меня наш старый повар Емельян Иванович, с которым мы уговорились идти ночью ловить на мясо раков. Я встал и, стараясь не шуметь, отворил окошко. Через минуту я уже очутился на земле, возле Емельяна Ивановича, дрожа спросонок и от волнения, возбуждаемого во мне предстоящим удовольствием.

С непривычки я сначала ничего не мог рассмотреть.

Ночь была так черна, как бывают только черны жаркие безлунные июльские ночи на юге России. В неподвижном, точно ленивом воздухе стоял тягучий, сладкий аромат резеды, наполнявшей палисадник, и нежный, но приторный запах цветущей липы. Ни один звук не нарушал глубокой тишины, кроме далекого, утихающего тархатенья телеги.

– Мамашенька не проснулись? – спросил тревожным шепотом Емельян Иванович.

– Нет, нет, никто не слышал... Вы все захватили, Емельян Иванович? И сачок? И мясо? И лейку?

– Тсс... не шумите, паныч... Мамашенька проснутся, так нас обоих заругают... Ну идем, что ли.

Мы пошли вдоль пустыря узкой дорожкой, между двумя стенами густого, высокого, гораздо выше человеческого роста бурьяна... Мне все казалось, что вот-вот я натолкнусь на какое-то препятствие, и потому я часто останавливался и, крепко жмуря глаза, протягивал вперед руки. Мне было несколько жутко, но новизна впечатлений, а главное – их запретность, придавали им такую острую прелесть, что даже и теперь, через двадцать пять лет, вспоминая об этой ночи, я испытываю радостное и тоскливое стеснение в груди.

Вдруг я натолкнулся на Емельяна Ивановича. Он стоял и копошился над чем-то в темноте.

– Что вы делаете, Емельян Иванович? – спросил я, ощупывая руками его спину.

Старик, видимо, старался что-то отвинтить. Он отвечал мне с расстановками, тяжело пыхтя от усилий:

– Да вот хочу... ишь ты, как завернули, прах их возьми... хочу... крышку снять с факела... заржавела, должно быть... ну, теперь пошла... пошла... готова!

Я услышал чирканье спички, и керосиновый факел вспыхнул красным, коптящим, колеблющимся пламенем. Лицо Емельяна Ивановича сделалось суровым и странно изменилось. От густых бровей, носа и усов легли на него длинные, косые дрожащие тени. Мы пошли дальше. Теперь мне стало еще жутче, чем в темноте. Хорошо знакомые кусты бурьяна казались толпою обступивших нас со всех сторон призраков, тонких и расплывчатых. Пламя факела трепетало с тихим рокотом, длинная тень шедшего впереди Емельяна Ивановича металась то вправо, то влево, а длинные призраки волновались, забегали вперед, падали на землю и быстро убегали назад, исчезая в темноте за моей спиной; иногда они вдруг сдвигались в тесную толпу и покачивались, точно о чем-то сговариваясь между собой.

Бурьян кончился. Перед нами расстилалось поле. Запах липы сменился острым запахом росистой травы и меда. От недалекого Булавина повеяло прохладой. В степи кричали миллионы кузнечиков, и кричали так странно, громко и ритмично, что казалось, будто кричит всего один кузнечик.

Мы спустились к узенькой речке, которая ровной, спокойной, темной полосой протекала между невысокими, но крутыми берегами, поросшими густым лозняком. Около берега вода мелодично и монотонно хлюпала, огибая заливчики и обнажившиеся корни кустов. Емельян Иванович выбрал между двумя ивами удобное сухое местечко и воткнул длинную палку факела в глинистое дно, недалеко от берега. На воду тотчас же легло большое, дрожащее мутно-коричневое пятно, в середине которого зарыбило яркое отражение огня.

Наши приготовления были несложны. Мы обвязали тонкой бечевкой крест-накрест большой кусок мяса; на аршин выше пристроили поплавок из сухой веточки, и затем Емельян Иванович опустил эту приманку в воду, держа другой конец в руках. Я должен был с сачком, сделанным из моей старой соломенной шляпы, дожидаться, когда рак появится над водой, чтобы подхватить его. Жирное мясо опускалось очень медленно, точно тая в коричневой воде. Я долго еще видел его под водою; наконец оно исчезло, и поплавок стал неподвижно.

– Вот мы теперь с вами, паныч, и табачок покурим, – сказал Емельян Иванович, усаживаясь получше и расправляя ревматические ноги. – Ишь, на том берегу и лошадки пасутся... травку себе кушают...

Я загородил глаза ладонью от света. Река в этом месте была не широка, всего шагов десять или пятнадцать, и я разглядел двух лошадей. Одна – белая стояла боком и, повернув к нам костлявую шею, смотрела на нас пристально и равнодушно. Дальше за ней виднелась только морда, наклоненная к земле, и связанные ноги другой лошади, должно быть, гнедой или рыжей масти; я слышал, как она звучно фыркала и хрустела челюстями, пережевывая траву. Еще дальше глаз тонул в непроницаемой, густой тьме, из которой выдвигалось вперед несколько ближних кустов, захваченных светом факела; сплошные купола их бледных, тонких и длинных листьев казались какой-то причудливой оперной декорацией. Звезды отражались в воде, мерцая и расплываясь.

Поплавок дрогнул и стал колыхаться.

Я зашептал взволнованно:

– Емельян Иванович... Клюет! Тащите ради бога!..

Но старик только покачал с досадою головой. Поплавок продолжал двигаться, описывая круги и изредка коротко ныряя передней частью под воду. Я – стараясь не дышать, упершись ногами в торчащий из реки пень и протянув вперед палку с сачком – мучился нетерпеливым ожиданием. Вдруг поплавок совершенно исчез под водою. Емельян Иванович медленно потянул веревку вверх. Через минуту я увидел казавшийся громадным кусок мяса и клешни вцепившегося в него рака.

– Держите! – воскликнул старик и быстро дернул за веревку.

Я поставил сачок... Наши движения инстинктивно и ловко сошлись: в сачке, из которого звонко капала в реку вода, бился, судорожно щелкая шейкой, огромный черный рак. Емельян Иванович взял его двумя пальцами за спину и с торжеством поднял на воздух. Рак был более

полтора четвертей. Он продолжал щелкать шейкой, поводил в стороны передними лапами, сводя и разводя клешни, и шевелил длинными усами. Емельян Иванович бросил его в лейку.

После первого рака ловля пошла очень успешно. То и дело старик вытаскивал из сачка черных уродов, радуясь им так же искренно и громко, как и я, десятилетний мальчишка. И к каждому раку он непременно приговаривал что-нибудь забавное, прежде чем его опустить в лейку.

– А, господин рачитель, попались? – спрашивал он с комическим злорадством. – Пожалуйте, пожалуйста в компанию. Там вам веселее будет.

Или:

– Мое почтение, господин Раковский. Ждали с нетерпением вашего приезда. Милости просим.

Три или четыре рака от нас ушли. В этих случаях мы горячились и осыпали друг друга едкими упреками. Но едва поплавок вздрагивал в воде, – наша вражда мгновенно утихала, и мы снова с дрожащими от волнения руками, шепотом подзадоривали друг друга:

– О-о! Вот как потянул! Должно быть, громадный Раковецкий клюет!..

В младенческом восторге мы называли наших жертв самыми чудовищными именами. Необычное бодрствование, красота ночи и страсть рьяных рыбаков взволновали и опьянили нас.

Но после десятка дело пошло хуже. Двенадцатого рака мы дожидались около четверти часа.

– Что это ничего не ловится. Емельян Иванович? – спросил я раздраженно.

Он развел руками.

– Господь его знает. А может быть, те, что от нас по вашей милости ушли, взяли да и рассказали другим, какие мы есть на свете хитрые люди. Почем знать?

– Ну вот пустяки! Разве может рак рассказывать что-нибудь? У него и голоса-то нет...

– Э! Вы не говорите так. У него голоса нет, нет, а все-таки он – животное умное. Даром что! Уж как-нибудь там... жестами, что ли, а наверно передаст...

Мы молчали, на меня нашло то странное, неподвижное очарование тишины, которое испытывается только в самом раннем детстве. Я глядел, не отрываясь, на красный огонь факела. В голове у меня не было ни одного обрывка мысли, но ощущение чего-то стройного, прекрасного и нежного переполняло мою душу. И в те же минуты мне казалось, что я чувствую, как мимо меня торжественно проплывает что-то огромное, как мироздание...

Не время ли проходило около меня?..

Вдруг пахнуло ветерком. Привлеченная нашим огнем, мимо нас низко, легко и бесшумно пролетела какая-то большая серая птица. Я вздрогнул. Очарование исчезло, и мне стало немного скучно.

– Скажите, Емельян Иванович, – спросил я лениво, – почему эта река называется Булавин? Старик пожевал губами.

– А бог ее знает. Назвали Булавином добрые люди, и называется она Булавином.

– И все?

– Конечно, все. Рассказывают хохлы, что здесь будто бы, в Галочьей Скелье, когда-то жил разбойник, по фамилии Булавин... Ну да мало ли чего эти глупые хохлы болтают. Всего не переслушаешь.

Я так и задрожал от нетерпения.

– Голубчик, Емельян Иванович, расскажите. Миленький, расскажите про Булавина...

– Да что тут рассказывать? – проворчал старик и принялся насасывать свою короткую носогрейку. – Чего тут рассказывать-то? Ну, жил здесь будто бы этот самый Булавин и разбойничал. Был он раньше в пугачевской шайке, а как Пугачева изловили да увезли в Москву, Булавин сюда и перешел с Яика. Набрал он себе шайку таких же, как он, удалых добрых молодцев и давай крещеных людей разорять да насильничать. Был он, говорят, лютее всякого зверя и не то, чтобы резал и жег из нужды, а так себе... из удовольствия... кровь больно уж любил. Бедным людям Булавин сам своею рукою головы рубил, а над богатыми норовил так, чтобы раньше еще натешиться. Нападет он, например, на помещичий хутор, сожжет его дотла, разграбит, а потом мужа и жену, хозяев то есть, велит на цепь посадить, да еще рядышком, да еще друг к дружке лицом. «Любуйтесь, мол, милуйтесь, дорогие хозяйева...» Такой зверь был страшный... А пой-

мать его никак не удавалось, хотя за ним сколько раз в погоню царские войска ходили... Был вчера здесь, а нынче нет, и поминай, как звали... Потому что мужики его боялись хуже смерти и доносить на него не смели.

– Так его и не поймали?

– Нет, потом поймали. Девка его выдала. Полюбил он девуку, дочь здешнего мельника, и украл ее из родительского дома. Однако девка эта охотою не желала идти. «Ты, говорит, злодей, ты дьявол во плоти, на тебе по самую маковку христианская кровь засохла...» Ну, он ее, конечно, не послушал... взял силой. Тогда она ему и сказала: «Не хотел ты меня пожалеть, погубил ты мою девичью молодость и красоту, так смотри же, и я тебя не жалею за это». Так и сделала. Однажды, когда Булавин со своими молодцами бражничал у жида в корчме, пошла эта самая мельничиха к полковнику, который был в эту погоню назначен, и все выдала. «Вот, дескать, он там-то и там, сокол наш ясный, идите и возьмите его». Ну, солдаты, конечно, сейчас оцепили корчму и закрыли крышу, а как только Булавин из окна выпрыгнул, они на него невод набросили и связали. Потому что иначе никто к нему приступить не решался. Да. Так и связали его, голубчика, и отправили связанного в Москву, а в Москве ему палач отрубил сначала руки, потом ноги, а потом уж голову. А остатки сожгли на костре и прах развеяли на все четыре стороны.

Старик замолчал. Начинало светать. Это было заметно по тому, что мгла стала слегка сероватой, и на другом берегу около лошадей я уже мог разглядеть трех крестьянских ребятишек, лежавших на животах. Емельян Иванович вдруг заволновался и, придвинувшись ко мне, заговорил пониженным, испуганным голосом:

– А ведь это неправда, что его в Москве четвертовали, потому что в Москву привезли не его, а какого-то другого казака. А самому Булавину господь придумал другое наказание... Говорят, что ангелы божьи схватили разбойника на руки, вынесли из огня и заключили в глубокую подземную пещеру, около Галочьей Скельи... И должен Булавин в той пещере, – голос старика становился все таинственнее, – сидеть до второго пришествия... Цепь железная обвивает его тело, а длинная-предлинная желтобрюхая змея день и ночь гложет его сердце... Хохлы, которые ездили мимо, говорят, что слышно иногда, как ворочается проклятый богом разбойник под землею и гремит своею цепью... все разорвать ее хочет...

Холод ужаса пробежал вдруг волною по моему телу, отвердели волосы на голове. Я боялся обернуться назад.

– Говорят еще, – продолжал старик, со страхом озираясь кругом, – говорят еще, что раз в год выходит Булавин из своей пещеры... Случается это летом, в воробьиную ночь... Ходит он по лесам, по болотам и полям; ростом выше самых больших деревьев, а на плече у него целая сосна вместо дубинки. И если в эту ночь, спаси господи, встретит он кого-нибудь на дороге, сейчас заревет страшным голосом и своей дубинкой убивает. Потому в воробьиные ночи никто уж из дому не выходит, а старухи до утра молятся перед образами...

Емельян Иванович поглядел на мое искаженное ужасом лицо и прибавил с неестественным смехом:

– Ну, да ведь это пустяки, басни одни. Мало чего хохлы не набрежут. Разве это может случиться, чтобы целый век змея у человека сердце глодала?.. Глупости одни... Ох, господи, царица небесная! – закричал старик, делая усилие встать. – Пойдем-ка, паныч, домой... все равно больше ничего не поймаешь...

Мы собрали наше имущество и пошли. Опять, когда мы проходили бурьяном, суетились и плясали высокие призраки, и я, замирая и холодея от страха, держался рукой за фалды повара пиджака. Мне все казалось, что если я погляжу в сторону, то увижу где-нибудь на горизонте шагающую с дубинкой на плече огромную человеческую тень, возвышающуюся над деревьями нашего сада, которые уже обрисовывались смутно в туманном рассвете.

<1896>

## Блаженный

Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизан-

ные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными. Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда сквозь сплошную ограду из густых, старых лип и раскидистых каштанов, похожих с длинными, торчащими кверху розовыми цветами на гигантские царственные люстры. Резвая нарядная детвора наполняла сквер. Подружки играли в серсо и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись, скорыми шагами по дорожкам. Меньшие играли в «краски», в «барыня прислала сто рублей» и в «короля». Наконец самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличи. Няньки и бонны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках, прямые, как палки, углубленные в чтение или работу.

Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. Мы тоже обернулись туда. Рослый бородатый мужик катил перед собою кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо: мальчик лет восемнадцати – двадцати, с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провез кресло мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз.

– Ах, бедный, бедный человек! – произнес тихо мой спутник.

В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал Зимина давно: это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастью.

– Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек? – возразил я, желая вызвать Зимина на разговор.

– Почему же вы отказываете ему в этом? – спросил, в свою очередь, Зимин.

– Ну... как вам сказать? Это же всем ясно... У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного: ни разума, ни речи, ни воли... Собака или кошка обладают этим качеством в гораздо большей степени...

Но Зимин прервал меня.

– Извините, пожалуйста, я, наоборот, глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены... Живут где-то глубоко под звериными ощущениями... Видите ли... со мной был один случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминание о нем никогда не покидает меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным чуть ли не до слез... Если вы позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость.

Я поспешил попросить его об этом, и он начал:

– В тысяча восемьсот... году я поехал ранней осенью в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице, на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Аничкова моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера.

Петербург меня неприятно поразил: все время он был окутан унылым, серым покровом затяжного дождя. Но академия, когда я впервые туда явился, прямо меня подавила, ошеломила и уничтожила своей грандиозностью. Я, как теперь, помню ее огромную швейцарскую, широкую лестницу с мраморными перилами, анфилады высоких, строгих аудиторий и навошенные, блестящие, как зеркала, паркетные, по которым мои провинциальные ноги ступали так неуверенно. Офицеров в этот день собралось человек до четырехсот. На скромном фоне армейских зеленых мундиров сверкали гремящие палаши кирасиров, красные груди уланов, белые колеты кавалергардов; пестрели султаны, золотые орлы на касках, разноцветные обшлаги, серебряные шашки. Все это были соперники, и, поглядывая на них, я с гордостью и волнением пощипывал то место, где предполагались у меня в будущем усы. Когда мимо нас, застенчивых пехотинцев, пробегали с портфелями под мышкой необыкновенно озабоченные полковники генерального штаба, мы сторонились от них в благоговейном ужасе.

Экзамены должны были тянуться более месяца. У меня не было ни одной знакомой души

во всем Петербурге, и по вечерам, приходя домой, я испытывал скуку и томление одиночества. С товарищами же и говорить не стоило: все они были помешаны на синусах и тангенсах, на качествах, которым должна удовлетворять боевая позиция, и на среднем квадратическом отклонении снарядов. Вдруг я случайно вспомнил, что мой отец советовал мне разыскать в Петербурге Александру Ивановну Грачеву, нашу дальнюю родственницу, и зайти к ней. Я взял справку в адресном столе, отправился куда-то на Гороховую и с трудом, но все-таки нашел комнату Александры Ивановны, жившей на заднем дворе у своей сестры.

Я вошел и остановился, почти ничего не видя. Спиной ко мне у единственного маленького окна с мутно-зелеными стеклами стояла полная женщина. Она нагнулась над керосиновой плитой, от которой шел густой чад, застилавший комнату и наполнявший ее запахом керосина и пригорелого масла. Женщина обернулась назад и стала присматриваться. В это время откуда-то из угла выскочил и быстро подошел ко мне мальчик, в распоясанной блузе и босиком. Взглянув на него пристальней, я сразу догадался, что это идиот, и хотя не отступил перед ним, но скажу откровенно, что в сердце мое стукнуло чувство, похожее на трусость. Идиот глядел на меня бессмысленно и издавал странные звуки, нечто вроде «урлы, урлы»...

– Не бойтесь, он не тронет, – сказала женщина, идя мне навстречу. – Чем могу служить?

Я назвал себя и упомянул про своего отца. Она обрадовалась, оживилась, разохалась и стала извиняться, что у нее не прибрано. Идиот принялся еще громче кричать свое: «урлы, урлы...»

– Это сыночек мой, он такой от рождения, – сказала Александра Ивановна с грустной улыбкой. – Что ж... божья воля... Степаном его зовут...

Услышав свое имя, идиот крикнул каким-то птичьим голосом:

– Папан!

Александра Ивановна похлопала его ласково по плечу.

– Да, да. Степан, Степан... Видите, догадался, что о нем говорят, и рекомендуется.

– Папан! – крикнул еще раз идиот, переводя глаза то на мать, то на меня. Чтобы оказать Александре Ивановне внимание, я сказал ему: «Здравствуй, Степан» и взял его за руку. Она была холодна, пухла и безжизненна. Я почувствовал брезгливость и только из вежливости спросил:

– Ему, наверно, лет шестнадцать?

– Ах, нет, – ответила Александра Ивановна. – Это всем так кажется, что ему шестнадцать, а ему уже двадцать девятый идет... Ни усы, ни борода не растут. Мы разговорились. Грачева оказалась тихой, робкой женщиной, забитой неудачами и долгой нуждой. Суровая борьба с бедностью совершенно убила в ней смелость мысли и способность интересоваться чем-нибудь выходящим за узкие пределы этой борьбы. Она жаловалась мне на дороговизну мяса и на дерзость извозчиков, рассказывала об известных ей случаях выигрыша в лотерею и завидовала счастьем богатых людей. Во все время нашего разговора Степан не сводил с меня глаз. Видимо, его поразило и заинтересовало вид моего военного сюртука. Раза три он исподтишка протягивал руку, чтобы притронуться к блестящим пуговицам, и тотчас же отдергивал ее с видом испуга.

– Неужели ваш Степан так и не говорит ни одного слова? – спросил я Александру Ивановну. Она печально покачала головой.

– Нет, не говорит. Есть у него несколько собственных слов, да что же это за слова! Так, бормотанье! Вот, например, Степан у него называется «Папан», кушать хочется – «мня», деньги у него называются «ТЭКи»... Степан, – обратилась она к сыну, – где твои тэки? Покажи нам твои тэки.

Степан вдруг спрыгнул со стула, бросился в темный угол и присел там на корточки. Я услышал оттуда звон медной монеты и те же «урлы, урлы», но на этот раз ворчливые, угрожающие.

– Бойся, – пояснила Александра Ивановна. – Хоть и не понимает, что такое деньги, а ни за что не позволит дотронуться... Даже меня к ним не подпускает... Ну, ну, не будем трогать тэки, не будем, – принялась она успокаивать сына... Я стал довольно часто бывать у Грачевой. Ее Степан заинтересовал меня, и мне пришла в голову мысль вылечить его по системе какого-то швейцарского доктора, пробовавшего действовать на своих слабоумных пациентов медленным путем логического развития. «Ведь есть же у него несколько слабых представлений о внешнем мире и об отношении явлений, – думал я. – Неужели к этим двум-трем идеям нельзя с помощью комбинации прибавить четвертую, пятую и так далее? Неужели путем упорной гимнастики

нельзя хотя немного укрепить и расширить этот бедный ум?»

Я начал с того, что принес Степану куклу, изображающую ямщика. Он очень обрадовался, расхохотался и закричал, указывая на куклу: «Папан!» По-видимому, однако, кукла возбудила в его голове какие-то сомнения, и в тот же вечер Степан, всегда благосклонный ко всему маленькому и слабому, попробовал на полу крепость ее головы. Потом я приносил ему картинки, пробовал заинтересовать его кубиками, разговаривал с ним, называя разные предметы и показывая на них. Но, или система швейцарского доктора была неверна, или я не умел ее применять на практике, только развитие Степана не подвигалось ни на шаг. Зато он необыкновенно полюбил меня в эти дни. Когда я приходил, он кидался мне навстречу с восторженным ревом. Он не спускал с меня глаз; когда я переставал обращать на него внимание, он подходил и лизал, как собака, мои руки, сапоги или одежду. После моего ухода он долго не отходил от окна и выпускал такие жалобные вопли, что другие квартиранты жаловались на него хозяйке. А мои личные дела были очень плохи. Я провалился – и провалился с необычайным треском – на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк. Мне кажется, я во всю мою жизнь не забуду того ужасного момента, когда, выйдя из аудитории, я проходил величественный вестибюль академии. Боже мой, каким маленьким, жалким и униженным казался я сам себе, сходя по этим широким ступеням, устланым серым байковым ковром с красными каемками по бокам и с белой холщовой дорожкой посредине.

Нужно было как можно скорее ехать. К этому меня побуждали и финансовые соображения: в моем бумажнике лежали всего-навсего гривенник и билет на один раз в нормальную столовую...

Я думал получить поскорее обратные прогоны (о, какая свирепая ирония заключалась для меня в последнем слове!) – и в тот же день марш на вокзал. Но оказалось, что самая трудная вещь в мире – именно получить прогоны в Петербурге. Из канцелярии академии меня посылали в главный штаб, из главного штаба – в комендантское управление, оттуда – в окружное интендантство, а оттуда – обратно в академию и наконец – в казначейство. Во всех этих местах были различные часы приема: где от девяти часов утра до двенадцати, где от трех до пяти часов. Я всюду опаздывал, и положение мое становилось критическим. Вместе с билетом в нормальную столовую я истратил легкомысленным образом и гривенник. На другой день при первых приступах голода я решил продать учебники. Толстый барон Вега в обработке Бремикера и в переплете пошел за четвертак, администрация профессора Лобко за двадцать копеек, солидного генерала Дуропа никто не брал.

Еще два дня я был в полусытом состоянии. На третий день из прежних богатств осталось только три копейки. Я скрепя сердце пошел просить займы у товарищей, но они все отговаривались «торричеллиевой пустотой» карманов, и только один сказал, что хотя у него и есть несколько рублей, но все-таки он займы ничего не даст, «потому что, – объяснил он с нежной улыбкой, – часто, дав другу в долг денег, мы лишаемся и друга и денег, – как сказал однажды великий Шекспир в одном из своих бессмертных произведений...».

Три копейки! Я предавался над ними трагическим размышлением: истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод делается невыносимым, и тогда купить на них хлеба?

Как я был умен, что решился на последнее! К вечеру я проголодался, как Робинзон Крузе на своем острове, и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окна громадные хлебы: у некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака. Наконец я решился войти. Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги. Я почувствовал ненависть к этим счастливицам...

– Что вам угодно? – спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном:

– Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба...

Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб. А вдруг, – думалось мне, – фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане пять – десять рублей и приказать буфетчику: «Запиши там за мной, любезный», но как быть, если не хватит



одной копейки. Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкой в рот двух больших вкусных кусков.

Да-с. Я все это рассказываю в почти веселом тоне... Но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей, очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов... Я вам скажу искренно, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне... Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда наконец я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна насилу отогнала его.

Мне очень было тяжело просить бедную, испуганную суровой жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это.

– Александра Ивановна, – сказал я, – мне есть нечего. Дайте мне, сколько можете, взаймы... Она всплеснула руками.

– Голубчик мой – ни копейки. Вчера сама заложила брошку... Сегодня еще было кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть...

– Не можете ли вы взять немного у сестры? – посоветовал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом:

– Что вы, что вы, дорогой. Да ведь я и так из милости живу у нее. Нет, уж лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись.

Но, что мы ни придумывали, все оказывалось несбыточным. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер, и по комнате расплзалась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя брошенным на край света, одиноким и униженным.

Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил:

– Тэки, тэки, тэки...

Я не понимал. Тогда он бросил свои деньги мне на колено, крикнул еще раз «тэки» и убежал в свой уголок.

Ну, что скрывать? Я заплакал, как маленький мальчик. Ревел я очень долго и громко. Александра Ивановна также плакала вместе со мной от умиления и жалости, а Степан из темного угла испускал жалобные, совершенно осмысленные «урлы, урлы, урлы»...

Когда я успокоился, мне стало легче. Неожиданное сочувствие блажененького вдруг согрело и приласкало мое сердце, показало мне, что еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание.

– Так вот почему, – закончил Зимин свой рассказ, – вот почему я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в человеческом достоинстве. Да и кстати: его сочувствие принесло мне счастье. Теперь я очень рад, что не сделался «моментом». Это так у нас в армии называли офицеров генерального штаба. У меня впереди и в прошлом большая, широкая, свободная жизнь. Я суеверен.

<1896>

## Сказка

– Папа, расскажи мне какую-нибудь сказку... Да слушай же, что я тебе говорю, папочка-аа...

При этом семилетний Котик (его имя было Константин), сидевший на коленях у Холщеникова, старался обеими руками повернуть к себе голову отца. Мальчика удивляло и даже немного беспокоило, зачем это папа вот уже целых пять минут смотрит на огонь лампы такими странными глазами, неподвижными, как будто бы улыбающимися и влажными.

– Да па-па же-е, – протянул Котик плаксиво. – Ну чего ты со мной не разговариваешь?

Иван Тимофеевич слышал нетерпеливые слова своего сына, но никак не мог сбросить с себя того страшного очарования, которое овладевает человеком, засмотревшимся на блестящий предмет. Кроме яркого света лампы, к этому очарованию примешивались и обаяние тихого, теплого летнего вечера, и уютность небольшой, но миленькой дачной террасы, затканной диким виноградом, неподвижная зелень которого при искусственном освещении приобрела фантастический, бледный и резкий оттенок.

Лампа под зеленым матовым абажуром бросала на скатерть стола яркий ровный круг... Иван Тимофеевич видел в этом круге две близко склонившиеся головы: одну – женскую, белокурую, с нежными и тонкими чертами лица, другую – гордую и красивую голову юноши, с которой черные волнистые волосы падали небрежно на плечи, на смуглый смелый лоб и на большие черные глаза, такие горячие, выразительные, правдивые глаза. На своих щеках и на своей шее Холщевников чувствовал прикосновение нежных рук Котика и его теплое дыхание, даже слышал запах его волос, слегка выгоревших за лето на солнце и напоминавших запах перьев маленькой птички. Все это вместе сливалось в такое гармоничное, такое радостное и светлое впечатление, что глаза Холщевникова невольно начали щипать благодарные слезы.

Две головы, склонившиеся около лампы и почти касавшиеся волосами, принадлежали жене Холщевникова и Григорию Баханину, его лучшему другу и ученику. Иван Тимофеевич с искренней, горячей и заботливой любовью относился к этому пылкому и беспорядочному молодому человеку, в картинах которого опытный глаз учителя давно уже прозрел дар широкой и дерзкой кисти громадного таланта. В душе Холщевникова совсем не было зависти, столь свойственной бурной и вульгарной среде художников. Наоборот, он гордился тем, что будущая знаменитость – Баханин – брал у него первые уроки и что его жена, Лидия, раньше всех признала и оценила его ученика.

Баханин, молча и не отрываясь, чертил карандашом на лежавшем перед ним листе бristolской бумаги, и из-под его руки выходили карикатуры, виньетки, животные в человеческих костюмах, изящно сплетенные инициалы, пародии на картины, выставленные в Академии художеств, тонкие женские профили... Эти небрежные наброски, на которых каждый штрих поражал смелостью и талантом, быстро сменялись один за другим, вызывая на лице Лидии Львовны, внимательно следившей за карандашом художника, то усиленное внимание, то веселую улыбку.

– Ну вот какой ты, папа. Сам обещаешь, а сам теперь молчишь, – протянул обидчиво Котик. При этом он надул губки, опустил низко голову и, теребя свои пальцы, замотал ногами.

Холщевников обернулся к нему и, чтобы загладить свою вину, обнял его.

– Ну, хорошо, хорошо, Котик. Я тебе расскажу сейчас сказку. Не сердись... Только... Что бы тебе рассказать?..

Он задумался.

– Про медведя, которому отрубили лапу? – сказал Котик, облегченно вздыхая. – Только я это уже знаю.

Внезапно в голове Холщевникова сверкнула вдохновенная мысль. Разве жизнь его не может послужить темой для хорошей, трогательной сказки? Разве давно это было? – всего двенадцать лет тому назад, – когда он, бедный, неизвестный художник, затираемый начальством, оскорбляемый самообожанием, невежеством и рекламированием бездарностей, не раз ослабевал, терял голову в жестокой борьбе с жизнью и проклинал тот час, когда взялся за кисть. В это тяжелое время на его пути встретилась Лидия. Она была гораздо моложе его, она была ослепительно красива, умна, окружена поклонниками. Он, бедный, невзрачный, болезненный, испуганный жизнью, и мечтать не смел о любви этого высшего обворожительного существа. Но она первая уверовала в него, первая протянула ему руку. Когда, утомленный неудачами и бедностью, потерявший силу и надежду, он падал духом, она ободряла его лаской, нежной заботой, веселой шуткой. И ее любовь восторжествовала... Теперь имя Холщевникова известно всякому грамотному человеку, его картины украшают галереи коронованных особ, – он единственный из академиков, которого обожает ни во что не верящая среда молодых художников... О материальном успехе и говорит нечего... И он и Лидия с избытком вознаграждены за долгие унижительные годы свирепой экономии, почти нищенства.

В то бедственное время Иван Тимофеевич и представить себе не мог бы всей этой тихой прелести, этой довольной жизни, согретой неизменной лаской красавицы жены и нежной любви

вью милого Котика, этого радостного сознания семейности, которой крепкая дружба с Баханиным придавала еще большую глубину и значение. Тема сказки быстро сложилась в его голове.

– Ну, хорошо, слушай, Котик, – начал он, глядя сына по мягким, тонким волосам. – Только чур не перебивать... Ну, так вот-с. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король с королевой.

– И у них не было детей?.. – спросил Котик тонким голосом.

– Нет, Котик, у них были дети... Не перебивай, пожалуйста... Наоборот, у них детей было чрезвычайно много. Так много было детей, что когда король разделил всем сыновьям свои богатства, то младшему-то сыну ничего не досталось. Как есть ничего не досталось, ни одежды, ни лошадей, ни домов, ни слуг... Ничего... Да... Ну вот, когда король почувствовал, что близок его конец, созвал он своих сыновей и говорит им: «Милые дети, может быть, я скоро умру и потому хочу выбрать из вас наследника... но непременно самого достойного... Вы знаете, что на границе моего королевства есть большой-пребольшой дремучий лес... А в самой середине леса стоит мраморный дворец. Только проникнуть туда очень трудно. Многие пробовали сделать это, но назад не возвращались. Их пожирали дикие звери, щекотали до смерти русалки, кусали ядовитые змеи... Но вы идите смело вперед... Пусть ни страх, ни благоразумные советы близких, ни соблазн безопасности не останавливают вас... У ворот мраморного дворца вы увидите трех львов, прикованных на цепях: одному имя – Зависть, другому – Бедность, третьему – Сомнение. Львы кинутся на вас с оглушительным ревом. Но вы идите все прямо и прямо. Во дворце, в серебряной комнате, на золотом треножнике, усыпанном звездами, горит вечный священный огонь. Итак, запомните мои слова: кто из вас зажжет от этого огня светильник и возвратится с ним домой, тот и будет наследником моего царства».

Иван Тимофеевич, не выпуская Котика из своих объятий, закурил папиросу. Баханин и Лидия, по-видимому, с интересом прислушивались к его сказке; Баханин даже приложил ладонь зонтиком к своим глазам, стараясь из света разглядеть Холщевникова, сидевшего в темном углу в качалке. – Ну-с, хорошо, – продолжал Холщевников, – пустились королевские сыновья в путь. Поехал и младший принц. Уж придворные отговаривали его, отговаривали: ты и молод, и слаб, и болезнен, куда тебе за старшими идти? Но он отвечал им: «Нет, и я хочу быть в мраморном дворце и зажечь свой светильник у священного огня».

И поехал. Ну-с, хорошо. Долго ли, коротко ли, но только доехали братья до леса. Вот старшие и говорят:

«Через лес ехать и страшно, и трудно, и далеко, поедем-ка вокруг, может быть, найдем другую дорогу». А младший говорит: «Вы, братцы, как хотите, а я поеду прямо, потому что другой дороги через лес нет». Братья ему отвечают: «Ты, известно, Иванушка-дурачок, нечего с тобою разговаривать; съедят тебя в лесу дикие звери или сам умрешь от голода». Да. Ну вот, едет младший сын, едет один день, едет другой, едет третий. А лес все гуще и гуще становится. Колючие кусты хлещут ему в лицо ветвями, рвут на нем одежду, волки воют ему вслед, вурдалаки гонятся за ним, а он все едет. На деревьях качаются русалки с зелеными волосами и манят его к себе: «Иди к нам. Куда ты едешь? И дворца-то мраморного никакого нет. Все это сказки одни, выдумки глупцов и мечтателей. Иди к нам. Ты будешь жить весело и беззаботно, мы будем услаждать слух твой музыкой и пением. Иди к нам». Но он не слушает и едет все дальше и дальше. Наконец пала у него лошадь... А лес все гуще и гуще; на каждом шагу непроходимые болота, крутые овраги, чаща лесная... Не хватило у принца сил... Повалился он на сырую землю и уж думает, что ему конец приходит. «Верно, думает, впрямь дворца никакого нет мраморного, лучше бы вовсе мне было не ходить сюда или остаться по дороге у русалок. А то теперь погибну я ни за что, и некому меня даже похоронить...» Только это он подумал, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется перед ним фея в белоснежных одеждах и говорит ему: «Зачем ты, принц, отчаиваешься и ропщешь? Возьми мою руку и иди». И как он только дотронулся до ее руки, то сразу почувствовал облегчение, встал и пошел вместе с прекрасной феей. И когда по дороге он ослабевал и готов был упасть от усталости, фея все крепче сжимала его руку. И он собирался с духом и шел, преодолевая утомление. Холщевников остановился.

– Ну, а что же, папа, дальше? – спросил Котик, глядя на него темными, внимательными, широко раскрытыми глазами.

Иван Тимофеевич встряхнул волосами, и голос его зазвучал почти гордо:

– Пришел принц во дворец. Он не испугался страшных львов: Сомнения, Бедности и Зависти, сидевших на цепях у ворот, потому что с ним была прекрасная фея. Он зажег священный огонь от золотого жертвенника, усеянного бриллиантовыми звездами, и пошел с ним домой, в свое королевство. И когда он возвращался из дворца, то львы лежали у ворот, как ручные собаки, и лизали следы его ступней, лес расступился в стороны, образуя широкую гладкую дорогу, а прекрасная фея превратилась в принцессу (она была раньше заколдована злой волшебницей) и с тех пор никогда уже больше не покидала принца. Что же касается остальных братьев, то некоторые испугались трудной дороги и остановились на середине, а иные возвратились домой, и над ними все государство смеялось. А младший принц со своей прекрасной принцессой стали жить, да поживать, да добра наживать. Так-то, мой Котик.

– И все, папа? – спросил разочарованным голосом мальчик, потихоньку сползая с отцовских колен.

– Все, мой мальчик. Иди-ка теперь лучше, мой маленький принц, спать. Попрощайся с мамочкой и с Гришей.

– Нехорошая сказка, – сказал мальчик, однако послушно встал, поцеловал Лидию Львовну, которая заботливо и бережно его перекрестила, потом поцеловал Баханина и, взявши за руку отца, пошел в детскую.

С помощью няньки он раздел Котика и уложил его в постель. В детской было полутемно. Слабо мерцала розовая лампада у образа, отражаясь дрожащими наивными искрами на золотой ризе темноликого угодника. Котик улегся на правый бок, подложив под щеку сложенные ладони, и спросил:

– Ты, папа, всю эту сказку рассказал? До конца?

– Всю, Котик. А что?

– Да так. А где же теперь этот сын?

– Сын? Сын еще не сделался королем, но зато он женился на фее, и у них есть маленький сыночек, вот вроде моего Котика... Только Котик не любит писать под диктовку, а сын принца пишет с удовольствием.

– А отчего же, папа, они называли его Иванушкой-дурачком?

– Потому, голубчик, что он был совсем простой и бедный. Да он и впрямь был бы дурачком, если бы не повстречался с прекрасной феей. Заблудился бы он, дикие бы звери его...

Глубокое и ровное дыхание Котика говорило, что он заснул, не дослушав ответа на свой вопрос. Холщевников с умиленным и растроганным сердцем перекрестил сына и, тихо ступая своими лайковыми туфлями, вышел из детской на террасу. Ни Лидия, ни Баханин не слышали его шагов. Она лежала у него на плече и, закинув назад голову, с полуоткрытыми, смеющимися влажными губами уклонялась от его поцелуев. Черные кудри и пепельные завитки смешались... Видно было, что сопротивление Лидии волнует обоих: она побледнела, а смуглое лицо Баханина покрылось розовыми пятнами и приняло умоляющее выражение. Наконец она, точно обессилев, со страстным вздохом, похожим на стон, прижалась губами к его губам и порывисто обвила его шею своей прекрасной полуобнаженной рукой...

Сказка окончилась...

1896

## Кляча

Моросил мелкий дождик. Улица казалась пропитанной туманом. Незаметная холодная влага оседала на лица прохожих. Все эти люди, куда-то торопливо бегущие с поднятыми воротниками и раскрытыми зонтиками, имели скучный или угрюмый вид. Встречаясь с нашей процессией, они снимали шапки и с холодным любопытством осматривали: оборванных факельщиков с распухшими, сизыми, зверскими лицами, идущих парами, подобрав подола траурных кафтанов и шлепая дырявыми сапогами по лужам; пару лошадей в черных пополах, с чехлами для ушей и с огромными страшными отверстиями для глаз; черный, обшитый серебряным позументом катафалк, на вершине которого стоял белый газетовый гроб, а на нем жестяной зеленый веночек; наконец длинный ряд наемных экипажей, наполненных равнодушными, немного скуча-

ющими, немного конфузющимися мужчинами и женщинами.

В этой процессии, медленно ползущей по грязи, под сплошным, мелким, осенним дождем, было что-то жалкое, подавляющее, ужасное. Мне представлялось, что если бы то, что было раньше бедным Пашкевичем, а теперь плавно колыхалось вместе с белым глазетовым гробом на катафалке, если бы это холодное, уже тлеющее тело могло как-нибудь выражать свои желания, оно раньше всего потребовало бы: «Оставьте меня в покое, разойдитесь по домам, зачем играть эту страшную комедию?»

– Вы будете на могиле говорить речь? – спросил я моего соседа по извозчику, публициста одного из местных газет, Васютина – маленького желчного человека, которого я всегда любил за его великодушное горячее сердце, скрывавшееся под напускным цинизмом.

Он нервно поморщился.

– Конечно, не буду.

– Почему же?

Он с досадою схватился руками за лицо, ожесточенно стиснул его несколько раз между ладонями, покряхтел, точно от внезапной зубной боли, и заговорил с волнением:

– Почему? А по тому самому, что там и без меня этих говорильщиков найдется пропасть... О, черт! Тартюфы, лицемеры проклятые! Я наперед знаю все пошлости, которые они будут проносить с их жреческим видом. «Святое знамя искусства!.. Неугасимый огонь на священном алтаре поэзии!.. Честный сеятель на ниве просвещения!..» Нет! Если бы я уж стал говорить, я бы действительно сказал им пару теплых слов.

– Что бы вы им сказали, Антон Захарович?

– А вот что я им сказал бы... «Все мы, литераторы, везем вперед нашу пресловутую колесницу прогресса. В этом нет никакого сомнения, но в этом также нет и ничего удивительного. И волы и ослы возят тяжести, потому что они послушны, упорны, выносливы и в конце концов уверены, что за свой труд они найдут в яслях охапку сена... Но знаете ли, что выйдет, если в телегу, нагруженную булыжником, запрячь кровную арабскую лошадь? Благородное животное будет лезть из кожи, надорвет спину, разобьет грудь, искалечит ноги и сделается клячей. Тогда его выгонят в поле околевать, и оно издохнет. А трудолюбивые волы дома еще долго будут жевать свое сено, возить тяжести и равнодушно отмахиваться хвостом, когда их бьют по бокам палкой...» И я бы кончил свою речь так: «Милостивые государи! Пашкевич был талантливее нас всех, здесь собравшихся... Это была избранная натура, нежная, возвышенная и пламенная. И хотя он, потерявший всякую способность к работе, терзаемый жестоким недугом, скончался, никем не оплаканный, на грязной больничной койке, я все-таки ему завидую».

– Вы его близко знали, Антон Захарович?

– На что же еще ближе! Я был в тот самый день в редакции, когда он принес свой первый рассказ. Он краснел, бедняга, как девочка, и заикался, объясняясь с секретарем. В его фигуре и словах было что-то виноватое, точно он совершил какой-то несерьезный, детский поступок, над которым мы, авгуры печатного слова, должны будем засмеяться. Когда он брал свой первый гонорар, на него было жалко смотреть. Мне кажется, что с таким видом человек совершает свое первое воровство. Скажите мне, сделайте милость, отчего это я всегда сам испытывал и на других наблюдал эту странную неловкость у писателей при получении гонорара? Оттого ли, что мы, русские, не созрели для печатного слова, или от сомнения в своих силах и, следовательно, в своем праве жить литературным трудом?

Я отлично помню его первые произведения. Сколько в них было огня, яркой и смелой, почти дерзкой своеобразности. И как он работал над ними! С любовью, с бесконечным терпением. Он трудился над ними, как ювелир над драгоценным алмазом, но читателям казалось, что они выливались у него с одного почерка, так они были легки и изящны по форме.

Успех опьянил его, и он решил отдать все свои силы и самого себя литературе. То болото, в котором мы с вами барахтаемся, ему казалось храмом. Компания бездарных плагиаторов, избравших литературу только средством к жизни, что у них не хватало ни ума, ни знаний, ни даже простой грамотности для других профессий, эти господа, рекламирующие рестораторов и шансонетных певиц, рисовались в его чистом воображении борцами, подвижниками... Нет! Он ни разу не приложил руки к позору газетного дела. Но мало-помалу его произведения стали принимать характер спешной работы. Нужно было жить. Ведь никто не накормил бы его обедом

и не купил бы ему ботинок за одну только его талантливость... Он хватался за первую попавшуюся тему и часто начинал писать, не зная, чем кончить. Он писал на краешке редакционного стола, заваленного газетами, под шум, смех и телефонные звонки. И все-таки, несмотря на эту лихорадочную торопливость, порою в его рассказе вспыхивала такая искра таланта, попадалось такое удивительное сравнение, такое мастерское описание, что радость у меня разливалась по душе...

Я знаю, иные беллетристы выдерживают такое ужасное напряжение целыми годами. Но Пашкевич был в этом отношении похож на те великолепные, но чересчур нежные экзотические цветы, которые вянут без оранжерейного ухода, тепла и света. Напрасно он прибегал к вину и морфию. Через полтора года после первого рассказа он уже не мог выжать из своего больного, переутомленного мозга ни одного, даже самого шаблонного сюжета.

А жить опять-таки было нужно. К тому же он женился. Знаете, так женился, как женятся все эти талантливые безумцы, дети в практической жизни... Какая-то белошвейка, или шляпница, или что-то в этом роде... соседство, темная лестница, и наконец глупая... да, положительно глупая честность, какая-то дурацкая строгость к самому себе... Эта красивая тварь, кажется, презирала Пашкевича всеми силами своей низкой, мещанской душонки, презирала за его кротость и великодушие, за его неловкость, малокровие, непрактичность. Она делала ему скандалы на улице и обманывала его со всей местной литературой и военщиной.

У них рождались дети – писательские дети: бледные, золотушные, рахитические. Она кричала ему на своем базарном жаргоне:

«Вот они, твои дети, ты должен их кормить, почему же ты не пишешь? Садись сейчас же за стол и пиши!»

Ах, как он много писал в то время, мой милый, кроткий Пашкевич! Он сделался репортером и пробовал писать передовые статьи. Но ему был труден этот специальный напыщенный язык, несравненно более нелепый, чем язык полицейских рапортов. Иногда он по целому часу сидел в бессильном отчаянии, стараясь связать два предложения, оба начинающиеся с местоимения «который».

– Ну, да что толковать, – воскликнул Васютин с озлоблением и горем. – Известная история: упадок сил, чахотка, слепота...

В четыре года сгорел человек дотла, что называется. О, подлость!

Мы приехали на кладбище. У всех были деланные, торжественные лица. Земля глухо застучала о крышку гроба. Могильщики торопились кончить.

Из толпы вышел высокий, плотный господин в пенсне, с маленькой рыжей бородкой на круглом лице. Он оглянулся по сторонам, откашлялся и заговорил языком плохих некрологов:

– Милостивые государи! Еще одна горестная утрата, еще один честный борец сошел в безвременную могилу...

– Покойный Пашкевич всегда высоко держал то святое знамя, под которым все мы работаем на общественную пользу, он сеял «разумное, доброе, вечное»... И в нем никогда не угасал тот священный огонь, который...

Сзади послышались странные звуки. Все обернулись. Это Васютин рыдал, облокотившись на решетку какого-то богатого мавзолея.

1896

## Чужой хлеб

– Подсудимый, вам законом предоставлено последнее слово, – сказал председатель суда равнодушным тоном, с полузакрытыми от утомления глазами. Что вы можете прибавить в разъяснение или оправдание вашего поступка?

Обвиняемый вздрогнул и нервно схватился длинными, тонкими пальцами за перила, отделяющие скамью подсудимых. Это был невзрачный, худенький человек, с робкими движениями и затаенной испуганностью во взгляде. Светлые, редкие, как будто свалывшиеся волосы на голове и бороде и совершенно белые ресницы придавали его бледному лицу болезненный, анемичный вид... Он обвинялся в том, что, проживая у своего дальнего родственника, графа Венцпольско-

го, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое января произвел в квартире последнего поджог с заранее обдуманном намерением. Медицинская экспертиза определила полную нормальность его душевных и умственных качеств. По ее словам, замечалась некоторая повышенная чувствительность нервной системы, склонность к неожиданным слезам, слабость задерживающих центров, – но и только.

До сих пор подсудимый казался равнодушным, почти безучастным к разбирательству его дела. Торжественная, подавляющая обстановка судебного заседания, расшитые мундиры судей, красное с золотой бахромой сукно судейского стола, огромная двухсветная истопленная зала, величественные портреты по стенам, публика за барьером, суетливые пристава, исполненные достоинства присяжные, олимпийская небрежность прокурора, бессодержательная развязность защитника – все это произвело на него ошеломляющее впечатление. Ему казалось, что он попал под зубья какой-то гигантской машины, остановить которую, хотя бы на мгновение, не в силах никакая человеческая воля.

Много раз во время речи защитника ему хотелось встать и крикнуть: «Вы не то, совсем не то говорите, господин адвокат. Дело было иначе. Замолчите и дайте мне самому рассказать всю историю моего преступления», – и вслед за тем уверенным голосом, в ясных и трогательных выражениях, передать все свои тогдашние мысли, все, даже самые тонкие, неуловимые ощущения. Но машина продолжала вертеться так правильно и так безучастно, что сопротивляться ей было невозможно.

Однако последние слова председателя вдруг пробудили в подсудимом судорожную энергию отчаяния, являющуюся у людей в момент окончательной гибели, – ту самую энергию, с которой осужденный на смерть иногда борется на эшафоте с палачом, надевающим на шею веревку.

И умоляющим голосом он воскликнул:

– О да, господин председатель!.. Ради господина, ради самого бога, выслушайте меня... позвольте мне рассказать все, все!..

Присяжные заседатели изобразили на лицах сосредоточенное внимание, судьи углубились в рисование петушков на лежавших перед ними листах бумаги, публика напряженно затихла. Подсудимый начал:

– Когда я в начале прошлого года приехал в этот город, у меня не было никаких планов на будущее. Я, кажется, и родился неудачником. Мне никогда ни в чем не везло, и в сорок лет я оставался таким же беспомощным и непрактичным, как и во время моей юности.

Я обратился к графу Венцпольскому с просьбой протекции для получения какого-нибудь места. Я рассчитывал найти у него помощь, так как он приходился дальним родственником моей покойной матери. Граф, человек щедрый и снисходительный к чужим, устроить меня в то время никуда не мог, но зато предложил мне до первого удобного случая поселиться у него в доме.

Я переехал к нему. Сначала он оказывал мне некоторые знаки внимания, но вскоре я приелся ему, и он перестал со мною стесняться. Должно быть, он так привык к моему присутствию, что считал меня чем-то вроде мебели. Тогда-то для меня и началась ужасная жизнь приживальщика – жизнь, полная горьких унижений, бессильной злобы, подострастных слов и улыбок.

Чтобы понять всю мучительность этой жизни, надо испытать ее. Напрасно независимые и гордые люди думают, что привычка к прихлебательству вконец притупляет у человека способность дрожать от обиды, плакать от оскорбления. Никогда, никогда не был я так болезненно чувствителен к каждому слову, казавшемуся мне намеком на мое паразитство. Душа моя в это время была сплошной воспаленной раной – другого сравнения я не могу найти, – и каждое прикосновение к ней терзало ее, как обжог раскаленным железом. Но чем больше проходило времени, тем меньше я чувствовал в себе энергии, чтобы вырваться из этого унижительного положения. Я всегда был слаб, труслив и вял. Сытая жизнь на графских хлебах окончательно меня парализовала и развратила, разъела, как ржавчина, остатки моей самостоятельности. Иногда ночью, ложась спать и переживая вновь бесконечный ряд дневных унижений, я задыхался от злобы и говорил себе: «Нет, завтра конец! Я уйду, уйду, бросив в лицо графу много горьких и дерзких истин. Лучше и голод, и холод, и платье в заплатах, чем это подлое существование».

Но наступало «завтра». Решимость моя пропадала. Опять мои губы искривлялись в жалкую, напряженную улыбку, опять я не смел и не умел положить руки на стол во время обеда,

опять чувствовал себя неловким и смешным. Когда я отваживался напоминать графу о его обещании пристроить меня, он возражал со своим барским видом:

– Ну, чего вам торопиться, мой милый?.. Разве вам плохо у меня?.. Поживите пока, а там мы увидим...

Я замолкал. Я даже не пробовал отказываться, когда граф дарил мне какой-нибудь из своих немного поношенных костюмов. Эти костюмы были великолепны, но слишком широки для меня. Один из графских гостей как-то заметил, что платье на мне «точно с двоюродного братца», другой – грязный, циничный господин и, как говорили, шулер, – громко расхохотался на это замечание и нагло спросил меня:

– Вы, Федоров, вероятно, заказываете платье у одного портного с графом?

Никто из них не звал меня по имени-отчеству. Граф почти всегда забывал представлять меня своим знакомым, из которых большинство были такими же приживальщиками около него, как и я, но только они умели держать себя с графом на равной ноге, почти фамильярно, а я всегда оставался робким и подобострастным. Они ненавидели меня той острой, уродливой ненавистью, которая только и может быть между людьми, соперничающими из-за милости патрона.

Прислуга графа относилась ко мне со всей высокомерной, хамской наглостью, составляющей особенность людей этой профессии. За столом меня обносили кушаньем и винами. В их лакейских взглядах и словах я чувствовал презрение, которое они ко мне чувствовали, – презрение работника к трутню. Я сам убирал свою постель и чистил свое платье.

По вечерам иногда составлялся винт. Когда не хватало партнера, граф предлагал карточку и мне. У меня никогда не было своих денег, но я садился, страстно мечтая о выигрыше. Я играл с жадностью, с расчетом, с риском, и даже доходило до того, что внутренне молил бога о помощи. Как обыкновенно бывает в этих случаях, я проигрывал – всегда больше всех.

Когда игра кончалась и партнеры рассчитывались, я сидел с потупленными глазами, красный от стыда и судорожно ломал мелок. Когда молчать долее становилось невозможно, я, стараясь казаться небрежным, говорил:

– Граф... Пожалуйста... Будьте так добры... Я в настоящую минуту не при деньгах... Примите на себя мой проигрыш... Я вам завтра возвращу...

Конечно, это обещание никого не обманывало. Все знали, что ни завтра, ни послезавтра я своего долга не отдам.

Случалось, что вечером граф и его гости отправлялись в ресторан, а оттуда к женщинам. Меня приглашали вскользь, мимоходом, таким тоном, который уже сам по себе говорил об отказе. Я знал, что скажи я «нет», и меня с удовольствием оставят в покое. Но, клянусь истинным богом, я никогда не мог понять, какая сила заставляла меня раньше всех бежать в переднюю и суетливо надевать пальто.

За ужином много острили и безобразничали. Я должен был громко и часто смеяться, но смех доставлял мне столько же удовольствия, как ученой собаке. Если же меня самого осеняла веселая мысль или удачный каламбур, я не находил для них слушателей. Едва я раскрывал рот, как меня тотчас же перебивали. Все отворачивались от меня, и я, начиная в десятый раз одну и ту же фразу, тщетно перебегал глазами от одного собеседника к другому: ни одни глаза не встречались с моими.

Всего ужаснее были для меня ночи. Я спал в проходной узкой комнате, скорее похожей на коридор. Постелью мне служила старая кушетка с вылезшей наружу мочалой, с горбом посредине и с продавленными пружинами. Две отсутствующие передние ножки заменял мой же собственный чемодан.

О, как я ненавидел эту кушетку! Никогда ни к одному человеку я не питал такой безумной злобы, как к этой старой рухляди, от которой отказался бы любой старьевщик. По мере того как приближалась ночь, меня все более и более охватывал невыносимый ужас перед длинной бессонной ночью, ожидавшей меня. Наконец я ложился. Горб посредине кушетки впирался в мою спину, заставляя ее выгибаться, пружины резали бока, подушка казалась низкой и ежеминутно сползала. Через пять минут начиналась тупая, жестокая боль в затылке и пояснице. Голова разгорячалась, и в моем бедном мозгу мысли скакали и кружились в лихорадочном вихре... Создавались несбыточные, фантастические планы на будущее; ночью я им верил, этим планам, но на другое утро они меня пугали, как горячечный бред.



Все дневные впечатления, каждое мое и чужое слово, каждая обида, каждый плевок, каждое унижение вновь проходили в моей памяти. Я разбирался в них с тем жгучим наслаждением и с той глубокой, страшной последовательностью, на которую только способен ум одинокого оскорбленного человека, и, воскрешая все эти подлые мелочи, я выкапывал со дна моей души такую гадкую грязь, что... Нет... о таких вещах даже и на суде, даже и в свою защиту нельзя говорить...

Друзья графа, проходя мимо моей кушетки, любили потешаться над ее убогим видом. Они называли ее прокрустовым ложем<sup>46</sup>.

В тот день, когда я совершил преступление, один из знакомых графа, господин Лбов, пригласил всю компанию в ресторан вспырынуть полученное им наследство. Я тоже стал одеваться. Когда мы вышли на лестницу, я нечаянно толкнул господина Лбова и извинился. Он отвечал:

– Ничего, пустяки...

И потом вдруг прибавил:

– Да вы, Федоров, напрасно и ехать-то беспокоитесь. Никто вас не приглашал.

Я остановился на крыльце, раздавленный этими жестокими словами. Гости шумно выходили на крыльцо в дверях кто-то из них крикнул:

– Идите и возлягте на ваше прокрустово ложе.

А другой подхватил:

– На ваше прохвостово ложе!

Они ушли, громко смеясь; я возвратился назад и лег на кушетку. У меня была смутная надежда, что они пожалеют о своих словах и пришлют за мной, но никто не приходил... Два или три часа я проплакал едкими слезами бессильного бешенства. «Прохвостово» ложе причиняло мне боль. Я поднялся. Ненависть к кушетке переполнила мое сердце. Я собрал несколько картонок из-под шляп, набил их старой газетной бумагой, облил керосином, поставил под кушетку и зажег. Все это время я был в каком-то забытьи...

Когда я очнулся, вся комната пылала. Я ужаснулся своего поступка и стал звать на помощь. Остальное вам уже известно, господа присяжные...

## Друзья

– Васька!.. Василь Васильевич...

– Мм... Оставь...

– Ваше сиятельство, соблаговолите проснуться.

– Убирайся к черту, идиот...

– Имею честь доложить вашему сиятельству, что у соседей часы только что пробили два...

Позволю себе напомнить вашему сиятельству, что если ваше сиятельство опоздает в ломбард, то панталоны вашего сиятельства придется нести в ссудную кассу... Между тем вашей светлости, конечно, неизвестно, что ни одна касса в городе не решается принимать на хранение этот предмет, столь драгоценный в архаическом отношении.

– Отвяжись, Федька... Хоть спать-то не мешай...

– В таком случае я, ваше сиятельство, буду вынужден – как глубоко мне это ни прискорбно – от мер кроткого увещевания перейти к мерам принудительного характера... Если ты, Васька, сейчас же не встанешь, я вылью тебе на голову воду из графина...

Угроза подействовала. Васька поднял со сложенного вчетверо сюртука, служившего ему вместо подушки, свою лохматую черноволосую голову и спросил хрипло:

<sup>46</sup> Они называли ее прокрустовым ложем. — В древнегреческой легенде о подвигах национального героя Тесея повествуется, между прочим, и о том, как он избавил соотечественников от разбойника Дамаста, прозванного Прокрустом (вытягивателем). «У Прокруста было ложе, на него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубал несчастному ноги. Тесей повалил Прокруста самого на ложе, но ложе, конечно, оказалось слишком коротким для великана Прокруста, и Тесей убил его так, как убивал злодей путников» (Н.А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1957, с. 185). В данном случае «прокрустово ложе» употребляется в смысле «ложе пыток».

– А который же час?

– Я же тебе сказал, третий. Вставай.

– Мм... Третий? – Васька принялся с закрытыми глазами, полулежа на кровати, чесать голову, потом волосатую грудь. Затем, сразу открыв глаза и как бы окончательно проснувшись, он сказал решительно:

– Ну что ж?.. Вставать так вставать... Вместе, что ли, пойдем, Федя?..

– А где же мы другое пальто возьмем, чтоб идти вместе?..

– Ах да, да, действительно... Ну, так ты подожди, я духом слетаю... Васька натянул уже на ногу правый сапог, как вдруг неожиданно ударил себя ладонью по лбу, сделал испуганное лицо и выразительно засвистал:

– Фью-ю. Вот тебе и обед...

– Что такое?

– Разве ты вчера не видал на столе записки?

– Нет.

– Пойди, прочти.

Федька, лежавший полуодетым на длинной кровати напротив Васьки, подошел к столу и взял небольшой клочок бумаги.

По мере того как он вслух разбирал наскоро набросанные карандашом иероглифы, лицо его омрачалось все более и более.

– «Не застал... извини... брюки... через два дня... до зарезу... предложение сделать... неловко... крепко жму... еще раз прошу...»

– Черт бы его побрал с его предложением! – закончил Федька энергичным восклицанием чтение записки. – Хороший сюрприз устроил, нечего сказать!

И он грузно бросился на свою кровать. Васька давно уже лежал, закутавшись до ушей одеялом.

Во всем господствовал беспорядок холодной комнаты «с мебелью». Куски сахара валялись на залитой чернилами скатерти вперемежку с табаком; два цветочных горшка с чахлыми кактусами, заброшенные папиросными окурками, очевидно, заменяли собой пепельницы; разверстый настежь шкаф зиял полною пустотою; на комодке, под кривым, засиженным мухами зеркалом, красовался чей-то порыжелый башмак в соседстве с коробкою зубного порошка, восьмушкой чая и двумя пустыми пивными бутылками.

По своей профессии Васька Кобылин и Федька Выропаев были студентами Академии художеств. Уже третий год жили они неразлучно вместе, дружно разделяя хроническое безденежье, и обеды греческих кухмистерских, и холод нетопленных квартир, и всяческие козни и интриги квартирных хозяек. Оба обладали несомненным талантом: Федька – в области пейзажа, Васька – в сфере серьезной жанровой живописи. Товарищи называли их двумя Аяксами, так как они никуда не появлялись друг без друга.

Художники минут десять лежали молча. Наконец Васька первый нарушил молчание.

– Однако я голоден, как волк зимою, – сказал он мрачно.

Федька, которого никогда не покидало врожденное зубоскальство, тотчас же откликнулся:

– Ах, очень приятно... Значит, трюфели не окончательно убили аппетит вашей светлости... Ну что же, и отлично: пойдемте к Дону и закажемте небольшой завтрак... Как вы находите мою идею?

– Оставь. Не раздражай, – заметил строго Васька.

– Нет, в самом деле, отчего же? Сначала мы выпьем рюмки по две водки... может быть, вы предпочитаете английскую горечь... или лучше спросить рябиновки?

– Не дури, Федор...

– А на закуску чего-нибудь соленького... икорки, например, зернистой... знаете, этак на нее лимончиком слегка накапать... очень вкусно... не правда ли?..

– Балычку бы осетрового... – вставил Васька, глотая слюну.

– Прекрасно. Потом сырком побалуемся... свежим... что со слезою бывает... Затем... затем... затем, знаешь что?

– Что? – спросил Васька, поворачиваясь к товарищу лицом.

– Затем съедим устриц десяточка по полтора и к ним шабли...

– Ну их к черту... Борща бы со свиной.

– Фу, какие у вас вульгарные вкусы, князь... На вас татары глаза вытаращат, если вы борща со свиной потребуете... Если вам так нравятся национальные блюда, закажите себе лучше уху стерляжьей... Там ее недурно готовят... Что до меня, я заказываю бульон с гречками... легко и питательно... Потом...

– Да?

– Потом какой-нибудь рыбы... Не особенно грубой... Стерлядку или форель... Хорошая вещь форель...

– Вкусная?

– Чрезвычайно... После этого...

– Пива?

– Ах, боже мой, вы убьете меня, князь... Рюмку старого портвейна или доброй мадеры... больше ничего... Потом по хорошему куску пулярдки, начиненной трюфелями...

– Довольно, Федька... Перестань...

– Бутылку Mouton Rotschild?<sup>47</sup>

– Оставь...

– Седло дикой козы?

– Прекрати...

– Кофе. Ликеры. Десерт. Пара гаван, – продолжал выкрикивать Федька. Потом он внезапно остановился и прибавил с глубоким искренним вздохом:

– Знаешь, Васенька, теперь бы по большому куску черного хлеба сожрать... Хлеб такой мягкий, теплый... да еще бы солью его этак посыпать хорошенько... А?

– Страсть хорошо.

– Н-да. Хоть бы гривенник у кого-нибудь попросить взаймы.

– Не у кого.

– Постой, поищем. Булаев, например?

– Я ему и так должен.

– Лапшин?

– В больнице.

– Илькевич?

– Этот удавится скорей, а не даст.

– Черт возьми... А у Цапли?

– Ну вот еще. Ты сам говоришь, что Цапля от тебя на другую сторону улицы перебегает... Разве попробовать к Жданскому забежать?

Они долго бы еще перебирали своих товарищей, если бы их не прервал осторожный стук в дверь.

– Хозяйкин муж! – быстро шепнул Федька, закутываясь одеялом. – Спи! Но в комнату вошел вовсе не хозяйкин муж, а какой-то незнакомый господин в сером пальто. Несколько секунд он в недоумении озирался вокруг себя, пока наконец не заметил выглядывавшего из-под одеяла Ваську и не спросил вежливым тенором:

– Господин Выропаев?..

Васька показал глазами на другую кровать и буркнул:

– Напротив.

– Это вы-с господин Выропаев? – повернулся незнакомец в сторону Федьки. Федька приподнялся на локте.

– Я действительно-с Выропаев-с. Только, вероятно, в адресном столе вам ошибкою указали не того Выропаева-с...

– Федор Леонтьевич?

– Да-с.

– И художник?

– К вашим услугам... Только я ведь исключительно пейзажист... Портретов не пишу.

<sup>47</sup> Марка вина — фр.

– Очень приятно-с... Но я не думаю вам заказывать портрета... Вы мне позволите, надеюсь, присесть и выкурить папироску?

– Пожалуйста.

– Покорнейше благодарю вас. Извините мне один нескромный вопрос: не родственница ли вам была покойная Анна Родионовна Выропаева?

– Двоюродная тетка... А разве старушка уже того?.. перекинулась?..

– Да-с, Анна Родионовна умерла месяц тому назад, и я должен вам сказать, что вы оказываетесь ее ближайшим наследником.

– Точно в водевиле!

– Не знаю-с. Об этом не мое дело судить-с. Но я именно затем сюда и явился, чтобы предложить вам мои услуги при получении этого наследства...

– Нет, вы это серьезно?

– Совершенно серьезно-с. За вычетом некоторых расходов на ведение дела, вы должны будете получить около двадцати тысяч рублей.

– Фу-ты, дьявол!

– Поэтому, если вам будет только угодно, соблаговолите одеться... Мы с вами заедем сначала куда-нибудь в ресторан, споемся там, как следует, о наших с вами, так сказать, личных отношениях в будущем, позавтракаем, а затем к нотариусу... Нравится вам этот маленький проект?

– Необыкновенно.

– Затем, если вам только понадобится... (Незнакомец полез в боковой карман сюртука.) Я и мой бумажник всегда...

Он поглядел вопросительно на Федьку.

– Благодарю вас... потом... – сконфузился Федька.

– В таком случае давайте же наконец с вами познакомимся, – приподнялся с кровати незнакомец. – Илья Иванович Шатунов, частный поверенный. Очень приятно.

Они крепко пожали друг другу руки.

Через две минуты Выропаев, окончивший свой туалет с судорожною поспешностью и надев Васькино пальто, уже собирался выйти из дверей вслед за частным поверенным.

– Федька, – окликнул его вполголоса, высовываясь из-под одеяла, Кобылин. Федька подошел и спросил нетерпеливо:

– Ну, что тебе? Говори скорее...

– Послушай-ка, вот что, Федька... – Кобылин замялся. Он хотел сказать: «Попроси у этого господина какую-нибудь монету и сунь мне ее незаметно». Но, видя нетерпение своего друга, он смутился и прибавил:

– Вот что, Федя... Да... Позволь тебя, значит, поздравить с наследством.

– Ах, только-то! – воскликнул Федька, нервно пожав плечами. – Что же ты меня задерживаешь из-за пустяков? До свидания.

Он поспешно вышел, чтобы догнать Шатунова, Васька глядел ему вслед... Более сильное страдание заставило Ваську в эту минуту совершенно позабыть о голоде.

1896

## Марианна

– Удивительное дело, господа, как глупа бывает иногда зеленая юность, – сказал задумчиво наш хозяин. – Боже мой! Если бы теперь к нашей опытности старых грешников да прибавить тогдашнюю силу, смелость, тогдашнюю пылкость желаний! Что бы это такое вышло! Подумайте только: как часто мы слепо лезли на стены крепости в то время, когда ее ворота были гостеприимно растворены настежь. Сколько раз мы принимали за суровый отказ самые решительные авансы... И я не сомневаюсь, что каждый из нас проходил с разинутым ртом мимо сотни милых, веселых приключений, которые оставили бы на всю жизнь нежные воспоминания! Говоря это, он тихо раскачивал в вольтеровском кресле свое массивное тело с огромным животом, и его глаза, щурясь от дыма сигары, мечтательно улыбались каким-то давно исчезнувшим образам.

Мы все хорошо знали, что Лев Максимович – этот знаменитый на весь Петербург обжора, игрок, гениальный творец и разрушитель всех анонимных акционерных обществ – был в свое время не последним специалистом по части женского вопроса. Поэтому мы ожидали услышать от него один из тех многочисленных пикантных рассказов, которыми он нас нередко угощал после своих великолепных обедов. И действительно он начал:

– Произошло это, господа, очень давно... Я только что окончил университет и отбывал воинскую повинность. Полк мне попался прекрасный, офицеры держались со мной вежливо и, насколько позволяла дисциплина, на товарищеской ноге. По крайней мере у меня и до сих пор сохранились к ним самые приятные чувства. Полк этот стоял в городе М., но не весь; каждый из четырех батальонов по очереди отправлялся на зиму в грязное местечко, которого я теперь и имени не упомяну. Находилось оно на границе, и по плотине, соединяющей оба государства, день и ночь ходили двое часовых.

Мой ротный командир – необыкновенно свирепый с виду, но очень добрый усач – однажды пригласил меня приходить к нему ежедневно обедать, но сделал это в очень оригинальной форме. Подозвав меня как-то после ученья к себе, он закричал, выкатывая сердито глаза:

– Ефрейтор Лаврищев! Ты явишься ко мне после ученья на квартиру! Я испугался, вытянулся в струнку и, держа под козырек, ответил:

– Слушаюсь, ва-ско-бродие...

По правде говоря, я думал, что мне предстоит длинная распека за невытянутый носок, за выпад, сделанный «не от сердца», или за какую-нибудь иную тонкость солдатской науки. Но я ошибся. Капитан принял меня очень внимательно, хотя и вращал глазами так же свирепо, как и всегда. Едва мы сели, как вошла его жена.

– Вот, Манечка, – сказал капитан, – представляю тебе нашего ефрейтора.

Ах, какая она была миленькая, эта Марианна Фадеевна! Лицо у нее было такое белое – именно не бледное и не матовое, а белое – и все как будто бы в рамке пышных, волнистых волос, цвета – ну, как бы вам сказать, – цвета рыжеватого соболя. Кожа под ее тонкими, но пушистыми бровями слегка розовела, точно так же, как и края ладони, – признак, говорят, нервной природы. Глаза темно-карие, того оттенка, который некоторые зовут рыжим, а другие – золотым, ласковые и дерзкие... А губы! Именно в губах и заключалось (по крайней мере для меня) все очарование ее лица. Я никогда потом в жизни не видал таких губ: выпуклых, прекрасно изогнутых, свежих и выразительных.

Она протянула мне руку. Странно, – для меня пожатие руки всегда говорит о человеке гораздо более, нежели его лицо, голос, походка и почерк. Для меня существуют: равнодушные, презрительные, обнадеживающие, скупые, сладострастные, вероломные, наглые, гордые – какие угодно пожатия. Рука Марианны – теплая, нежная, немного длинная и крепкая рука – сказала мне: «Я женщина и не обижаюсь, если на меня смотрят, как на женщину. Скорее мне это даже приятно». С первого же дня она установила между мной и собой игриво-легкие отношения. За обедом она уже повязывала мне вокруг шеи салфетку, называя меня «младенцем», хлопая меня по рукам, и так далее. В то же время ее дерзкие глаза смеялись, а яркие губы смущали меня.

Я ежедневно обедал у Завилковских и скоро сделался у них своим человеком. Она со мной совсем не стеснялась: заставляла меня держать ей мотки шерсти, посылала по разным своим поручениям, таскала меня за собой по лавкам в качестве провожатого и добровольного носильщика... Я целые дни проводил около нее, Каждый раз, когда капитан, возвращаясь со службы, заставлял нас вместе (видит бог, что ничего «дурного» здесь не было), я вскакивал, краснел, как мальчишка, и начинал громко говорить о посторонних предметах. Он же шевелил усами, фыркал носом, и глаза его вращались со свирепым выражением.

Когда мы играли по вечерам в преферанс, она постоянно пожимала кончиком ботинка мою ногу. Дерзкое сияние ее глаз волновало меня. Ей доставляло удовольствие играть со мною, как кошка играет с мышью. Да и вообще в ней было много кошачьего: и зябкость, и осторожная медлительность движений, и грация, и гибкость, и лукавство. Вероятно, она сознавала мою полную для нее безопасность и потому безнаказанно пробовала на мне свои когти... А я?... Я только млел и мучился... Трудно ведь, господа, в двадцать два года, когда кровь так горяча, выносить ежедневно подобные вылазки красивой женщины. Часто, очень часто, уходя от Завилковских поздней ночью и шатаясь, как пьяный, я с горечью думал о том, что она, наэлектризованная этой

игрой, остается теперь наедине с мужем... Если иногда, возбужденный чуть не до потери рассудка кошачьим кокетством Марианны, я хватал ее руки и крепко сжимал их с каким-нибудь страстным восклицанием, она мгновенно отрезвляла меня:

– Что с вами? Что с вами, Лев Максимович? Вы нездоровы? Может быть, вам надо холодной воды? Я сейчас прикажу, чтобы Фомичев принес...

Прошла зима. В мае наш батальон должен был выступить из местечка и идти в лагери на соединение с полком.

Кажется, это случилось третьего числа. Рано утром, в то время, когда капитан кричал и ругался на казарменном дворе, наблюдая за укладкой ротного имущества, я забежал к Марианне, чтобы проститься с нею, Я знал, что она на другой день уезжает в деревню к своим родным.

В квартире оставались лишь голые стены. Все вещи были еще с рассветом отправлены на вокзал. Марианна сидела на полу около окна на большой охапке соломы.

– Я пришел проститься с вами, Марианна Фадеевна. Мы больше никогда не увидимся, – сказал я грустно.

Она показала мне знаком, чтобы я сел рядом с ней. Я опустился на солому.

– Вы будете обо мне изредка вспоминать? – спросила она.

– Разве можно об этом спрашивать? Конечно, буду всегда.

– И, конечно, дурно?

– Марианна Фадеевна!

Я взял ее за руку. Она не сопротивлялась. Я привлек ее к себе, хотя это для нас обоих благодаря вытянутым ногам было очень неловко. Ее ресницы опустились вниз, губы раскрылись, дышала она тяжело и часто.

Я точно обезумел и стал без перерыва целовать ее щеку, висок и волосы...

Она отталкивала меня, но я не обращал на это внимания. Тогда она шепотом сказала:

– Оставьте... Я буду кричать... Я позову прислугу. Оставьте меня...

Я опомнился и, весь красный, встал, отряхавшись от приставших к моей одежде соломинок. Мы простились очень холодно. Идя в казармы, я думал: «Черт знает, что такое... дернула же меня нелегкая!.. Обидел ни за что ни про что такую хорошую, милую женщину. Уж, наверно, капитан будет знать об этом приключении. Что за позорное положение!..»

Мы выступили из местечка, сопровождаемые толпами оборванных мальчишек. День был жаркий и блестящий. Когда через четыре часа батальон дошел до большого привала, люди уже утомились и заскучали... Даже песенники пели неохотно, только по принуждению начальства.

Привал был назначен в тенистой и сырой грабовой роще, покрывавшей пологий длинный скат. Нас ожидал там очень милый сюрприз. Наши батальонные дамы, заранее сговорившись, выехали вперед и приготовили в роще маленький завтрак.

Я не запомню, чтобы мне было когда-нибудь так весело, как во время этого завтрака, под благоухающим навесом жидкой, веселой, ранней зелени, когда мы сидели на земле, еще покрытой кое-где прошлогодними листьями... Наконец барабаны забили сбор. Я поспешно схватил свое ружье и, прежде чем идти в ряды, подошел к Марианне.

– Простите меня, Марианна Фадеевна, – сказал я виноватым голосом, мне не хочется, чтобы у вас осталось ко мне дурное чувство. Она бросила на меня быстрый лукавый взгляд и отвечала:

– Да я на вас вовсе и не думала сердиться...

Я оторопел. Я ждал гневных слов, упреков, может быть, даже угроз...

– Как? Вы не сердитесь?.. Но я позволил себе... чересчур много... Вы были так недовольны...

Она расхохоталась громким, нервным смехом.

– Ха-ха-ха... Это вы были слишком нерешительны... Милый мальчик, вы совсем не знаете женщин...

К нам подходил капитан. Я прошептал взволнованно:

– Но раньше, Марианна? Раньше? Еще зимой?

– Да... и зимой, – отвечала она, взглянув прямо в лицо своими дерзкими, блестящими глазами. Капитан подошел и закричал, теребя часы:

– В строй, ефрейтор! В строй! Что это за болтовня!

Мы тронулись с привала. Поднялась пыль. Отдохнувшие песенники грянули заливчатскую песню.

Я долго-долго оглядывался назад, туда, где из-за облаков пыли белел кружевной зонтик с розовой подкладкой. Мою душу терзало позднее сожаление...

<1896>